
РОМАН, ВОШЕДШИЙ В ШОРТ-ЛИСТ
БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2008 ГОДА
Себастьян Барри
Скрижали судьбы
[roman]
CORPVS
История страны,
история семьи,
история любви

Скрижали судьбы
Себастьян Барри

Аннотация
Себастьян Барри. Скрижали судьбы
Часть первая
  Глава первая
  Глава вторая
  Глава третья
  Глава четвертая
  Глава пятая
  Глава шестая
  Глава седьмая
  Глава восьмая
  Глава девятая
  Глава десятая
  Глава одиннадцатая
Часть вторая
  Глава двенадцатая
  Глава тринадцатая
  Глава четырнадцатая
  Глава пятнадцатая
  Глава шестнадцатая
  Глава семнадцатая
Часть третья

Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая

Аннотация

Роман Себастьяна Барри «Скрижали судьбы» — это два дневника, врача психиатрической лечебницы и его престарелой пациентки, уже несколько десятков лет обитающей в доме скорби, но сохранившей ясность ума и отменную память. Перед нами истории двух людей, их любви и боли, радостей и страданий, мук совести и нравственных поисков. Судьба переплела их жизни, и читателю предстоит выяснить, насколько запутанным оказался этот узел.

Себастьян Барри
Скрижали судьбы

Посвящается Маргарет Синг

Наш внутренний взор есть наше величайшее несовершенство, поскольку мы видим лишь тень себя.

Сэр Томас Браун, Христианская мораль

Сколь немногим историкам или читателям исторических трудов удается извлечь хотя бы малую пользу из своих усилий!.. Помимо того, самые достоверные свидетельства древней и современной истории подчас таят в себе так много недосказанного, что любовь к истине, которая во многих умах незыблемо укреплена от природы, неизбежно приводит к любви к тайным мемуарам и семейным преданиям.

Мария Эджворт, из предисловия к роману «Замок Ракрэнт»

Часть первая

Глава первая

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

(пациентка областной психиатрической лечебницы Роскоммона, с 1957 г. по настоящее время)

Мой отец говорил, что мир начинается заново с каждым рождением. Но забывал добавить, что с каждой смертью — заканчивается. Или не считал нужным договаривать. Потому что добрую часть жизни проработал на кладбище.

* * *

Родилась я в холодном маленьком городе. Даже горы от него отодвигались. Доверия у гор к этому темному местечку было не более моего.

Через весь город текла черная река, не проявляя к людям никакой милости и снисходя только до лебедей — и лебедей там плавало много, а во время разлива они вертелись вместе с потоком, будто нырки какие.

Еще река несла в море всякий мусор, и некогда

чьи-то вещи, ухваченные с берегов, и трупы тоже, хоть и редко — да и случалось, бедных младенцев, чужой позор. Глубина реки и ее течение умели принять любую тайну.

Это я про город Слайго.

Слайго меня создал, Слайго меня и разрушил, но мне следовало бы гораздо раньше бросить все эти мысли про то, как меня создавали и разрушали человеческие города, и искать ответов только в себе самой. Весь страх и боль в моей жизни приключились потому, что в молодости я думала, будто другие люди — творцы моего счастья или несчастья. Я не знала тогда, что человек может выстроить целую стену из воображаемых кирпичей против всех тех ужасов и жестоких мрачных испытаний, которые обрушивает на нас время, — и стать, таким образом, творцом самому себе.

Теперь меня там нет, теперь я в Роскоммоне. Дом этот старый, раньше был чей-то особняк, но стены выбелены, везде железные кровати и засовы на дверях. Всё тут — владения доктора Грена. Доктора Грена я не понимаю, но я не боюсь его. Не знаю, какого он вероисповедания, но выглядит он точь-в-точь как святой Фома — с этой своей бородой и лысой макушкой.

Я совсем одна, за этими стенами никто меня и

не знает, вся моя родня — пара жалких медяков, что у меня когда-то были, да моя птичка-мать, — все они уже умерли. Умерли, наверное, уже и все мои преследователи, потому что я теперь старая, очень старая женщина, мне, может быть, уже сотня лет, хотя я и не знаю точно, да и никто не знает.

Я всего лишь жалкий остаток, огрызок женщины, я даже и на человека-то не похожа больше: так, кости, кое-как обтянутые ветхой кожей, одетые в выцветшую юбку и кофту да в полотняную куртку, сижу тут в своем гнезде, как онемевшая малиновка — нет, скорее, как мышь, что сдохла за камином, в тепле, и лежит там теперь, как мумия в пирамиде.

Никто и не знает, что у меня есть своя история. Через год, через неделю или даже завтра я уж точно умру, и мне закажут маленький гроб да выроют узкую ямку. Камня в изголовье и того не поставят, да и неважно.

Так и все люди, наверное, маленькие и узкие.

Тишина кругом. Почерк у меня еще твердый, и еще есть замечательная ручка, полная синих чернил, которую мне дал мой друг доктор, потому что я сказала, что мне цвет нравится — он в самом деле неплохой человек, доктор, быть может, даже

философ, — и тут у меня пачка бумаги, которая отыскалась в шкафу среди прочих ненужных вещей, а вот расшатанная половица, где я прячу все эти сокровища. Я записываю свою жизнь на ненужной бумаге, которой у меня с избытком.

Я начинаю с чистого листа — со множества чистых листов. Теперь мне так страстно хочется оставить что-то вроде отчета, отверстой и откровенной истории самой себя, и если Господь даст мне сил, я расскажу всю эту историю и запру ее под половицами, чтобы затем почти с радостью улечься вместе с остальными моими покойниками под роскоммонским дерном.

* * *

Мой отец был самым чистым человеком во всем христианском мире, во всем Слайго уж точно. Мне все казалось, что он так туго затянут в свою форму — никакой расхлябанности, весь ровный, как записи в конторской книге. Он был смотрителем на кладбище, и для работы ему полагалась невероятной красоты форма, или уж такой она мне виделась в детстве.

Во дворе у нас стояла бочка, в которую собиралась дождевая вода, и там он мылся — каждый божий день. Велит нам с матерью отвернуть-

ся к стене, встанет посреди заросшего мохом и лишайниками двора, не боясь, что его кто-то увидит, разденется догола и давай безжалостно поливать себя из бочки, в любую погоду, даже в самую зиму, и только всхрапывает, как бык.

Карболовое мыло, которым отмывали засаленный пол, он взбалтывал в целый костюм из пены, который сидел на нем как влитой, пока он тер себя куском серого камня: его он, помывшись, засовывал в специальную дыру в стене, откуда тот торчал, будто чей-то нос. Все это я видела вспышками, урывками, пока быстро вертела головой, потому что тут я становилась плохой дочерью и не могла слушаться.

Никакие цирковые трюки не могли развлечь меня больше этого.

Мой отец был певцом, которого не заставишь умолкнуть, он пел все песенки из тогдашних опереток. И еще он любил читать проповеди давно умерших священников, потому что, как он говорил, может представить то давно прошедшее воскресенье, когда эта проповедь была еще новехонькой, а слова только вылетели у проповедника изо рта.

Его отец был проповедником. Мой отец был страстным, я бы даже сказала духовнейшим

пресвитерианцем — не самая популярная черта характера в Слайго.

Превыше всего он ценил проповеди Джона Донна, однако истинным его евангелием была *Religio Medici* сэра Томаса Брауна,[1] книга, которая осталась со мной после всей кутерьмы и неразберихи в моей жизни, маленький истрепанный томик. Вот она лежит передо мной на кровати, внутри написаны его имя — Джо Клир, дата — 1888 год, город — Саутгемптон, потому что в ранней юности он был моряком и еще до того, как ему исполнилось семнадцать, успел побывать в каждом порту христианского мира.

В Саутгемптоне произошло одно из самых великих или грандиозных событий в его жизни — он повстречал мою мать, Сисси, которая работала горничной в постоялом доме для моряков, где он любил останавливаться.

Отец любил рассказывать одну занятную историю про Саутгемптон, и ребенком я воспринимала ее как святую истину. Впрочем, может, то была и чистая правда.

Как-то зайдя в порт, он обнаружил, что в его

---

[1] Примечания: 1

Томас Браун (1605–1682) — английский мыслитель и ученый. «Религия врача» (1635) — один из самых его известных трактатов, в котором Браун рассуждает о возможности сближения религии и науки.

привычном постоялом доме мест нет, и поэтому был вынужден идти дальше, по продуваемым насквозь широким улицам, пока не наткнулся на одиноко стоящий дом, где клиентов подлавливала табличка, извещавшая о сдающихся комнатах.

В доме его встретила серолицая женщина средних лет, которая отвела ему койку в подвале. Посреди ночи он проснулся — показалось, что в комнате кто-то дышит. До смерти перепугавшись, он с отчетливой ясностью, которая идет рука об руку с паникой, услышал стон — и в темноте кто-то улегся с ним рядом.

Он зажег свечу из трутницы. Никого. Но отец увидел, что простыни и матрас примяты, будто там лежит грузный человек. Он вскочил с койки, крикнул: эй, но никто не ответил. И тут он почувствовал, как все его нутро свело таким жутким голодом, какого ни один ирландец не испытывал со времен картофельного мора.[2]

Он бросился к двери, но с изумлением обнаружил, что она заперта. Вот теперь он был вне себя от бешенства.

---

[2] Примечания: 2

Период с 1845 по 1852 год, когда большой неурожай картофеля наложился на сложную экономико-политическую ситуацию в стране и вызвал массовый голод.

— Выпусти меня! Выпусти! — кричал он, пока в нем бушевали и страх, и ярость. Да как посмела эта старая карга запереть его тут!

Он колошматил и колошматил в дверь, наконец хозяйка спустилась и спокойно отомкнула его. Она извинилась, сказав, что, видимо, невольно повернула ключ в замке, чтобы обезопасить себя от воров. Отец пожаловался на то, что в комнате кто-то был, но женщина лишь улыбнулась, ничего не ответила и ушла к себе.

Ему показалось, что он уловил странный запах, исходивший от нее — запах листвы, подпола и подлеска, как будто бы она продиралась сквозь лесную чащу. Все утихло, он задул свечу и попытался заснуть.

Однако какое-то время спустя все повторилось. Он вновь вскочил, зажег свечу и подошел к двери. Снова заперто! И снова внутри заворочался ужасный голод. Отчего-то он не осмелился вновь позвать хозяйку — вероятно, из-за чрезвычайной ее странности — и провел остаток ночи на стуле, взмокший от пота, скрюченный.

Наутро он проснулся, оделся — дверь была открыта. Отец взял свои сумки и пошел наверх. Только теперь он заметил, что дом в ужасном запустении — ночью это милосердно скрыла тем-

нота. Он не мог дозваться хозяйки и, поскольку его корабль должен был вот-вот отплыть, ушел, так и не повидав ее, бросив пару шиллингов на полочку под зеркалом.

Выйдя на улицу, отец оглянулся и с неприятным чувством заметил, что многие оконные рамы в доме сломаны, а на просевшей крыше недостает черепиц. Тогда он зашел в лавку на углу, чтобы успокоиться и поговорить хоть с какой-то живой душой, и принялся расспрашивать лавочника про дом.

Этот дом, сказал лавочник, вот уже несколько лет как заброшен и никто там не живет. Его бы снести давно, да он стеной примыкает к другому дому. Нет-нет, не мог он там ночевать. Там нет никого, да и кто захочет купить дом, где жена мужа убила — заперла в подвале и уморила голодом. Женщину эту судили и повесили за убийство.

Отец рассказывал матери эту историю с таким воодушевлением, будто переживал все заново. Мрачный дом, серая женщина, стенающий призрак проплывали у него перед глазами.

— Ну, Джо, хорошо, что в твой следующий приезд у нас нашлась свободная комната, — всегда очень ровно произносила моя мать.

— Святая правда, святая правда, — отвечал

отец.

Эта крошечная человеческая история, морская история каким-то образом вмещала в себя и яркую красоту моей матери, и всю мощь ее чар, перед которыми мой отец никогда не мог устоять.

Потому что она была красива смуглой, темноволосой испанской красотой и глаза у нее были зелеными, как колумбийские изумруды, а перед такими падет любой мужчина.

Он женился на ней и привез ее с собой в Слайго, где она и жила с тех пор, не будучи родом из этой тьмы, похожая на потерянный шиллинг, что валяется в грязи и отчаянно поблескивает. Никогда еще Слайго не видал большей красавицы: кожа у нее была мягче пера, а грудь теплая и щедрая — восторг и взошедшее тесто.

В детстве самой великой моей радостью было идти с матерью в сумерках по улицам Слайго, потому что она любила выходить навстречу отцу, когда он возвращался с кладбища. И только много лет спустя, когда я сама выросла, вспоминая все это, я поняла, что в этом ее встречном движении таился какой-то трепет, как будто бы она не верила, что обычный ход времени и жизни сам приведет его домой. Потому что, думаю, мать

странно тяготилась сиянием своей красоты.

Отец был на кладбище смотрителем, как я вам уже говорила, и носил синюю форму и фуражку с козырьком, черным, как перья у дятла.

В те времена шла Первая мировая, и город был полон солдат, как будто бы весь Слайго был полем боя, но, конечно, ничего там не происходило. Мы в основном видели солдат, приходивших в увольнительные. Но все они в этих своих формах походили на моего отца — казалось, что он на улицах повсюду, и пока мы с матерью шли ему навстречу, я выглядывала его так же истово, как и она.

Но радость только тогда заполняла меня целиком, когда оказывалось, что он — это он, как и должно, возвращается домой с кладбища темным зимним вечером, несется вперед легким шагом. И стоило ему заметить меня, как он затевал со мной какую-нибудь игру, будто расшалившийся ребенок. И уж многие на него косились, быть может, потому что такое поведение не очень уж вязалось с должностью смотрителя за покойниками Слайго. Но у него была редкая способность всецело отдаваться игре с ребенком и в сумеречном свете быть глупым и веселым.

Он был смотрителем могил, но еще он был са-

мим собой и в своей фуражке с козырьком и синей форме мог с надлежащим достоинством проводить любого посетителя к месту, где покоился его друг или родственник, но оставшись один в своей сторожке, маленькой бетонной часовенке, он прелестно распевал арию «Мне снилось, живу я в гранитном дворце» из «Цыганки», одной из его любимых опер.[3]

В выходные же он гонял по извилистым ирландским дорогам на своем мотоцикле «матчлесс». И если завоевание моей матери стало для него событием поистине королевским, то одни лишь воспоминания о том, что в тот же великий удачный год, незадолго до моего рождения, он на своем чудесном мотоцикле участвовал в короткой гонке на острове Мэн, благополучно добрался до середины поля и не убился, были для него источником бесконечной радости и, я думаю, немало утешали его в бетонной часовенке посреди тягучей и безрадостной ирландской зимы, когда кругом были одни только спящие души.

Другая «известная» история — известная, разумеется, лишь нашему крохотному семейству — приключилась с отцом в его холостой жизни,

---

[3] Примечания: 3

«Цыганка» (1843) — опера композитора Майкла Уильяма Бальфе.

когда он еще мог выбираться на редкие в те времена мотоциклетные гонки. История эта была странная до чрезвычайности, и случилась она в Талламоре.

Он несся на большой скорости, впереди был пологий склон, который оканчивался резким поворотом у разделительной стены — высокого, плотного каменного забора, построенного во время Великого голода, когда рабочим, казалось, придумывали бесполезные занятия, чтобы они не поумирали с голоду. Но, как бы там ни было, а ехавший впереди него гонщик, летя вниз с холма на невероятной скорости, вместо того чтобы дать по тормозам, будто бы даже прибавил газу перед стеной и, в конце концов, как ядро из пушки — с грохотом, скрежетом и дымом — безжалостно в нее впечатался. Отец, пытаясь разглядеть хоть что-то через перепачканные очки, чуть было сам не выпустил руль — настолько перепугался, но затем увидел то, что никогда не мог и не смог бы объяснить: гонщик воспарил, будто бы на крыльях, и одним быстрым, но плавным движением перелетел через стену, скользнув по воздуху, словно чайка, которую несет попутным ветром. На мгновение отцу и впрямь почудился шелест крыльев, и, всякий раз после этого встречая в

молитвеннике упоминания об ангелах, он вспоминал об этом удивительном мгновении.

Прошу вас, не думайте, будто мой отец привирал, потому что на это он был не способен. Верно, что во многих деревнях — и даже городах — люди вам расскажут, что видели уж такие чудеса, да взять хотя бы моего мужа Тома с его историей про двухголовую собаку, что повстречалась ему на пути в Инишкрон. Верно и то, что истории эти производят впечатление, только если рассказчик прикидывается, будто сам в них истово верит — или впрямь видел что-то подобное. Но отец мой никогда не был мастером рассказывать сказки.

Когда отцу удалось замедлить ход и затормозить, он побежал вдоль забора, пока не наткнулся на калитку и, толкнув ржавые воротца, принялся продираться сквозь заросли крапивы и конского щавеля в поисках своего волшебного спутника. Там тот и лежал, с другой стороны забора, совсем без сознания, но, как клялся мой отец, целый и невредимый. Наконец мужчина — оказалось, что это индийский джентльмен, торговавший шарфами и прочими штуками, которыми был доверху набит его чемодан, по всему западному побережью, — пришел в себя и улыбнулся отцу. Оба они подивились его невероятному спасению,

и история эта, что вполне понятно, ходила по всему Талламору еще много лет. Если и вы ее когда-нибудь слышали, то рассказчик, верно, мог назвать ее историей про «индийского ангела».

И вновь становилось заметно, как до странного счастлив был мой отец, пересказывая все это. Казалось, подобные события были ему наградой за саму его жизнь, небольшой дар повествования, который приносил ему столько радости, что наделял его — и во сне, и наяву — некоторым ощущением своей особенности, будто бы эти маленькие клочки историй и событий складывались для него в своего рода лоскутное евангелие. И если бы и впрямь о жизни моего отца вдруг написали евангелие — а почему бы, впрочем, и нет, ведь говорят же, что каждая жизнь ценна Господу, — то думаю, в этом новом исполнении с чужого голоса, крылья, которые он лишь мимолетом углядел на спине своего индийского друга, стали бы куда заметнее, а все намеки превратились бы в утверждения — недоказуемые, но вознесенные до уровня чуда, чтобы всякий мог найти в них утешение.

Счастье моего отца. Уже само по себе оно было бесценным даром, как вечная тревога матери — ее вечным бременем. Потому что моя мать ни-

когда не слагала легенд из своей жизни и жила, что примечательно, без единой истории, хотя я уверена, что заговори она — и ее рассказы были бы не хуже отцовских.

Странно, вот что мне пришло в голову: человек, который не пестует свои рассказы, пока живет, чтобы они потом пережили его, скорее всего, будет потерян не только для всей истории, но и для семьи, которой он мог бы их передать. Разумеется, такова участь большинства, когда целые жизни — пусть даже самые яркие и примечательные — съеживаются до угрюмых почерневших надписей на засохшем фамильном древе: рядом болтаются половинка даты да вопросительный знак.

Счастье моего отца не только спасало его, но вновь и вновь приводило его к этим рассказам, и даже сейчас благодаря этому он живет во мне, словно внутри моей несчастной души есть вторая — более терпеливая, более радостная.

Быть может, счастье моего отца было до странного беспричинным. Но разве не может человек быть счастлив как ему угодно, пока бредет по этой долгой и непонятной жизни? В конце концов мир ведь и вправду прекрасен, и появись мы в нем не людьми, а другими тварями, то могли

бы быть бесконечно счастливы.

И без того тесную гостиную в нашем маленьком домике мы делили с двумя большими предметами — одним из них был уже упомянутый мотоцикл, который нужно было укрывать от дождя. Можно сказать, он вел тут тихую и размеренную жизнь, и отец мог время от времени лениво пробегать по его хрому бархоткой, не вставая с кресла.

Вторым было узенькое пианино, которое досталось отцу в благодарность от одного вдовца — отец не взял с него денег за рытье могилы для жены, поскольку та семья еле сводила концы с концами. И потому летним вечером, вскоре после похорон, ослик и тележка привезли к нам пианино, и вдовец с двумя сыновьями — с улыбками, в счастливом смущении — внесли его в крохотную комнатку. Вряд ли это пианино стоило больших денег, но звучало оно изумительно чисто, и судя по девственной белизне клавиш, до того на нем никогда не играли.

Его боковые панели были разрисованы пейзажами — не Слайго, конечно, а скорее видами некоторой воображаемой Италии, но с тем же успехом это мог быть и Слайго: реки, горы да пастухи с пастушками подле своих покорных овец.

Отец, выросший при церкви, мог играть на этом чудесном инструменте и, как я уже говорила, был без ума от популярных оперетт прошлого века. Бальфе[4] он почитал гением.

На табурете нам двоим как раз хватало места, и вскоре я — в силу своей любви к отцу и великого восторга перед его умением — начала подхватывать основы игры и постепенно и впрямь неплохо выучилась, и учеба эта никогда не обременяла меня, не была мне в тягость.

И вот я уже могла подыгрывать отцу, а он становился посреди комнаты, небрежно опершись одной рукой на сиденье мотоцикла, а вторую засунув за борт пиджака — ну точь-в-точь ирландский Наполеон, — и принимался исполнять практически безупречно, ну или как мне тогда казалось, «Гранитный дворец» или другие жемчужины своего репертуара и, кстати, раз уж на то пошло, то и песенки, что зовут неаполитанскими, которые, конечно, были названы так не в честь Наполеона, как думала я, а потому что они родились на улицах Неаполя — песенки, сосланные в ссылку в Слайго!

Голос его проливался в меня, как мед, и кружил-

[4] Примечания: 4

Майкл Уильям Бальфе (1808–1870) — ирландский композитор, сочинитель популярных опер и оперетт.

ся в моей голове, вибрируя, заполняя ее целиком, прогоняя все детские страхи. Его голос взлетал вверх, и весь он будто бы поднимался вместе с ним — руки, бакенбарды, нога, которой он покачивал над ковром с нарисованными на нем собаками, и взгляд его переполнялся странным весельем. Сам Наполеон, думаю, признал бы, что он — человек возвышенный. В такие минуты, во время исполнения более тихих пассажей, тембр его голоса звучал настолько прекрасно, что ничего лучше я не слышала и по сей день.

В дни моей молодости в Слайго перебывало много хороших певцов: они выступали на открытых сценах под дождем, а кое-каким исполнителям более популярных мелодий я даже подыгрывала на пианино, вытесывая ноты и аккорды, что для них, наверное, было скорее помехой, чем подспорьем. Но по мне, так никто из них не мог передать ту странную интимность, которая звучала в голосе моего отца.

А человек, умеющий веселиться перед лицом надвигающихся невзгод, невзгод, которые выпадают многим из нас — без снисхождений и поблажек, — и есть истинный герой.

Глава вторая

Записи доктора Грена

(старший психиатр областной психиатрической лечебницы Роскоммона)

Здание в ужасном состоянии, хотя насколько все ужасно, мы узнали только после того, как получили отчет инспектора. Трое храбрецов, вскарабкавшихся на древнюю крышу, сообщают, что опорные балки вот-вот рухнут, как будто бы сама макушка нашего заведения стала походить на головы несчастных заключенных, что живут под ней. Хотя заключенных мне следует называть «пациентами». Но раз уж это здание было построено в конце XVIII века в качестве благотворительного заведения «для целительного приюта и надлежащего исправления скорбных вместилищ мыслей», то слово «заключенный» как-то само приходит на ум. Теперь, правда, остается только догадываться, насколько тут все было целительным и насколько надлежащим. Вообще-то в середине XIX века в истории таких приютов произошел большой прорыв

благодаря революционным идеям некоторых докторов: смирительные рубашки применяли с умом, а хорошее питание, физические нагрузки и упражнения для умственного развития полагали залогом успеха. Что, собственно, стало рывком вперед по сравнению с порядками, царившими в Бедламе, где воющих и рычащих существ приковывали цепями к полу. Потом, правда, все снова пришло в упадок, и ни одна чувствительная душа не возьмется описать все, что творилось в ирландских лечебницах в первую половину прошлого века — клиторидектомия, погружение в ледяную воду, инъекции. Прошлый век был «моим» веком, поскольку на исходе его мне исполнилось пятьдесят пять, а в этом возрасте трудно всем сердцем и помыслами обратиться к веку новому. Или мне так казалось. До сих пор кажется. Увы, теперь мне почти шестьдесят пять.

Раз уж здание так отчетливо принялось стареть, придется нам его покинуть. В местном отделе здравоохранения говорят, что новое здание откроется тотчас же — может, это и правда, а может, просто пустая болтовня.

Но что делать до тех пор, пока мы точно не будем уверены, что нам дадут новое здание, и как, если уже задаваться более философскими вопро-

сами, мы сможем выдернуть отсюда пациентов, чья ДНК, вероятно, давно въелась в стены этого помещения? Эти вот пятьдесят доисторических женщин в центральном корпусе — они такие старые, что сам их возраст стал чем-то вечным, беспрерывным, — так давно не встают с постелей, так обросли пролежнями, что куда-то их перевозить — уже само по себе насилие.

Наверное, я никак не могу смириться с мыслью, что придется переезжать, — вполне разумно, если учесть, что вопрос пока на стадии обсуждения. Как-нибудь справимся, конечно, и с неразберихой, и с потрясениями.

Сестры и санитары, впрочем, тут тоже давно стали частью здания, как летучие мыши на чердаке и крысы в подвалах. Этим-то имя, как я понимаю, легион, хотя, слава богу, крыс я видел только один раз, когда горело восточное крыло — по нижним этажам носились маленькие темные тени, которые выскакивали и неслись за изгородь, на кукурузные поля. Когда они убегали, свет пожара окрашивал их шкурки в причудливый рыжеватый оттенок. Уверен, они слышали, как пожарные дали отбой, и потом — под покровом новой тьмы — прошмыгнули обратно.

Итак, переехать когда-нибудь все-таки при-

дется. По новому законодательству я обязан определить, кого из пациентов можно вернуть в общество (что бы это, черт подери, ни значило) и к каким категориям отнести всех прочих пациентов. Многих из них, конечно, поразит даже новая обстановка — свежая штукатурка, хорошая звукоизоляция и центральное отопление. Уверен, им будет не хватать даже стенаний ветра, слышных даже в безветренные дни (кстати, как это возможно? наверное, из-за вакуума, который возникает на границах холодных и прогретых частей здания), — как легчайшего аккомпанемента их снов и «припадков». Несчастные стариканы в черных костюмах, которые больничный портной скроил давным-давно, они не столько сумасшедшие, сколько дряхлые и бездомные, живут себе в западном крыле — самой старой части здания, — будто ветераны позабытых войн, которые не будут знать, куда приткнуться, покинув эту роскоммонскую глушь.

Однако все это вынуждает меня взяться за дело, которое я чересчур долго откладывал: установить обстоятельства, что привели к нам некоторых пациентов, и понять, не очутились ли они здесь — а такие трагические случаи, увы, известны — по социальным, а не по медицинским показаниям.

Уже не такой я дурак, чтобы думать, что все местные «безумцы» и впрямь безумны, или страдали безумием, или обезумели до того, как попали сюда и подхватили сумасшествие как своего рода заразу. Всезнающая общественность — или, скорее, общественное мнение, отраженное в газетах, — не особенно вдаваясь в подробности, полагает, что такие люди заслужили «свободу» и «жизнь на воле». Быть может, оно и верно, только создания, которые так долго сидели взаперти, могут счесть свободу и вольную жизнь довольно затруднительными приобретениями, как все эти страны Восточной Европы после падения социалистической системы. Да и я тоже ощущаю в себе странное нежелание отпускать кого-либо из них. Что это? Страдания сторожа в зоопарке? Освоятся ли мои полярные мишки на Северном полюсе? Такие мысли мне, конечно, чести не делают. Ну, поживем — увидим.

В частности, мне придется заняться моим старым другом миссис Макналти, которая не только старше всех в клинике, но и во всем Роскоммоне, а может статься, что и во всей Ирландии. Она уже была старой тридцать лет назад, когда я приехал сюда, хотя в то время энергии в ней было — ну, не знаю, — как в природной стихии. Личность она

примечательная, и, несмотря на то что зачастую я вижусь с ней лишь мимоходом, а то подолгу и вовсе к ней не заглядываю, я всегда помню о ней и стараюсь о ней справляться. Признаюсь, для меня она своеобразная точка опоры. Она здесь с незапамятных времен и для меня олицетворяет не только наше заведение, но и каким-то удивительным образом мою историю, всю мою жизнь. Как там у Шекспира: «звезда, которою моряк определяет место в океане».[5] Которой я определял наши с бедняжкой Бет семейные сложности, мои периоды уныния и внезапной меланхолии, мои мысли о том, что ничего у меня не выходит — мое то, мое се, — и, наверное, мою приветливую глупость. Пока все вокруг меня неотвратимо менялось, она оставалась прежней, разве что становясь с годами более тонкой и хрупкой. Ей ведь уже сто? Раньше она играла на пианино в комнате отдыха — и довольно сложные вещицы, джазовые мелодии двадцатых и тридцатых. Не знаю, где она этому научилась. Помню, она сидит там — волосы распущены, длинные серебристые пряди струятся по спине, на ней кошмарная больничная роба — и выглядит при этом ко-

---

[5] Примечания: 5
Уильям Шекспир, сонет 116 *(пер. С. Маршака).*

ролевой и поразительно прекрасной, хотя ей было тогда уже семьдесят. Она и сейчас довольно красива, а уж представить, как она, наверное, выглядела в молодости! Незаурядно, как воплощение всего необычного и даже чужеродного в этом провинциальном мирке. Когда позже у нее развился легкий ревматизм — она этого слова не допускала, ссылалась на то, что пальцы стали «негибкие», — играть она перестала. И с ревматизмом она могла бы играть неплохо, но «неплохо» ее не устраивало. Поэтому мы больше не слышали, как миссис Макналти играет джаз.

Для порядка стоит записать, что потом пианино, побежденное древоточцами, вывезли на свалку, и в кузов грузовика оно приземлилось с оглушительным немузыкальным звоном.

Теперь придется пойти и порасспрашивать ее о том, о сем. Из-за этого я необъяснимо нервничаю. С чего бы мне нервничать? Наверное, все потому, что она настолько старше меня и, когда она надолго умолкает, я чувствую себя рядом с ней чрезвычайно покойно — как в обществе пожилого коллеги, перед которым преклоняешься. Да, наверное, в этом-то и дело. Или — как я подозреваю — в том, что я нравлюсь ей так же, как и она мне. Хотя я и не знаю почему. Я испытываю к ней

любопытство, но никогда толком не влезал в ее жизнь, что, наверное, характеризует профессионального психиатра с не самой лучшей стороны. Впрочем, вот так и есть — я ей нравлюсь. И эту ее приязнь — в смысле само ее состояние — я не хотел бы поколебать ни за что на свете. Поэтому нужно действовать осторожно.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Как бы мне хотелось сказать, что я любила отца так сильно, что не могла жить без него, но потом подобные уверения окажутся неправдой. Те, кого мы любим, неразделимые с нами люди, уходят от нас по воле Всевышнего или стараниями дьявола. Смерти эти — будто увесистый кусок свинца на душе, и там, где прежде душа была невесомой, в самой нашей сердцевине, сокрыто теперь тайное и гибельное бремя.

* * *

Когда мне было лет десять, отец в приступе образовательного рвения привел меня наверх длинной и узкой кладбищенской башни. Башня эта была одной из прекрасных, стройных и высоких построек, возведенных монахами в

страшные и губительные времена. Она стояла в заросшем крапивой уголке кладбища, и никто ее особо не замечал. Всякий, кто рос в Слайго, просто знал: она там есть. Но, вне всякого сомнения, то была драгоценность, выстроенная лишь с тонким налетом цемента меж камней — каждый камень впитал в себя изгиб башни, каждый камень был уложен на свое место древними каменщиками с идеальной точностью. Кладбище, конечно, было католическое. Но мой отец получил эту работу не из-за своей религии, а потому, что в городе все его очень любили и католики были не против, чтобы могилы им копал пресвитерианец, если это пристойный пресвитерианец. Потому что тогда отношения между церквями были гораздо спокойнее, чем нам представляется сейчас, и многие подчас забывают про те, уже давно канувшие в лету времена, когда из-за введенных карательных законов католики тоже подвергались гонениям — про это отец очень любил напоминать. Но в любом случае там, где есть дружба, религия не помеха. И только гораздо позже это его отличие вдруг сыграло свою роль. А до того я знала, что к нему с чрезвычайной приязнью относится приходской священник, бойкий энергичный человечек по имени отец Гонт, ко-

торый позже занял очень много места в моей собственной истории, если, конечно, так можно сказать про такого маленького человечка.

То было время, когда первая война только-только закончилась, и, быть может, в тогдашних окопах истории сознание людей то и дело устремлялось ко всякого рода странностям, педагогическим причудам — вроде той, которую в тот день затеял отец. Потому что иначе я не знаю, зачем бы еще взрослый мужчина повел своего ребенка на верхушку старой башни, прихватив с собой сумку, полную молотков и перьев.

Весь Слайго — с рекой, домами, церквями — распростерся у подножия башни, ну или так оно казалось из маленького окошка на верхушке. Пролетающая птица, наверное, могла видеть, как оттуда пытаются одновременно высунуться два оживленных лица: я вся тянусь на цыпочках, моя макушка задевает подбородок отца.

— Розанна, милая, я уже брился утром, тебе не удастся побрить меня еще раз своей золотой головкой.

И правда, у меня были мягкие волосы — прямо как золото, золото тех древних монахов. Желтые всполохи цвета, как в старых книжках.

— Папочка, — сказала я, — ну пожалуйста-рас-

пожалуйста, брось скорее молотки и перья вниз, и посмотрим, что будет.

— Ух, — ответил он, — что-то я притомился, пока карабкался сюда, давай-ка взглянем разок на Слайго, прежде чем перейдем к нашему эксперименту.

Он специально поджидал безветренной погоды. Хотел наглядно доказать мне старинную теорию: все вещи падают вниз с одинаковой скоростью.

— Теоретически, — сказал он, — все вещи падают вниз с одинаковой скоростью. И я тебе это докажу. И себе тоже.

Мы сидели у шипящих углей нашего камелька.

— Все, может быть, и падает, как ты говоришь, с одной скоростью, — вклинилась мать из своего угла. — Да вот только мало что подымается.

Не думаю, что это была шпилька в его адрес, так — обычное замечание. В любом случае отец взглянул на нее с тем превосходным спокойствием, которым она владела в совершенстве и которому он научился от нее.

Как странно — сидеть в сумеречной комнате и писать все это, царапать слова синей шариковой ручкой и в то же время где-то там, за глазами, в

сумерках моей головы, видеть, как они говорят и живут, будто это они — настоящие, а я — всего лишь иллюзия. И в тысячный раз сердце мое вздрагивает при воспоминании о том, какая она красивая, какая ладная, милая и сияющая и какой у нее саутгемптонский выговор: как галька на пляже, которую с шорохом ворошат волны, мягкий звук, что звучит в моих снах. Правда и то, что когда я дерзила, когда ей казалось, что мой путь отклоняется от замысленного ею — даже в мелочах, то меня ждала порка. Но в те времена детям всегда за что-нибудь попадало.

И вот наши с отцом головы елозят туда-сюда, лица втиснуты в старинную раму монашеского смотрового окошка. И какие только давние лица не выглядывали отсюда — вот монахи потеют в своих рясах, пытаются разглядеть, нет ли на горизонте викингов, которые придут и убьют их всех и заберут их книги, их бочонки с вином, их деньги. Никакой каменщик не оставит для викингов слишком большого оконного проема, и это окошко по-прежнему отдавало застарелой тревогой и опасностью.

Наконец стало ясно, что, если мы оба останемся наверху, провести эксперимент не удастся. Кто-то из нас обязательно все пропустит. Поэтому

отец велел мне спускаться вниз, по замшелым каменным ступеням, и я до сих пор помню, какой влажной была стена под моими пальцами и как рос во мне необъяснимый страх разлучиться с отцом. Мое маленькое сердечко колотилось так, будто в груди метался застрявший голубь.

Я вышла из башни и отошла от нее подальше, как он велел, боясь того, что меня насмерть зашибет упавшим молотком. Отсюда башня казалась громадной, вытянувшейся до самых облаков, которые в тот день были нечистого, серого цвета. До самых небес. Было тихо, ни ветерка. Заброшенные могилы в этой части кладбища, могилы мужчин и женщин из того века, когда люди могли позволить себе лишь грубый безымянный камень в головах, теперь, когда я оказалась тут в полном одиночестве, казались мне совсем другими, будто бы эти жалкие скелеты вот-вот восстанут из-под земли и набросятся на меня, снедаемые вечным голодом. Я стояла там — ребенок на краю обрыва, такое у меня было чувство, как в той старой пьесе про короля Лира, когда друг короля воображает, будто падает вниз с крутого утеса, а никакого утеса там на самом деле нет, но когда читаешь про это, тоже кажется, что там утес и ты летишь вниз вместе с другом короля. Но я все

высматривала отца — любя и веруя, любя и веруя. Нет ничего дурного в том, чтобы любить своего отца, в том, чтобы принимать его безоговорочно, и так было даже когда я уже начала взрослеть, а в эту пору дети особенно часто разочаровываются в родителях. Нет ничего дурного в том, что все мое сердце тогда рвалось к нему — к тому, что я могла разглядеть: к его руке, которая торчала из окна, и сумке, что болталась в ирландском воздухе. Теперь он что-то кричал мне, и я едва могла разобрать, что он говорит. Но на второй или третий раз я, кажется, расслышала:

— Ты отошла подальше, доченька?

— Отошла, папочка! — отозвалась я, почти крича, ведь моим словам надо было проделать такое огромное расстояние и пролезть в такое маленькое окошко, чтобы добраться до него.

— Тогда я открываю сумку! — крикнул он. — Смотри!

— Я смотрю, папочка!

Одной рукой он неловко раскрыл сумку и вытряс ее содержимое наружу. Я видела, как он клал все туда. Там была пригоршня перьев, которую он выдрал из прикроватного валика, невзирая на причитания жены, и два остроконечных молотка для починки оград и надгробий.

Я смотрела и смотрела. Кажется, я слышала странную музыку. Щебет галок и скрипучий клекот грачей, угнездившихся в огромных буках, складывались у меня в голове в какую-то мелодию. Шея у меня ныла, но я вся разрывалась от нетерпения скорее увидеть, чем закончится этот элегантный опыт, который, как сказал отец, может стать для меня чем-то вроде основы мировоззрения.

Хотя не было ни малейшего ветерка, перья мгновенно разметало будто взрывом и тотчас же унесло вдаль — серые пятнышки против серых облаков, практически неразличимые. Перья летели, летели вдаль. Отец все кричал и кричал мне с башни, в страшном возбуждении:

— Ну, что видишь, что видишь?

Что я тогда видела, что знала? Иногда мне кажется, что когда в ком-то вдруг прорывается нелепость, нелепость, порожденная, быть может, отчаянием, как это случилось много лет спустя с Энусом Макналти (про него вы еще не знаете), тогда-то тебя и пронзает любовью к этому человеку. Это любовь — которая ничего не знает, ничего не видит. И вот я все стою и стою там, все пытаюсь разглядеть что-то, заломив шею, все всматриваюсь и вытягиваюсь — пусть даже и только

потому, что люблю его. А перья все кружатся и улетают, улетают. Отец зовет и зовет меня. Мое сердце рвется к нему. И молотки все падают.

Глава третья

Дорогой читатель! Дорогой читатель, если ты хороший, добрый человек, как бы я хотела ухватиться за твою руку. Я хотела бы столько всего невозможного. Тебя у меня нет, но зато есть много чего другого. Бывают мгновения, когда всю меня пронзает невыразимой радостью, так, будто бы, не имея ничего, я в то же время владею целым миром. Будто бы, сидя в этой комнате, я на самом деле сижу в предбаннике рая, и вскоре передо мной откроются двери и я выйду к зеленым полям и обнесенным изгородями фермам, вознагражденная за все мои муки. Такой зеленью горит эта трава!

* * *

Утром заходил доктор Грен, и мне пришлось мигом припрятать эти записи. Не хочу, чтобы он их увидел и стал меня расспрашивать, потому что здесь уже появились секреты, а мои секреты — это и мое имущество, и мой разум. К счастью, я еще издали услышала, как он идет по коридору, потому что у него металлические набойки на

ботинках. И, к счастью, я ни капли не страдаю от ревматизма или еще какой-нибудь немощи, положенной в моем возрасте, по крайней мере в ногах. Руки у меня, увы, уже не те, что были, но вот ноги еще держат. Мыши, которые бегают за стеной, быстрее меня, но они и всегда были быстрее. Мышь, когда ей нужно, может бегать что твой спортсмен, это уж точно. Но доктора Грена я смогла опередить.

Он постучал в дверь — не то что этот бедняга, который прибирается у меня в комнате, Джон Кейн его зовут, если только я правильно пишу его имя, а я сейчас записала его в первый раз, — и когда вошел, то я уже сидела за пустым столом.

Доктор Грен, я думаю, человек незлой, и поэтому я встретила его улыбкой. Утро выдалось очень холодным, и все вещи в комнате были покрыты морозным налетом. Все так и переливалось. На мне самой были надеты все мои четыре платья, так что я неплохо укуталась.

— Гм, гм, — сказал он. — Розанна… Гм. Как себя чувствуете, миссис Макналти?

— Очень хорошо, доктор Грен, — ответила я. — Очень любезно с вашей стороны навестить меня.

— Это моя работа, — сказал он. — У вас в комнате сегодня убирали?

— Еще нет, — ответила я. — Но Джон, наверное, вот-вот придет.

— Наверное, — согласился доктор Грен.

Затем он прошел к окну и выглянул наружу.

— Холоднее дня еще не было, — заметил он.

— Не было, — согласилась я.

— У вас все есть, что нужно?

— В основном да, — ответила я.

Затем он уселся на мою постель, так будто это была самая чистая постель во всем христианском мире, вытянул ноги и поглядел на свои ботинки. Его длинная седеющая борода заострена как топор. Борода-изгородь, борода святого. На кровати подле него лежала тарелка с остатками бобов со вчерашнего ужина.

— Пифагор, — сказал он, — верил в переселение душ и потому упреждал нас быть особенно осторожными при поедании бобов, на тот случай, если ешь душу своей бабушки.

— О! — отозвалась я.

— Так говорится у Горация, — сказал он.

— А к консервированным бобам это тоже относится?

Доктор Грен прекрасен тем, что чувство юмора у него отсутствует напрочь, но в этом-то и весь его юмор. Бесценное качество в таком месте, как

это, уж поверьте.

— Итак, — повторил он, — вы чувствуете себя хорошо?

— Хорошо.

— Сколько вам уже лет, Розанна?

— Думаю, сотня.

— Не правда ли удивительно — так хорошо себя чувствовать в сто лет? — спросил он так, будто бы это в какой-то мере была и его заслуга, хотя, наверное, так и есть. В конце концов он наблюдает меня уже тридцать с лишним лет. Сам он тоже уже стареет, но еще не так стар, как я.

— Очень удивительно, доктор. Но меня многое удивляет. Меня удивляют мыши. Меня удивляют забавные зеленые лучики света, которые стучатся в это окно. Меня удивляет то, что вы навестили меня сегодня.

— Очень жаль, что мышей у вас так и не вывели.

— Мыши тут будут всегда.

— А разве Джон не ставит мышеловки?

— Ставит, но не слишком аккуратно. Мыши съедают весь сыр и преспокойно убираются восвояси, как Джесс Джеймс[6] со своим братом

---

[6] Примечания: 6

Джесс Джеймс (1847–1882) — известный американский гангстер.

Фрэнком.

Правой рукой доктор Грен стянул кожу на лбу к переносице и помассировал ее. Затем он потер нос и тяжело вздохнул. В этом вздохе были слышен каждый год, который он провел в этом заведении, каждое утро его жизни тут, каждый бессмысленный разговор о мышах, лекарствах и возрасте.

— Знаете, Розанна, — сказал он, — недавно мне пришлось проверить, на каком основании все наши пациенты здесь оказались — сейчас все это вызывает большой резонанс в обществе, — так вот, я просматривал и ваши документы, и должен признаться…

Все это он произнес самым что ни на есть непринужденным тоном.

— Признаться? — подтолкнула я его.

Я знала за ним привычку вдруг молча погружаться в какие-то свои размышления.

— Ах да, простите. Гм, да, так вот. Я хотел спросить вас, Розанна, не помните ли вы случайно, при каких обстоятельствах вас сюда поместили, вы бы мне очень помогли, если помните. Я сейчас поясню, зачем мне это нужно — если до того дойдет.

Доктор Грен улыбнулся, и у меня возникло

подозрение, что последняя фраза могла оказаться шуткой, но смысл ее ускользнул от меня, в частности и потому, что, как я уже сказала, шутить ему было не свойственно. Я почувствовала, что все это неспроста.

И тут я сама — не лучше него — забыла ему ответить.

— Так вы помните что-нибудь?

— Вы о том, как я сюда попала, доктор Грен?

— Да, в общем, как раз об этом.

— Нет, — ответила я, сочтя откровенное вранье лучшим ответом.

— Видите ли, — сказал он, — к несчастью, многие поколения мышей, что неудивительно, как следует обжили наши архивы в подвале, да так, что там теперь ничего не разобрать. Над вашей историей болезни, например, они потрудились весьма своеобразно. В своем нынешнем виде она не посрамит даже египетские пирамиды. Такое впечатление, что дотронься до нее, и она рассыплется в прах.

Наступило долгое молчание. Я все улыбалась и улыбалась. Я старалась представить, что он видит, когда смотрит на меня. Сморщенное лицо, такое старое, утонувшее в возрасте.

— Конечно, я вас очень хорошо знаю. За все

эти годы мы с вами о многом переговорили. Теперь я жалею, что нечасто делал записи. Вы вряд ли удивитесь, узнав, как мало я записал. Я вообще не любитель записывать — наверное, не самое похвальное качество для моей работы. Иногда говорят, что от нас никакой пользы, что мы никому не помогаем. Но я надеюсь, что вам мы как сумели — помогли, несмотря на то что я делал непростительно мало записей. Я очень на это надеюсь. Я рад был узнать, что вы хорошо себя чувствуете. Мне хотелось бы думать, что вы счастливы тут.

Я улыбалась ему старой улыбкой старой женщины: будто бы я не совсем понимаю, о чем он говорит.

— Хотя видит Бог, — произнес он, выказав некоторую душевную тонкость, — тут никто не может быть счастлив.

— Я счастлива, — сказала я.

— Знаете, я вам верю, — ответил он. — Я, кажется, не знаю человека счастливее вас. Но, боюсь, мне придется снова вами заняться — в газетах сейчас столько всего пишут о людях, которые находятся в лечебницах не по медицинским показаниям, а, скажем так, по причинам социального характера — будто бы их тут…

— Держат?

— Да, именно. Держат. И продолжают держать даже в наше просвещенное время. Конечно, вы здесь уже очень, очень давно. Лет, наверное, пятьдесят?

— Не помню, доктор Грен. Наверное, так оно и есть.

— Быть может, вы считаете это место своим домом?

— Нет.

— Что ж, у вас, как и у любого другого человека, есть право быть свободной, если вы готовы, готовы к этой свободе. Думаю, ведь даже в сто лет вам может хотеться пройтись по улице, поплескаться летом в море, понюхать розы…

— Нет!

Я вовсе не хотела так кричать, но, понимаете, сама мысль обо всех этих обыденных действиях, которые в умах многих людей прочно связаны с легкой, счастливой жизнью, для меня по-прежнему что острый нож в сердце.

— Простите?

— Нет, ничего, продолжайте, пожалуйста.

— В любом случае, если я выясню, что вы находитесь здесь без серьезной на то причины, то есть что для этого нет медицинских показаний,

мне придется устроить вас в какое-нибудь другое место. Я бы не хотел огорчать вас. И, моя дорогая Розанна, я вовсе не намереваюсь выбросить вас на улицу. Нет-нет, ваш переезд будет тщательно спланирован и не произойдет без моего согласия и одобрения. Но вот расспросы — без кое-каких расспросов нам никак не обойтись.

Не знаю отчего, но вдруг всю меня будто окатило волной ужаса — так, наверное, яд искореженных и губительных атомов расползался внутри людей на окраинах Хиросимы, убивая их так же верно, как и сам взрыв. Ужас был похож на тошноту, на воспоминание о тошноте, которое я ощутила в первый раз за много лет.

— Розанна, вам нехорошо? Пожалуйста, только не волнуйтесь.

— Конечно, я хочу на свободу, доктор Грен. Но она пугает меня.

— Обретение свободы, — любезным тоном сказал доктор Грен, — всегда сопряжено с чувством неопределенности. По крайней мере в этой стране. А может быть, и во всех странах.

— С убийством, — сказала я.

— Да, иногда, — мягко согласился он.

Мы замолчали, и я принялась разглядывать плотный прямоугольник солнечного света на

полу. Въевшиеся пятна древней пыли.

— Свобода, свобода, — повторил он.

В его запыленном голосе вдруг прозвенела какая-то затаенная тоска. Я ничего не знаю о его жизни вне этих стен, о его семье. Есть ли у него жена, дети? Существует ли миссис Грен? Не знаю. Или знаю?

Он человек умный. На хорька похож, но это неважно. Тот, кто может говорить о древних греках и римлянах, — человек одного поля с моим отцом. Мне нравится доктор Грен, невзирая на его пыльное отчаяние, потому что беседы с ним отдаленно напоминают мне беседы с отцом, вывязанные из слов сэра Томаса Брауна и Джона Донна.

— Но начнем мы не сегодня, нет-нет, — сказал он, поднимаясь с кровати. — Конечно же, не сегодня. Но я счел своим долгом ознакомить вас с фактами.

С какой-то бесконечной врачебной терпеливостью он направился к двери.

— Вы этого заслуживаете, миссис Макналти.

Я кивнула.

Миссис Макналти.

Я всегда думаю о матери Тома, когда слышу это имя. Я тоже когда-то была миссис Макналти, но

не в превосходной степени, как она. Никогда. Уж она не упускала случая лишний раз мне об этом напомнить. Впрочем, отчего же я назвалась тут миссис Макналти, хотя все приложили столько усилий, чтобы отнять у меня это имя? Даже не знаю.

— На прошлой неделе я был в зоопарке, — вдруг сказал он, — с другом и его сыном. Ездил в Дублин, чтобы выкупить кое-какие книги для жены. Книги о розах. Сына моего друга зовут Уильямом — как и меня, о чем вы, конечно, знаете.

Я не знала!

— И вот, мы подошли к загону с жирафами. Уильяму они очень понравились — там было две крупные, высокие дамы-жирафы, с такими гибкими, длинными ногами. Очень, очень красивые животные. Мне кажется, я никогда не видел животных прекраснее.

И тут посреди этой сверкающей комнаты мне привиделось что-то странное — слезинка, которая скользнула по его щеке и быстро скатилась вниз, — темное, тайное рыдание.

— Такие красивые, — сказал он. — Такие красивые.

Я замкнулась после разговора с ним, даже не знаю почему. Все-таки это не те счастливые, от-

крытые, беззаботные беседы, что мы вели с отцом. Мне хотелось слушать его, но не хотелось больше отвечать. В разговоре мы чувствуем странную ответственность за собеседника и предлагаем ответы как утешение. Бедные мы люди! Хотя никаких вопросов он не задавал. Просто парил рядом со мной, бесплотный живой человек посередине жизненного пути, незаметно умирающий на ходу, как и все мы.

Глава четвертая

Чуть позже в комнату, что-то бормоча себе под нос и волоча за собой щетку, приковылял Джон Кейн, человек, которого я научилась принимать, как и все остальное здесь, — то, что нельзя изменить, нужно приучиться выносить.

С легким ужасом я заметила, что у него расстегнута ширинка. Штаны у него оснащены несколькими рядами довольно топорных пуговиц. Росту он маленького, но весь состоит из мускулов и резких линий. У него что-то неладное с языком, потому что через каждую пару секунд он вынужден с видимым усилием сглатывать слюну. Лицо у него покрыто сеткой синих вен и похоже на лицо солдата, который стоял слишком близко к пушечному жерлу во время выстрела. Если верить местным слухам, репутация у него здесь дурная.

— И зачем вам только все эти книги, миссус, очков-то у вас все равно нету.

Тут он опять сглотнул. И опять.

Я прекрасно вижу без очков, но ничего не сказала. Он имел в виду те три книжки, что остались у меня: томик *Religio Medici*, принадлежавший

отцу, «Гончие смерти» да «Листья травы» мистера Уитмена.

Все три — в желтых и бурых следах от пальцев.

Но разговор с Джоном Кейном может свернуть куда угодно, как те наши разговоры с мальчишками в ту пору, когда я была еще девчонкой лет двенадцати: они сбивались в кучу возле поворота, с безразличным видом мокли под дождем и бросали мне фразы приглушенными голосами — поначалу приглушенными. Здесь же, в окружении теней и отзвуков чужих криков, молчание становится величайшей добродетелью.

Которые кормят их, не любят их, которые облачают их, не боятся за них.

Это какая-то цитата, но что это за цитата и откуда она, я не знаю.

Даже всякая чепуха опасна, молчание куда как лучше. Я здесь уже очень долго, и за это долгое время как следует овладела искусством молчания.

Старый Том упек меня сюда. Уж, наверное, он. Оказали ему услугу, ведь он сам работал портным при лечебнице для душевнобольных в Слайго.

Думаю, он еще и каких-то денег заплатил — потому что я сижу в отдельной комнате. Или мой

муж Том платит за меня? Но ведь невозможно, чтобы он до сих пор был жив. Это не первая моя лечебница, первой была… Но что ж теперь припоминать старое. Место тут приличное, хоть и не дом. Вот если бы это был дом, тогда бы я сошла с ума!

Ох, надо бы мне выражаться яснее и понимать, что я тут вам говорю. Сейчас все должно быть записано верно, тщательно.

Это хорошее место. Это хорошее место.

Мне сказали, город тут неподалеку. Сам город Роскоммон. Не знаю, как далеко он отсюда, но на пожарной машине туда полчаса езды.

Я это знаю, потому что как-то ночью, много лет назад, меня разбудил Джон Кейн. Он вывел меня в коридор, и мы с ним торопливо спустились по лестнице, на два или три пролета вниз. В одном крыле начался пожар, и он вел меня в безопасное место.

Вместо первого этажа нам пришлось пройти через длинную темную палату, где уже собрались врачи и весь остальной персонал. Снизу валил дым, но это место сочли достаточно надежным. В комнате понемногу светлело, или мои глаза постепенно привыкали к полутьме.

Длинная узкая комната, наверное, на пятьдесят

кроватей и везде раздернуты ширмы. Ветхие, истрепанные ширмы. Старые, старые лица, такие же старые, как мое нынешнее. Я застыла от изумления. Все они лежали неподалеку, и я ничего о них не знала. Старые лица — молчаливые, застывшие в оторопи, как пятьдесят русских икон. Кто они? Да ваши же родственники. Молча, молча, спят они на пути к смерти, ползут на сбитых в кровь коленях к Господу.

Стайка бывших девочек. Я прошептала молитву, чтобы поторопить их души на небо. Мне казалось, что они карабкались туда уж слишком медленно.

Думаю, сейчас они все уже умерли, ну или почти все. Больше я к ним не ходила. Пожарная машина пришла через полчаса. Я это запомнила, потому что так сказал кто-то из докторов.

Места вроде этого не похожи на весь остальной мир, тут нет ничего, за что мы этот мир ценим. Здесь лежат сестры, матери, бабки и старые девы, всеми позабытые.

Город живых людей совсем недалеко, засыпает и просыпается, засыпает и просыпается, уложив своих забытых женщин здесь, долгими рядами. Полчаса. Пожар привел меня к ним. Всего раз.

Которые кормят их, не любят их.

— Вам это нужно? — говорит Джон Кейн мне в ухо.

— Что?

Что-то лежало у него на ладони. Половинка скорлупы от птичьего яйца, голубого, что вены на его лице.

— Да, благодарю, — сказала я.

Давным-давно я подобрала его в саду. Оно лежало себе на подоконнике, и до этого он ни разу не обратил на него внимания. А оно там лежало, голубое, совершенное, вечно юное. И такое старое. Много-много поколений птиц тому назад.

— Наверное, оно малиновки, — сказал он.

— Наверное, — ответила я.

— Или жаворонка.

— Да.

— Ладно, положу назад, — сказал он, снова сглотнув так, будто бы язык костенел у него до самого корня, и горло его на мгновение вздулось.

— Не знаю даже, откуда берется эта пыль, — сказал он. — Подметаю каждый день, а пыли не убывает, и, богом клянусь, это такая древняя пыль. Не новая пыль, никогда тут нет новой пыли.

— Не новая, — сказала я. — Не новая. Простите меня.

На секунду он распрямился и взглянул на меня.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Не знаю, — сказала я, внезапно перепугавшись. Я знаю его многие десятилетия. Почему же он спрашивает сейчас?

— Вы своего собственного имени не знаете?

— Знаю. Только забыла.

— Отчего у вас голос такой испуганный?

— Не знаю.

— Ну и ладно, — сказал он и, аккуратно собрав пыль в совок, пошел к двери. — Я все равно знаю, как вас зовут.

Я заплакала, но не как плачут дети, а как может плакать такая старуха, как я, — медленными, незаметными слезами, которых никто не увидит и никто не утрет.

* * *

Отец и опомниться не успел, как мы попали в гражданскую войну.

Я пишу это, чтобы осушить слезы. Вонзаю слова в бумагу ручкой, будто бы пришпиливаю к ней самое себя.

До гражданской войны была еще одна — против того, чтобы страной управляла Англия, но тогда в Слайго не сильно воевали.

Сейчас я пишу это и цитирую Джека, брата моего мужа, или по меньшей мере слышу его голос в этих фразах. Умолкший голос Джека. Бесстрастный. Джек, как и моя мать, был мастер говорить бесстрастно, хоть сам и бесстрастным не был. И этот же Джек потом нацепил английскую униформу и сражался против Гитлера на той, следующей войне, чуть не написала — на настоящей. Еще он был братом Энуса Макналти.

Три брата, Джек, Том и Энус. Да-да.

На западе Ирландии, кстати, его имя тянут, произносят будто через «а», Ан-нус. А в Корке, боюсь, говорят совсем кратко, и тогда его имя звучит ну совсем как «задница».

Но на гражданской войне Слайго воевал уж точно, воевали по всем западному побережью, с яростным рвением. Фристейтеры[7] приняли договор с Англией. Так называемые ополченцы взвились против него, что твои кони впотьмах на сломанном мосту. Ведь про север страны в

[7] Примечания: 7

Фристейтеры — сторонники договора, подписанного между Англией и Ирландией в 1922 году. Согласно этому договору, Ирландия получала статус «свободного государства» на правах английского доминиона.

нем ничего сказано не было, и им казалось, что договор узаконил безголовую Ирландию, тело, обрубленное по плечи. Вся эта толпа на севере во главе с Карсоном цепляла их к Англии.

Джек, что меня всегда удивляло, превыше всего гордился тем, что он доводился Карсону кузеном. Но это так, к слову.

В те времена в Ирландии было много ненависти. Мне было четырнадцать — девчонка, которая пытается проклюнуться во взрослый мир. А вокруг — чад ненависти.

Милый отец Гонт. Наверное, я могу так сказать. Никогда еще столь честный и искренний человек не причинял таких страданий ни одной девице. Ведь я ни на минуту не сомневаюсь в том, что побуждения его были самыми добрыми. Однако же, как говорят в деревне, он меня «поприжал». А еще раньше — «поприжал» моего отца.

Я написала тут, что он был маленький человечек, имея в виду, что росту он был вровень со мной. Неугомонный, сухой и опрятный, вечно в черных одеждах, волосы острижены коротко, как у арестанта. Один вопрос перебивает мои мысли: что значили слова доктора Грена, когда он сказал, что ему придется снова мной заняться? Чтобы я могла выйти на волю. Где она, эта воля? Он ска-

зал, что должен расспросить меня. Сказал ведь? Уверена, так он и сказал, хотя я только сейчас его услышала, когда его уже давно тут нет.

Паника во мне чернее простывшего чая.

Я сейчас как мой отец — давлю на газ старенького мотоцикла, но так крепко вцепилась в ручки, что мне кажется, будто они меня удержат.

Не отрывайте моих рук от руля, доктор Грен, прошу вас.

Оставьте мои мысли, добрый доктор.

Скорее, отец Гонт, скорее, поторопись из небытия смерти и займи его место.

Стой, стой передо мной, пока я царапаю свои каракули.

То, что я собираюсь рассказать, может показаться вам похожим на одну из историй моего отца, кусочек его маленького евангелия, но этот рассказ он никогда толком не пересказывал, не обтесывал так, чтобы тот стал ладным, как песенка. Я вам покажу лишь остов его, и ничего другого у меня нет.

Во времена той войны было, конечно, много смертей, и многие из этих смертей были ничем не лучше убийств. Разумеется, кое-кого из этих убитых отцу приходилось хоронить на своем аккуратном кладбище.

Мне было четырнадцать — одной ногой я еще стояла в детстве, другой — в девичестве. В маленькой школе при монастыре, где я училась, ближе к концу уроков возле ворот начинали шнырять мальчишки, и не могу сказать, что я их вовсе не замечала, напротив, я даже припоминаю, будто мне казалось, что от них исходит какая-то музыка, какой-то человеческий, но непонятный мне шум. Сейчас я уже и не скажу, как эти грубые формы могли издавать для меня хоть какую-то музыку. Но такова волшебная сила девочек: из простой глины они могут вылепить большую классическую идею.

Поэтому я стала уделять меньше внимания отцу и его миру. Меня гораздо больше волновали мои собственные таинства — например, как же завить мои злосчастные волосы. Над этим я трудилась часами, используя специальный утюг для воротничков, которым мать отглаживала воскресную отцовскую рубашку. Утюг был легким и маленьким, быстро нагревался на каминной решетке, и я раскладывала на столе свои желтые пряди, будто надеясь, что неведомая мне магия уговорит их завиться. Итак, меня переполняли страхи и желания, свойственные моему возрасту.

Однако я по-прежнему частенько бывала в часовенке отца: делала уроки, наслаждалась теплом маленькой жаровни, которое он поддерживал благодаря причитавшейся ему порции угля. Я учила уроки и слушала, как он поет «В гранитном дворце». И переживала по поводу своих волос.

Чего бы я не отдала сейчас лишь за пару прядок тех прямых, желтых волос.

Отец хоронил всех, кого ему приносили. В мирные дни он хоронил в основном стариков и больных, но в войну ему чаще, чем обычно, приносили трупы мальчиков или совсем еще мальчиков.

Над ними он горевал так, как никогда не горевал над старыми и немощными. Те смерти казались ему простыми и верными, и неважно, рыдали ли семьи и плакальщики на похоронах или хранили молчание у могил, он знал, что во всем этом есть смысл и некоторая справедливость. Часто случалось так, что отец знал отошедшего в мир иной старика, и, если момент был подходящий, делился с родственниками воспоминаниями и историями о покойном. В такие минуты он будто бы говорил от имени их горя.

Но тела павших на войне печалили его по-другому, неистово. Казалось, что ему, как пресвите-

рианцу, нет места в ирландской истории. Но он понимал бунт.

В тумбочке у себя в спальне он хранил памятную брошюру в честь Пасхального восстания 1916 года, где были напечатаны фотографии его предводителей и календарь основных дат — сражений и траура. Его огорчало лишь то, что Восстание еще более превознесло тот странный порыв католицизма, который лежал в его основе, — и это, конечно, было ему чуждо.

Его печалило, что умирают молодые. В конце концов со времен бойни Первой мировой минуло лишь несколько лет. Сотни мужчин из Слайго отправились воевать во Фландрию, как раз в год Восстания, и поскольку павшие в той войне лежали вдали от дома, то можно сказать, что все они были похоронены в моем отце, на тайном кладбище его мыслей. А тут и гражданская война, еще больше смертей, и всегда — мальчишки. Впрочем, в Слайго те, кому было уже за пятьдесят, в этой войне вообще не участвовали.

Он не роптал, конечно, потому что знал, что войны всегда были и будут — в каждом поколении, однако выработал ко всему этому своеобразный профессиональный подход: ведь он все-таки был почетным попечителем мертвых, правителем

ушедших.

Отец Гонт, например, был молод и мог бы, наверное, ощущать особое единение с погибшими. Но отец Гонт, такой ровный, такой ладный, никогда не чувствовал чужого горя. Он был что певец, который и петь может, и все слова вызубрил, но вот песню, которая родилась у композитора в сердце, пропеть никак не может. В основном говорил он сухо. И над молодыми, и над старыми он выводил одну и ту же сухую музыку.

Нет, не стоит мне говорить о нем дурно. В Слайго он обходил всю свою паству, заглядывал и в мрачные городские дома, где обнищавшие одинокие старики жили на одних консервированных бобах, и в грязные хижины на берегу реки, которые сами походили на древних изголодавшихся стариков, с прогнившей черепицей волос и маленькими безучастными и темными окошками глаз. Да, туда он ходил тоже и никогда не унес с собой ни единой блохи, ни единой гниды. Он был чище, чем луна ясным днем.

Но этот маленький чистенький человек во гневе был похож на острый серп: трава, чертополох и все корешки человеческой природы падали под его лезвием. Отцу довелось в этом убедиться.

Вышло это вот как.

Как-то вечером мы с отцом сидели у него в часовенке, приготовляясь уже идти домой, к вечернему чаю, и вдруг заслышали за старой железной дверью какой-то шорох и бормотание. Отец глянул на меня, напрягшись, как собака, которая вот-вот залает.

— Ну, что там еще? — спросил он скорее сам себя.

Ввалились трое мужчин, неся на руках четвертого, и будто бы их самих несла какая-то невидимая сила, сила, которая выдернула меня из-за стола, я не успела опомниться, как вжалась в стену, чувствуя, как сырая известь трется о мое школьное платье. Они влетели, как маленький ураган. Все совсем еще мальчики, и тому, кого они несли, я бы не дала больше семнадцати. Это был довольно красивый долговязый парень, в потрепанной одежде, весь вымазанный грязью, болотной тиной и кровью. Вся рубашка у него была залита поблекшей кровью. Было ясно, что он мертв — мертвее не придумаешь.

Остальные парни шумели и говорили без умолку — наверное, истерически, и из-за этого во мне самой стала подыматься истерика. Отец, однако, мрачно стоял подле жаровни, как человек, который пытается скрыть свои чувства — на лице не

прочтешь ни единой эмоции, но в то же время, как мне показалось, внутренне готовясь в случае чего действовать решительно. Потому что у всех троих были старые ружья, а из карманов торчало и другое оружие, засунутое туда кое-как, будто бы его собирали впопыхах после стычки. Я знала, что на войне оружие было самой ходовой валютой.

— Что это вы удумали, парни? — спросил отец. — Сюда, сами знаете, покойников приносят не так, тут свой порядок, нельзя просто притащить сюда мальчишку. Помилосердствуйте!

— Мистер Клир, мистер Клир, — сказал один из парней, с резкими чертами лица и бритой — чтоб вши не завелись — головой, — нам больше некуда было его нести.

— Вы меня знаете? — спросил отец.

— Уж знаю. Знаю, с какой ноги вы тут копаете, и кое-кто сведущий шепнул мне, что вы не против нас, в отличие от многих местных идиотов.

— Может быть, и так, — ответил отец, — но вы-то кто? Фристейтеры или те, остальные?

— Посмотри на нас, мы грязь собрали со всех гор — что, очень похожи на фристейтеров?

— Не похожи. Ну, так и что, ребята, что вы от меня хотите? Кто этот парнишка?

— Этого несчастного, — отвечал все тот же

парень, — звали Вилли Лавелл, и ему было семнадцать, и его там, в горах, убила орава подлых, тупых и мерзких ублюдков, которые называют себя солдатами, но никакие они не солдаты, они хуже любого «черно-пегого»[8] на прошлой войне. Ну или им под стать, уж точно. Мы забрались так высоко в горы, подыхали там с холоду и голоду, этот парнишка им сдался — а мы-то все попрятались в зарослях вереска, — но им-то мало того, что он сдался, и они давай его бить и пинать, и задавать вопросы. И знай смеются и тычут ему ружьем в лицо, а хоть он был из нас самый храбрый, но — ты уж прости, мисс, повернулся он ко мне, — перепугался так, что в штаны нассал, потому как знал, потому что знаешь, ведь всегда знаешь, сэр, когда тебя вот-вот пристрелят, и потому что они-то думали, что никто на них не смотрит, никто не видит, что они творят, и взяли да и выпустили три пули ему в живот. И стали себе спускаться вниз, веселые, как будто и не было ничего. Бог свидетель, как похороним Вилли, так уж сразу ими займемся — верно, парни? — и коли найдем, то на куски порубим.

---

[8] Примечания: 8

«Черно-пегие» (*Black* amp; *Tans*) — карательные отряды, посланные Англией в Ирландию для подавления революционного восстания в 1919 году.

И тут он же сделал нечто совершенно неожиданное — бурно разрыдался, бросился на тело своего павшего товарища и издал такой горестный вой, какого здесь не слышали ни до, ни после того, хоть то и было маленькое пристанище горя.

— Ты полегче бы, Джон, — сказал кто-то из парней. — Хоть тут на кладбище темно и тихо, а мы все-таки в городе.

Но первый парень все лежал на груди мертвеца и ревел, я хотела сказать, как девчонка, но нет, не так, совсем не так. Но я-то все равно, разумеется, была в ужасе аж по самый воротничок моей школьной блузки. Отец утратил спокойствие и быстро расхаживал туда-сюда между жаровней и стулом, на котором лежало несколько плоских старых подушечек, когда-то бывших красными.

— Мистер, мистер, — заговорил тут третий, худой высокий парень, которого я и не видела раньше, штаны едва доходили ему до лодыжек, и казалось, будто он только что спустился с гор. — Его бы похоронить надо прямо сейчас.

— Я не могу никого хоронить без священника, не говоря уже о том, что и места на кладбище у вас, наверное, нет.

— И когда это нам покупать тут места, если мы

сражаемся за Ирландскую Республику? — спросил первый, с трудом унимая слезы. — Да вся Ирландия — место на кладбище. Нас зарыть везде можно. Потому что мы — ирландцы. Или ты не знаешь, что это такое?

— Уж надеюсь, что и я тоже ирландец, — сказал отец, и я поняла, что слова парня его задели.

И верно, пресвитериан не слишком жаловали в Слайго, хотя и не знаю даже почему. Разве что еще со стародавних времен, когда прозелиты, хоть и без особого успеха, продвигали пресвитерианскую доктрину на западе, и кое-какие католики, будучи в страшной нужде и голоде, перешли в эту веру, тем самым породив к пресвитерианам еще больше страха и недоверия.

— Его надо похоронить, — сказал третий. — Это ведь младший братишка Джона там, на столе.

— Это твой брат? — спросил отец.

Внезапно парень затих — совершенно.

— Брат, — ответил он.

— Печально, — сказал отец. — Печально.

— И рядом с ним не было священника, чтобы отпустить ему грехи. Можно ли позвать к нему священника?

— Священник тут отец Гонт, — ответил отец. — Он человек хороший, если хотите, я могу послать

за ним Розанну.

— Но пусть она ему ничего не говорит, пусть просто попросит прийти сюда и пусть ни с кем не разговаривает по дороге — уж тем более ни с какими фристейтерами, потому что, стоит ей слово сказать, и нас тут всех поубивают. Я мог бы сказать, что мы вас убьем, если она проболтается, но это уж мы вряд ли.

Отец с удивлением взглянул на него. Я подумала, что парень высказался честно и вежливо, и потому решила сделать, как он просит, и ни с кем не разговаривать по пути.

— Да и все равно, пуль у нас нет, потому-то мы и сидели в этих зарослях вереска, как трусливые зайцы, и не шевелились. Уж надо было бы нам пошевелиться, парни, — сказал брат убитого, — и вскочить, и наброситься на них, потому что никак нам нельзя быть в этом мире, если Вилли мертвый, а мы живые.

И тут парнишка снова не выдержал и горько разрыдался.

— Слушай, ты уж не убивайся так, — сказал отец. — Я пошлю Розанну за отцом Гонтом. Давайка, Розанна, беги в дом священника да приведи отца Гонта, будь умницей.

И я выскочила на зимнее кладбище, где сви-

стел ветер, и помчалась по улицам мертвых к дороге, которая начиналась на вершине холма и спускалась в Слайго, побежала по ней и вскоре добежала до дома священника: маленькая кованая калитка, посыпанная гравием дорожка, и вот я уже колочу в его крепкую дверь, выкрашенную в зеленый, как листья герани, цвет. Теперь, когда меня оторвали от отца, я уже не думала об утюжках для завивки и волосах, я думала только о его жизни, потому что знала: эти трое перевидали много ужасов, а те, кто видел ужасы, и сами могут их творить, потому что таковы законы жизни и войны.

Слава Господу, вскоре наружу высунулось маленькое личико отца Гонта, и я, захлебываясь, стала просить его прийти к моему отцу: он там очень нужен, пожалуйста, пожалуйста.

— Иду, — сказал отец Гонт, потому что был не из тех, кто отсиживается дома, когда в них есть нужда, не то что многие из его братии, которые уж слишком гордые, чтоб дождя нахлебаться. И впрямь, когда мы взбирались обратно на холм, дождь бил нам прямо в лица, и вскоре его длинный черный плащ спереди весь блестел от влаги, да и я блестела тоже, только на мне не было никакого плаща, и подставляла миру одни мокрые

ноги.

— Кому же я там понадобился? — скептически спросил меня священник, когда мы вошли в ворота кладбища.

— Тот, кому вы понадобились, умер, — ответила я.

— А разве тогда надо так торопиться, Розанна?

— Вы еще нужны и живому, отец. Его брату.

— Ясно.

На кладбище все надгробия тоже блестели от воды, и ветер танцевал между рядами могил, так что нельзя было угадать, где именно тебя окатит дождем.

Когда мы вошли в часовенку, там мало что переменилось — будто бы четверо живых (и уж мертвый-то точно), стоило мне выйти, застыли на своих местах да так с них и не сдвинулись. Ополченцы разом повернули свои юные лица к отцу Гонту, едва он вошел.

— Отец Гонт, — сказал отец, — простите, что пришлось вас позвать. Эти ребята просили вас привести.

— Они держат вас в заложниках? — спросил священник, явно возмущенный видом оружия.

— Нет.

— Меня вы, надеюсь, не пристрелите? — спро-

сил отец Гонт.

— В этой войне еще ни одного священника не убили, — сказал тот, кого я называла третьим. — Хоть все и очень плохо. Тут пристрелили только одного беднягу, Вилли, брата Джона. Вот он совсем помер.

— Давно ли он умер? — спросил отец Гонт. — Принял ли кто-то его последний вздох?

— Я, — ответил брат.

— Так верни ему его вздох, — сказал отец Гонт, — и я благословлю его. И да попадет его несчастная душа в рай.

И тогда брат поцеловал рот своего умершего брата, возвращая последний вздох, испущенный им в момент смерти. Отец Гонт благословил покойника, склонился над ним и осенил его крестом.

— Можете ли вы, отец, отпустить ему его грехи, чтобы он отправился на небеса безгрешным?

— Не повинен ли он в убийстве, не убил ли кого на войне?

— Убить человека на войне — это не убийство. Это просто война.

— Друг мой, ты прекрасно знаешь, что наши епископы запретили нам отпускать ваши грехи, потому что решили, что ваша война неправедная.

Но я отпущу ему его грехи, если вы знаете, что он не убивал. Отпущу.

Трое парней переглянулись. На их лицах отразился тайный темный страх. Это были молодые мальчишки-католики, и они боялись соврать в таком деле, боялись, что не смогут помочь товарищу попасть на небо, и я уверена, каждый из них изо всех сил старался подыскать такой ответ, который окажется правдивым, потому что только правда выведет мертвеца в рай.

— Только правда ему поможет, — сказал священник, и я аж подпрыгнула, услышав эхо собственных мыслей. То были простые мысли простой девчонки, но может быть, эта католическая вера всегда довольно проста в своих устремлениях.

— Никто из нас никогда не видел, чтоб он кого-то убил, — наконец ответил брат. — Если б видели, мы бы сказали.

— Что ж, хорошо, — сказал священник. — Я очень сочувствую вашей беде. Жаль, что пришлось вас об этом спрашивать. Очень жаль.

Он подошел поближе к покойнику и коснулся его с невероятной нежностью.

— Я отпускаю тебе грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа.

И все присутствовавшие, в том числе и мы с отцом, отозвались:

— Аминь.

Глава пятая

Записи доктора Грена

Было бы неплохо, если б иногда я думал: «Я знаю, что я делаю».

Я как-то совершенно недооценил наше министерство здравоохранения, хотя, честно говоря, не думал, что когда-нибудь это скажу. Мне сообщили, что строительство нового здания вот-вот начнется — место под него выбрали на другом конце Роскоммона, и, как меня заверили, место это прекрасное. Чтобы не допустить переизбытка хороших новостей, мне сообщили также, что кроватей там будет значительно меньше, а у нас их ведь так много.

Действительно у нас тут есть палаты, где стоят одни кровати, не потому, что мы не можем их заполнить, а потому, что сами комнаты разрушены так, что разрушаться уже нечему — потолки вот-вот рухнут, стены раздуты от плесени. Всякое железо — каркасы кроватей, например — проржавело до основания. Новые кровати в новом здании будут произведениями искусства — никакой ржавчины, новые и красивые, но их будет

меньше, гораздо меньше. Нам предстоит безумное, безумное отсеивание.

Я так и не сумел справиться с чувством, что будто бы отрекаюсь от тех пациентов, которым не хватит кроватей. Наверное, это чувство вполне объяснимо, но в то же время я виню во всем себя. Есть у меня эта поистине дурацкая привычка — питать к пациентам отцовские или, скорее, даже материнские чувства. После стольких лет, проведенных здесь, которые, как я знаю, обычно лишь притупляют любые чувства и инстинкты у всех, кто работает в этой области, я, напротив, ревностно жажду благополучия и счастья для всех моих пациентов, пусть даже и отчаиваясь из-за отсутствия прогресса. Но здесь меня начинают терзать подозрения. Может ли быть так, что, потерпев неудачу в отношениях с собственной женой, я начал воспринимать это место как своего рода брачную площадку, где я могу быть чистым и невинным и где мне (о, какая жалкая нужда) ежедневно отпускают все мои грехи.

Про старую и поношенную одежду обычно говорили: «еще можно спасти» или «уже не спасешь». В прошлом все мужские костюмы и женские робы в таких местах перешивались из бывшей в употреблении одежды, пожертвованной для

больницы. Для мужчин шили портные, для женщин — портнихи. И тогда, я уверен, даже ткань, которую «уже не спасешь», считалась вполне годной для местных бедняг. Но с течением времени, по мере того как я вместе со всеми постепенно изнашиваюсь, нахожу в собственной ткани дыру за дырой, растет и моя потребность в этом месте. Доверие тех, кто находится в темной бездне, действует как искупление. Быть может, мне следовало более огорчаться из-за безысходности психиатрии как науки, ужасающего угасания тех, кто застрял здесь, общей невозможности всего происходящего. Но, да простит меня Господь, это не так. Через пару лет можно будет выходить на пенсию, и что тогда? Буду как воробей без сада.

Конечно, я понимаю, что все эти мысли породила нынешняя ситуация. Я впервые осознал все бесстыдство — да, это именно то слово, — все бесстыдство моей профессии. Все ее попытки вечно пролезть с черного хода, всю ее околичность. А теперь еще я, в затянувшемся приступе глупости, сам решил не ходить вокруг да около. Всю неделю я общался с разными пациентами, некоторые из них — личности совершенно удивительные. У меня такое чувство, будто бы я их для чего-то собеседую — для чего-то, что приведет к изгна-

нию, гибели. И если они проявят себя здоровыми людьми, то их придется сослать в благословенное «общество». Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что так думать в корне неверно, поэтому-то пытаюсь тут выпускать пар. Напротив, мне надлежит быть беспристрастным, как говаривали раньше — отстраненным, и всячески подавлять в себе сострадание, потому что сострадание — это моя слабость. Взять хотя бы вчерашнего пациента — фермер из Лейтрима, когда-то у него было четыреста акров земли. Он безумен идеально, совершенно. Рассказывал, будто его род такой древний, что его предков можно проследить на две тысячи лет назад.

Рассказал также, что он последний в своем роду. Детей у него нет — сыновей уж точно, — и его имя умрет вместе с ним. Зовут его Мил[9] — имя и впрямь достаточно странное, возможно, оно происходит от ирландского слова «мед», по крайней мере он так утверждает. Ему около семидесяти, он величавый, больной, сумасшедший. Да, сумасшедший. Точнее, у него психоз — к несчастью, в его деле записано, что много лет назад его нашли в школьном дворе: он прятался под скамьей, а к

[9] Примечания: 9
Mil — по-ирландски означает «мед».

ноге у него были привязаны три мертвых собаки, которых он повсюду за собой таскал. Но когда я говорил с ним, то ощущал одну лишь любовь. Как нелепо. И очень, очень подозрительно.

* * *

Как же часто мои пациенты представляются мне овечками, которые несутся с холма прямо к краю обрыва. А мне нужно быть тем пастухом, что умеет насвистеть любую команду. Но я не знаю ни одной. Впрочем, поживем — увидим.

«Поживем — увидим, — сказала крыса, заслышав стук деревянной ноги».[10]

Бет так всегда говорит. Что это значит? Не знаю. Быть может, это строчка из какой-нибудь очень известной детской сказки, из еще чего-нибудь известного детского и ирландского, о чем я и понятия не имею, потому что все детство провел в Англии. Совершенно невозможно быть ирландцем и не иметь при этом ни крохи детских воспоминаний, ни даже капли чертова акцента. Никто и никогда не принимал меня за ирландца,

[10] Примечания: 10

Возможно, имеется в виду ирландская сказка о кошке, которая была грозой всех крыс, но однажды сама попала в капкан. Тогда хозяин приделал ей деревянную ногу, и она стала ловить мышей еще лучше.

а я, насколько мне известно, ирландец.

В спальне Бет, которая находится прямо над моей, всю неделю было тихо, она даже не включала Би-би-си, хотя обычно всегда слушала новости. Бет. Моя жена. Напугала меня до чертиков.

Вчера вечером я предпринял попытку *rapprochement*[11] — если это так пишется. Я люблю ее, тут у меня нет никаких сомнений. Так отчего же эта моя так называемая любовь нехороша для нее, отчего же она, напротив, вредит ей? Ох, я тут перечитал свою предыдущую запись, ту, где я так тонко или, может, не очень уж тонко льстил себе насчет любви и сострадания — аж живот свело, когда прочел, — и так на себя разозлился, что пошел на кухню и услышал, как она готовит эту ужасную бурду, которую пьет на ночь. «Комплан».[12] Если и есть на свете кошмарный напиток, так это он, напиток со вкусом смерти. В смысле, Жизнь-и-в-Смерти и Смерть-и-в-Жизни, это Кольридж, кажется. «Сказание о старом мореходе». В чей же рукав мне вцепиться, чтобы поведать мою историю? Раньше я цеплялся за

---

[11] Примечания: 11

Примирение *(фр)*.

[12] Примечания: 12

Название напитков, сделанных на основе сухого молока с различными витаминными и вкусовыми добавками.

Бет. Теперь остался без рукавов. А я ведь знаю, что цеплялся за ее рукав слишком часто, чересчур часто. Как я выражаюсь, «питался» ее энергией, не отдавая ничего взамен. Быть может. Нам было хорошо вдвоем. Мы с ней были королем и королевой утреннего кофе — во тьме зимнего рассвета и в лучах раннего летнего солнца, которое входило к нам прямо через окно, прямо в наше окно, и будило нас. Да-да, маленькие житейские мелочи. Мелочи, которые мы зовем душевным здоровьем или даже полотном, из которого оно соткано. В те времена, когда мы с ней разговаривали — нет-нет, Господи, упаси меня от сентиментальности. Нет больше тех дней. Теперь мы с ней — два разных государства, просто посольства наши находятся в одном доме. Мы находимся в дружественных отношениях, но они строго ограничены рамками дипломатического протокола. Нас связывает подспудное чувство осуждения, перешептываний за спиной, словно бы каждый из нас виновен в тяжком преступлении против другого, которое, однако, свершилось в другом поколении. Мы с ней — одна из стран Балтики. Только она, черт побери, ничего мне не сделала. Преступление было односторонним.

Я совсем не собирался тут все это писать. Пред-

полагалось, что тут будет профессиональный — или хотя бы полупрофессиональный — отчет о состоянии дел, о последних днях этого незначительного, забытого, важного места. Места, где я провел всю свою врачебную жизнь. Лжехрам моих устремлений. Знаю, меня пугает то, что я ничего не сделал для местных заключенных, что я идеализировал их и тем самым подвел их, как пугает меня и уверенность в том, что я сломал жизнь Бет. Жизнь, ту самую «жизнь», ее неписаную повесть о самой себе, ее… даже не знаю. Я вовсе не собирался делать этого. Я гордился тем, что честно верен ей, что ценю ее, что практически поклоняюсь ей. Возможно, ее я тоже идеализировал. Пагубный хронический идеализм. Черт, когда я гордился ей, на самом деле я гордился собой, и это было замечательно. Пока она была хорошего мнения обо мне, и я о себе был самого высокого мнения. Я жил этим, проживал на этом топливе каждый божий день. Так чудесно, так ярко, так нелепо. Но я бы весь мир отдал, чтобы вновь вернуться в то состояние. Знаю, это невозможно. И все же. Когда снесут этот мир, вместе с ним погибнет огромное множество крохотных историй. И на самом деле, это очень страшно — даже ужасно.

Итак, я зашел на кухню. Уж не знаю, было ли ей приятно меня видеть. Наверное, не очень, и она просто терпеливо сносила мое присутствие. «Комплан» она, кстати, не делала, растворяла в воде какие-то таблетки, дисприн или что-то вроде.

— Что случилось? — спросил я. — Голова болит?

— Ничего, все нормально, — ответила она.

Год назад, в январе, ей пришлось поволноваться, когда она пошла за покупками, упала на улице в обморок и ее отвезли в местную больницу. Целый день ей делали всякие анализы, а вечером кто-то из докторов безо всякой задней мысли позвонил мне с просьбой забрать ее. Он, наверное, думал, что мне уже обо всем сообщили. Как же я перепугался! Выезжая со двора, я чуть было не разбил машину, чуть было не повис на столбе, гнал так, как гонит мужчина, который ночью везет в роддом беременную жену, у которой уже начались те самые пресловутые схватки, хотя Бет так и не довелось их испытать, и в этом-то, наверное, все и дело.

Она уставилась в стакан.

— Как ноги? — спросил я.

— Опухли, — ответила она. — Там одна вода. То

есть мне так сказали. Скорее бы отпустило.

— Да, скорее бы, — сказал я, вдруг набравшись смелости, услышав это «отпустило» — как «отпуск». — Слушай, я тут подумал, а что если, когда я разберусь со всеми делами на работе, нам с тобой куда-нибудь съездить на пару дней. Устроим себе отпуск.

Она взглянула на меня, встряхивая шипящие таблетки в стакане, готовясь ощутить их горечь во рту. Вынужден сообщить, что она рассмеялась — так, короткий смешок, который, как мне кажется, она вовсе не хотела себе позволять, но вот мы оба его слышали.

— Думаю, не получится, — сказала она.

— Почему? — спросил я. — Давай, как в старые времена. Нам обоим это пойдет на пользу.

— Советуете, доктор?

— Да-да, пойдет на пользу. Определенно.

Внезапно говорить стало очень трудно, будто бы каждое слово застревало во рту комком грязи.

— Прости, Уильям, — она назвала меня полным именем, дурной знак — больше я не Уилл, теперь я Уильям, теперь я отдельно. — Мне совсем не хочется ехать. Не могу видеть всех этих детей.

— Кого?

— Всех, кто приезжает с детьми.

— Почему?

Глупый, бездонный вопрос. Дети. То, чего у нас нет. И наши бесконечные усилия. Бесконечные. И бесплодные.

— Ты ведь неглупый человек, Уильям.

— Ну, поедем куда-нибудь, где нет детей.

— Куда? — спросила она. — На Марс?

— Куда-нибудь, где их нет, — сказал я, подняв взгляд к потолку, будто бы его и имел в виду. — Не знаю куда.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Тогда-то и случилось самое-самое страшное. И по сей день, Богом клянусь, я не знаю, как же это произошло. Уж кто-нибудь другой знает точно или знал, пока был жив. Быть может, не так уж и важно, как именно все произошло, да и не было никогда важно, а важно только то, что некоторые люди обо всем этом думали.

Теперь-то это уже не имеет никакого значения, потому что время унесло всех этих людей. Но вдруг есть какое-то другое место, где все бесконечно важно, — высший суд, например. Такой суд бы и живым пригодился, да вот только живым туда не попасть.

Вдруг какие-то чужаки принялись ломиться в

дверь, выкрикивая что-то грубыми солдатскими голосами. Мы все прыснули в разные стороны, будто стайка мокриц: я стала пятиться назад, будто трагический персонаж из пьесы передвижного театра — такие у нас иногда играли в насквозь отсыревшем концертном зале, — трое ополченцев полезли под стол, а отец подтолкнул ко мне отца Гонта, будто бы пытаясь укрыть меня между священником и своей любовью.

Ведь каждый понимал: сейчас начнут стрелять, и стоило мне это подумать, как дверь слетела со своих огромных петель.

Да, это были парни из новой армии, в своей нелепой форме. При взгляде на них можно было подумать, что пуль у них предостаточно, ведь они целились в нас с такой яростной сосредоточенностью, но я, выглядывая у отца между ног, своим молодым взглядом увидела при свете жаровни лишь шесть или семь насмерть перепуганных юных лиц.

Долговязый горец, тот, у которого штаны не доходили до щиколоток, вдруг выскочил из-под стола и, повинуясь своим безумным соображениям, набросился на вошедших, будто мы были на самом настоящем поле боя. Брат покойного кинулся вслед за ним, как, быть может, того тре-

бовало его горе. Трудно описать, как грохочут пули в маленьком помещении, но от этого звука вся плоть на костях съеживалась. Мы все — я, отец и священник — вжались в стену, и пули, которые попали в обоих парней, должно быть, прочертили в них странные дорожки, потому что внезапно я увидела, как забугрилась старая побелка на стене позади меня. Сначала это были пули, а затем — тонкие всполохи крови на моем форменном платье, на моих руках, на моем отце, на моей жизни.

Оба ополченца — еще живые — извивались на полу, переплетясь телами.

— Во имя всего святого! — вскричал отец Гонт. — Прекратите! Здесь же молоденькая девочка и обычные люди! (Уж не знаю, кого он так назвал.)

— Опустить ружья, опустить ружья! — крикнул один из пришедших солдат, крик — почти вопль.

И сразу же последний из тех троих бросил на пол свое ружье, отстегнул пистолет от пояса, встал и поднял руки. На мгновение он обернулся и глянул на меня, мне показалось, что у него из глаз текут слезы, что-то и впрямь творилось такое в его глазах, он будто бы вонзался в меня взгля-

дом, яростно, так яростно, будто бы мог убить им вместо тех пуль, которых у него не было.

— Послушайте, — сказал отец Гонт, — я думаю, у этих людей нет патронов. Остановитесь! Хотя бы на минуту! Пожалуйста!

— Патронов нет? — спросил командир фристейтеров. — Конечно, нет, потому что они их все извели на наших ребят в горах. Это ведь вы в горах были, ублюдки?

Боже мой, боже, мы знали, что это были именно они, но почему-то никто из нас и слова не проронил.

— Вы убили моего брата! — отозвался с пола тот, которого звали Джоном.

Он держался за бедро, и под ним расплывалась огромная непонятная темная лужа крови, черной, как оперение дрозда.

— Вы хладнокровно убили его! Взяли его в плен, безоружного, и выстрелили ему в живот, выстрелили три раза, вы, суки!

— Чтобы он не прятался там по кустам и не стрелял по нам, — ответил командир. — Ну-ка, хватайте этих, а ты, — повернулся он к тому парню, который сдался, — под арестом. Тащите их в грузовик, парни, будем с ними разбираться. Мы поймали вас ночью, как крыс, в какой-то грязной

дыре. Ты, тебя как зовут?

— Джо Клир, — ответил мой отец. — Я тут смотрителем. А это отец Гонт, один из местных викариев. Я его позвал к телу мальчика.

— Так, значит, вы в Слайго этот сброд хороните? — спросил командир с необычайной яростью.

Он кинулся к столу и приставил пистолет к голове отца Гонта.

— И какой же ты священник, если не слушаешь своих же епископов? Что, тоже заодно с этими вонючими предателями?

— Неужели вы застрелите священника? — ошеломленно спросил мой отец.

Отец Гонт закрыл глаза, он стоял на коленях так, будто в церкви перед алтарем. Он стоял на коленях, и не знаю, молился ли он про себя, но вслух он не произнес ни слова.

— Джем, — позвал командира один из фристейтеров, — наши ребята не пристрелили еще ни одного священника в Ирландии. Не стреляй.

Командир отступил назад и опустил пистолет.

— Ладно, парни, хватайте их и валим отсюда.

Солдаты довольно мягко подняли с пола обоих раненых и вывели их за дверь. Пока третьего уводили, он в упор смотрел на меня.

— Господь да простит тебя за то, что ты сделала, а я — так никогда не прощу.

— Но я ничего не сделала! — сказала я.

— Ты им про нас рассказала.

— Не рассказывала, Богом клянусь!

— Бога здесь нет, — ответил он. — А по тебе видно, что донесла.

— Нет! — крикнула я.

Парень рассмеялся — ужасный смех, будто дождем в лицо хлестнуло, — и солдаты увели его. Было слышно, как они подгоняют арестованных, ведя их по кладбищенским дорожкам.

Меня всю трясло. Когда все вышли, командир протянул отцу Гонту огромную руку и помог ему подняться.

— Простите меня, отец, — сказал он. — Ночка выдалась ужасная. Одни смерти да погромы. Простите.

Говорил он так искренне, что меня, да и моего отца тоже, я уверена, его слова просто потрясли.

— Это было просто низко, — тихо сказал отец Гонт, в голосе которого, несмотря на все произошедшее, явственно слышалась странная нотка ярости. — Низко. Я полностью поддерживаю наше новое государство. Мы все его поддерживаем, кроме этих безумных заблудших юношей.

— Так слушали бы своих епископов. И не помогали бы тем, кто проклят.

— Уж позвольте мне на этот счет иметь свое мнение, — ответил отец Гонт высокомерным тоном школьного учителя. — Что вы будете делать с телом? Заберете с собой?

— А вы-то что с ним будете делать? — спросил солдат с внезапной усталостью в голосе, которая наваливается после того, как вся энергия растрачена на один мощный порыв.

Они все сорвались куда-то в неизвестность, где их ждала не пойми какая опасность, и казалось, что теперь сама мысль о том, что надо куда-то еще тащить Вилли, брата Джона, стала последним перышком. Или молотком.

— Я позову доктора, который выпишет заключение о смерти, затем постараюсь отыскать родных, а там уж, наверное, мы могли бы похоронить его тут, если не возражаете.

— Это как черта здесь закопать. Бросьте его лучше в какую-нибудь канаву за оградой, как какого-нибудь убийцу или выблядка.

На это отец Гонт ничего не ответил. Солдат ушел. На меня он и не взглянул. Когда стих хруст гравия под его сапогами, часовню накрыло необычайной морозной тишиной. Отец стоял

молча, священник молчал тоже, я молча сидела на холодном сыром полу, и брат Джона Вилли был молчаливее всех.

— Я страшно возмущен, — произнес отец Гонт своим самым воскресным тоном, — что меня втянули во все это. Страшно возмущен, мистер Клир.

Отец заметно растерялся. А что же он еще мог сделать? Обмякшее лицо отца пугало меня не меньше, чем коченеющий труп Вилли.

— Простите, — сказал отец. — Простите, если дурно поступил, попросив Розанну сбегать за вами.

— Вы поступили дурно, да, дурно. Я чрезвычайно удручен. Вспомните, ведь это я вас сюда назначил. Я вас назначил, и для этого, уж поверьте, потребовалось много уговоров. И вот как вы меня отблагодарили, вот как.

С этими словами священник ушел в дождь и тьму, оставив нас с отцом наедине с мертвым мальчиком — ждать приезда доктора.

— Да, наверное, из-за меня его чуть не убили. Наверное, он испугался. Но я ведь не нарочно! Господи Боже, я думал, священники готовы прийти куда угодно. Я вправду так думал.

Теперь перепугался и мой отец, но уже совсем

по другой причине.

* * *

Как же медленно, как неторопливо судьба его уничтожала.

Мы видим то, что движется со скоростью человека, но то, что проносится мимо огромными скачками, остается для нас незримым. Дитя видит в темном ночном окне мерцающую звезду и протягивает руку, чтобы ухватить ее. Так и мой отец пытался ухватить то, до чего ему было не дотянуться, а когда на него наконец проливался свет, то были отблески давно ушедшего, давно умершего.

Мне кажется, что отец всегда путался в ногах у истории.

Он и хотел, и не хотел хоронить этого мальчика, Вилли, и потому позвал священника, чтобы тот помог ему принять решение. Будто бы он, со своей пресвитерианской верой, вдруг оказался замешанным в какое-то священное убийство или убийства, в нечто, настолько поправшее все законы любви и доброты, что даже оказаться рядом с этим было само по себе гибельно, убийственно.

Спустя много лет я слышала другие версии того, что произошло той ночью, и они были совсем не

тем, что помнилось мне, но всякий раз одно оставалось неизменным: на пути к дому отца Гонта я забежала к фристейтерам и все им выложила — или по просьбе отца, или по собственному почину. Тот факт, что я ни с кем не говорила, никого не видела и даже ни о чем таком не помышляла — ведь тогда отец оказался бы еще в большей опасности, разве нет, — неофициальная история Слайго так и не учла, ни тогда, ни сейчас. Потому что история видится мне не тем, что на самом деле приключилось, не последовательным изложением правды, а сказочным нагромождением догадок и предположений, которые воздевают к небу, как знамена против чахлых войск истины.

Когда речь идет о людях, истории необходимо быть чертовски изобретательной, потому что неприкрашенная правда о жизни выглядит как обвинение в том, что человек на земле — не самый главный.

Моя история, да чья угодно история, всегда свидетельствует против меня, даже против того, что я сама тут пишу, потому что нет в ней никакого геройства. Все трудности, что в ней есть, все они — моих рук дело. Наши сердце и душа, столь любимые Господом, осквернены нашей земной жизнью, да этого и не избежать. Кажется, это во-

все не мои мысли, быть может, я позаимствовала их из давнего чтения сэра Томаса Брауна. Но я ощущаю их своими. Они звенят у меня в голове, будто собственные мысли. Странно как. Наверное, потому Господь — знаток осквернённых душ и сердец, что может разглядеть в них исходный, изначальный образ и возлюбить его.

И лучше бы Ему так поступить и со мной, не то вскоре мне доведется куковать с дьяволом.

Дома у нас всегда было чисто, но это было совсем незаметно в тот день, когда к нам пришел отец Гонт. Было воскресное утро, около десяти, отец Гонт, наверное, забежал к нам из своей церкви на берегу реки в перерыве между мессами. Моя мать пристроила старое зеркальце на куске желтого кирпича, который лежал на подоконнике в гостиной, так что мы всегда могли первыми увидеть, кто к нам идет, и, завидев священника, мы все заметались по дому. Четырнадцатилетняя девочка всегда остро воспринимает свою внешность или думает, что воспринимает, но раз уж речь зашла о зеркалах — в то время меня поработило зеркало в спальне у матери, и вовсе не потому, что мне казалось, будто я хорошо выгляжу, а потому, что я совсем не знала, как я выгляжу, и я провела перед ним много часов,

стараясь втиснуть себя в картинку, которой я смогу довериться или удовлетвориться, но мне этого никогда не удавалось. Золото моих волос виделось мне какой-то разросшейся мокрой травой, и, хоть убей меня, я не знала, какая она — та, что всматривалась в меня из тусклого зеркальца моей матери. Поскольку края зеркала от времени странно затемнели, мать купила какую-то необычную эмалевую краску, наверное, у аптекаря, и украсила кромку крохотными черными листиками и бутонами, которые придавали любому отражению в этом отнюдь не поэтическом зеркале похоронный вид, что, вероятно, сочеталось с профессией моего отца, по крайней мере до того дня. Поэтому я первым делом взлетела по нашей маленькой лесенке к зеркалу и напала на свою четырнадцатилетнюю ужасность.

Когда я спустилась назад в гостиную, отец стоял посередине комнаты, озираясь, будто заартачившийся пони — то глянет на мотоцикл, то на пианино, то куда-то между ними, то примется поправлять подушку на нашем «лучшем» кресле. Выглянув в крохотную прихожую, я увидела, что мать застыла там как приклеенная, без единого движения, как актриса, которая набирается храбрости перед выходом на сцену. Наконец она

подняла засов.

Когда отец Гонт протиснулся в гостиную, первое, что бросилось мне в глаза — какой он был весь лоснящийся, какой гладковыбритый, хоть пером по нему пиши. Он выглядел очень надежным, самым надежным, что было в Ирландии в те безнадежные времена. Каждый месяц в году был самым худшим, говорил мой отец, потому что каждый убитый эхом рикошетил по нему. Но священник казался незыблемым, нетронутым, непричастным — как будто бы он к самой истории Ирландии не имел никакого отношения. Конечно, тогда я об этом не думала. Бог знает, о чем я вообще тогда думала, помню только, как напугала меня эта его чистота.

Никогда я раньше не видела, чтобы отец так суетился. Изо рта у него вылетали одни бессвязные обрубки фраз.

— Ах да, ну да, садитесь сюда, отец, да, сюда, конечно, — говорил он, чуть ли не набрасываясь на неулыбчивого священника, будто бы желая опрокинуть его в кресло.

Но отец Гонт, садясь, удержал равновесие, как танцор. Я знала, что мать по-прежнему стоит в прихожей, в этом уголке тишины и уединения. Я стояла справа от отца, как часовой, как страж,

готовый отразить нападение. В голове у меня сгущалась какая-то непонятная тьма, я не могла думать, не могла поддерживать внутреннюю беседу, которую мы часами ведем сами с собой, как будто бы теперь у меня в голове что-то свое писал ангел, совсем без моего ведома.

— Гм, — сказал отец. — Выпьем чаю, как вы думаете? Да, выпьем. Сисси, Сисси, поставь чайник, милая, пожалуйста!

— Я пью столько чаю, — сказал священник, — что удивлен, как кожа еще не стала коричневой.

Отец рассмеялся:

— Конечно, конечно, пьете из чувства долга. Но в моем доме совсем не обязательно. Не обязательно. Я, будучи всем вам обязанным, совершенно всем… Не то чтобы, не то чтобы…

Тут отец запнулся, покраснел, и я, по правде сказать, покраснела тоже, хотя и не могла понять отчего. Священник прокашлялся, улыбнулся.

— Конечно, я выпью чаю, конечно.

— Отлично, хорошо, это очень хорошо, — и мать уже возилась в кладовке, в самом конце коридора.

— Сегодня так холодно, — сказал священник, который внезапно принялся растирать руки, — что я весьма рад оказаться подле огня, да, весьма.

На берегу мороз так и прихватывает. И кстати, — тут он вытащил серебряный портсигар, — могу ли я закурить?

— Да, пожалуйста! — ответил отец.

Тогда священник вытащил из кармана сутаны коробку спичек, а из портсигара — странную, чуть сплющенную сигарету, удивительно изящно и аккуратно чиркнул спичкой и втянул пламя через хрупкую трубочку. Затем выдохнул, закашлялся.

— Эта… эта, — начал священник, — эта ваша должность на кладбище, как вы и сами понимаете, не… постоянная. Верно ведь?

Он еще раз элегантно затянулся и добавил:

— Мне неприятно это говорить, Джо. Мне это все не нравится, да и вам, думаю, тоже. Но, я уверен, вы поймете… меня накрыло настоящей грозовой тучей, когда я оказался между епископом, который полагает, что всех мятежников надо отлучать от церкви — как, впрочем, и постановили на последнем синоде, — и мэром, который, как вы и сами знаете, совершенно не поддерживает Договор[13] в его нынешнем ви-

---

[13] Примечания: 13

Имеется в виду англо-ирландский договор 1921 года, по которому Ирландия становилась доминионом Англии, а Северная Ирландия оставалась в составе Англии, но могла по желанию из нее выйти.

де и, будучи самым влиятельным человеком в Слайго, имеет большое… влияние. Можете себе представить, Джо.

— Ох, — сказал отец.

— Да.

Священник затянулся в третий раз и, обнаружив, что на сигарете уже нарос порядочный столбик пепла, в привычной пантомиме курильщика заозирался по сторонам в поисках пепельницы, которой мы в доме не держали даже для гостей. Отец поразил меня, подставив священнику свою ладонь — конечно, загрубевшую, мозолистую от лопаты, — и отец Гонт поразил меня, потому что тотчас же стряхнул пепел в подставленную руку, которая дернулась от жара, быть может, самую малость. Отец, сидя с этим пеплом, оглядел комнату почти с глупым видом, будто бы веря в то, что кто-то без его ведома все-таки принес в дом пепельницу, но не найдя ее, с ужасающей серьезностью ссыпал пепел в карман.

— Гм, — сказал отец. — Да, могу себе представить, как трудно примирить эти стороны.

Как же мягко он это произнес.

— Я, конечно, старался подыскать вам другую работу, особенно при муниципалитете, но поначалу такая возможность казалась мне… м-м-м…

невозможной. Я уже было сдался, но тут помощник мэра, мистер Долан, сообщил, что есть одно место, на которое они подыскивают человека — и довольно спешно, из-за страшного нашествия крыс, которые заполонили все склады у реки. Сами знаете, Финишглен — прекрасная, здоровая местность, сам доктор живет там, но вот незадача — соседствует она с доками.

Теперь я могла бы написать книжку о природе человеческого молчания — когда люди молчат и как, — но молчание, которым отец отозвался на эту речь, было страшным. Это было молчание — дыра, из которой со свистом тянуло ветром. Он покраснел еще сильнее, от чего его лицо стало совсем багровым, как у человека, которого хватил удар. В эту же минуту мать внесла чай — будто служанка промеж королей, хотя так казалось, наверное, потому, что она боялась поднять глаза на отца и не отрывала взгляда от маленького подноса, на котором было изображено какое-то французское маковое поле. Я часто разглядывала этот поднос, живший в кладовой на комоде, воображала, будто вижу, как ветер шевелит цветы, и думала, каково это — жить в мире жары и непонятного языка.

— Поэтому, — продолжил священник, — от

имени нашего мэра, мистера Сэлмона, я рад предложить вам… э-э-э, м-м-м… место. Должность.

— Кого? — спросил отец.

— Кого? — спросил священник.

— Что? — спросила мать, вероятно, помимо своей воли, но слово само выскочило из нее в комнату.

— Крысолова, — ответил священник.

* * *

Почему-то мне выпало проводить священника до дверей. Стоя на узком тротуаре и, вне всякого сомнения, чувствуя, как холод забирается к нему под сутану и ползет по голым ногам, маленький священник сказал:

— Передай, пожалуйста, отцу, Розанна, что все необходимые инструменты он сможет забрать в муниципалитете. Ловушки и все такое прочее. Все там лежит.

— Спасибо, — ответила я.

И он зашагал вниз по улице, но на мгновение остановился. Уж не знаю, почему я не уходила, а стояла и смотрела ему вслед. Опершись на соседский забор, он снял свой черный и блестящий ботинок и, балансируя на одной ноге, принялся ощупывать носок в поисках мешавшего ему ка-

мешка или соринки. Затем он вытащил носок из-под гамаши и снял его одним ловким молниеносным движением, обнажив длинную белую ступню — ногти на пальцах были желтые, как старые зубы, и заворачивались так, будто их никогда не стригли. Тут он заметил, что я все смотрю на него, рассмеялся и, избавившись от мешавшего камешка, снова надел носок и ботинок, а теперь твердо стоял на тротуаре.

— Какое облегчение, — заметил он любезным тоном. — Всего доброго! — И добавил: — Кстати, там, кажется, еще есть собака. Для этой работы. Крыс ловить.

Я вернулась в гостиную, где так и застыл на месте отец. Мотоцикл застыл на месте. Пианино застыло на месте. По отцу казалось, что он так и застынет тут навсегда. Было слышно, как мать скребется в кладовой, прямо как крыса. Или как собака в поисках крысы.

— Папочка, ты знаешь, что это за работа? — спросила я.

— Знаю ли?… Да, наверное.

— Вот увидишь, она нетрудная.

— Конечно, ведь мне часто приходилось этим заниматься на кладбище. Крысы обожают рыхлую землю на могилах, а уж надгробия служат им

отличным укрытием. Да, мне приходилось уже с ними бороться. Наверное, в библиотеке есть какой-нибудь учебник.

— Учебник для крысоловов? — спросила я.

— Да, Розанна, а разве нет?

— Конечно, есть, папочка.

— Есть, есть.

Глава шестая

Да, как же хорошо я помню тот день, когда отца уволили с кладбища, отлучили живого человека от его мертвецов.

Еще это было маленькое убийство.

Мой отец любил мир и любил всех своих собратьев по этому миру, никак не ограничивая эту свою любовь, полагая, как добрый пресвитерианин, что всякая душа может заслужить прощение, слыша в хриплом хохоте уличного мальчишки какое-то глубинное разъяснение жизни и вместе с тем — ее смысл, веруя в то, что раз уж Господь создал все на этом свете, то все это — хорошо, и еще, что беда дьявола в том, что он — автор ничего, архитектор пустоты. Поэтому хорошее мнение отца о самом себе зиждилось на его работе, на том, что ему, человеку такой необычной религии, было позволено хоронить всех католиков Слайго, одного за другим, когда наставал их черед.

— Какая честь, какая честь! — бывало, повторял он, когда мы с ним по вечерам запирали железные ворота, приготавливаясь идти домой, и его взгляд возвращался к темневшим сквозь прутья

рядам могил, удалявшимся надгробиям, которые были вверены его заботе.

Наверное, он говорил это не мне, а себе или могилам, и, наверное, даже не предполагал, что я могу его понять. Тогда, возможно, и не могла, но думаю, что понимаю теперь.

Правда заключалась в том, что отец любил свою родину, любил то, что для себя считал Ирландией. Родись он на Ямайке, быть может, он так же сильно любил бы Ямайку. Но он родился не там. Его предки имели небольшие синекуры, которые пресвитерианам удавалось раздобыть в ирландских городках — инспектора зданий, все в таком роде, а его отец даже достиг высокого звания проповедника. Он родился в Коллуни, в крохотном доме священника, его детское сердце влюбилось в Коллуни, его взрослое сердце разнесло эту любовь на весь остров. Поскольку отец его был одним из тех мыслителей-радикалов, которые сочиняли церковные памфлеты или по меньшей мере проповеди об истории протестантизма в Ирландии — ни одного не сохранилось, но мне смутно помнится, что отец говорил об одном или двух таких памфлетах, — у моего отца сложились убеждения, которые ему самому не всегда были по душе. Иначе говоря, протестантская религия

представлялась ему инструментом, легким как перышко, который старый раскол перековал в молоток, чтобы долбить им головы тех ирландцев, которые тяжким трудом зарабатывали себе на жизнь и были католиками по самой сути своей. Отец его любил пресвитерианскую религию, как и он сам, но ему было до смерти жаль — нет, скорее, он был до смерти зол из-за того, во что эта религия наряду с англиканством, баптизмом и так далее превратилась в Ирландии.

Откуда я все это знаю? Да потому, что каждую ночь моего детства, каждую ночь, перед тем как улечься спать, отец усаживался на мою узкую кровать, чуть не спихивая меня с нее своими широкими бедрами, так что я заваливалась на него, упираясь головой в его бакенбарды, и говорил, говорил, говорил, пока мать засыпала в соседней комнате. Когда она начинала легонько похрапывать, он уходил к ней в спальню, но те полчаса в темноте, когда он позволял ей уснуть в одиночестве, когда луна сначала устраивалась на дальней стене, а затем, как и положено всякой луне, мрачно и ярко уплывала в небо к недоступным (о чем я отлично знала) звездам, отец раскрывал мне все самые потаенные мысли, подозрения и истории своего сердца, вероятно,

даже не беспокоясь о том, что я могу чего-то не понять, делясь этим со мной, как музыкой, которая нравилась ему — а значит, и мне, — как творения Бальфе и Салливана, которых он считал двумя величайшими ирландцами на свете.

Поэтому работа на кладбище под покровительством отца Гонта в какой-то мере улучшала его жизнь, совершенствовала ее. В какой-то мере это была молитва его собственному отцу. Так он учился жить в Ирландии, в месте, которое ему выпало полюбить.

И, потеряв эту работу, он каким-то странным образом потерял и самого себя.

* * *

Теперь мы стали гораздо реже бывать вместе. Он не мог брать меня с собой охотиться на крыс, потому что работа эта была грязная, сложная и опасная.

Будучи по натуре человеком дотошным, отец вскоре отыскал себе в помощь небольшую книжечку, которая называлась «Полный отчет о крысоловстве», написанную кем-то под псевдонимом Крысий Крысиус. В этой брошюрке подробно описывались приключения крысолова в Манчестере — городе, загроможденном фабриками,

где крысам было раздолье. Книжка научила отца быть внимательным на работе, запоминать все вокруг и даже обращать внимание на состояние лапок хорьков, у которых из-за сырости мог развиваться грибок. Чести владеть хорьком отец так и не удостоился. Власти Слайго были куда менее честолюбивы. Ему выдали джек-рассела по кличке Боб.

Так началась самая странная пора моего детства. Тогда же я мало-помалу становилась все более девушкой, все менее ребенком, все более женщиной, все менее девушкой. За те годы, пока мой отец работал крысоловом, во мне выросло собственное чувство взрослой серьезности. То, что радовало и волновало меня в детстве, теперь перестало меня волновать или радовать. Казалось, будто бы что-то исчезло из картин и звуков мира, будто бы величайший дар ребенка — это умение легко радоваться. Поэтому я чувствовала, что жду, жду чего-то незнакомого, что придет на смену дару юности. Конечно, я и тогда была юна, очень юна, но, как мне помнится, нет на свете никого старее пятнадцатилетней девочки.

* * *

Люди продолжают жить той жизнью, которую мы зовем обычной, потому что другой жизни не бывает. Бреясь по утрам, отец все так же напевал «Розы Пикардии»[14] — строчки и слова путались, обрывались, пока он водил лезвием по своей шероховатой физиономии, и когда я, заслышав его снизу, закрывала глаза, то продолжала видеть его мысленным взором — будто в какой-то загадочной кинокартине. И он держался героически: уходил на работу с ловушками и собакой, приучил себя считать это своим «привычным делом», возвращался — хоть и не всегда в то же время, что и раньше, — стараясь не забыть сунуть под мышку «Слайго Чемпион» и втиснуть эту новую жизнь в область нормального.

Но в те дни он и в газете мог наткнуться на то, что могло его задеть, по крайней мере однажды я услышала, как отец ахнул и, подняв голову, увидела, что он поглощен чтением. Владельцем «Чемпиона» был мистер Родди, который, как говорили, был уж очень за новое правительство. Поэтому сводки с гражданской войны излагались

---

[14] Примечания: 14
Популярная песня времен Первой мировой войны.

в сухих, простых выражениях, которые будто бы старались придать всему этому нормальность, основательность.

— Боже правый, — сказал отец, — они расстреляли мальчишек, что были тогда на кладбище.

— Каких мальчишек? — спросила я.

— Тех ребят, которые принесли своего убитого друга.

— Он был братом кому-то из них, — сказала я.

— Верно, Розанна, один из них был его братом. Тут они имена приводят. Лавелл его звали, правда ведь странное имя? Вильям. А брата — Джон. Но он, как тут пишут, скрылся. Сбежал.

— Ага, — немного натянуто отозвалась я, вместе с тем неожиданно обрадовавшись.

Это как про Джесси Джеймса услышать было. Уж вряд ли захочешь повстречать преступника в жизни, но все равно радуешься, когда слышишь, что ему удалось ускользнуть. Впрочем, Джона Лавелла мы-то как раз повстречали.

— Он с Инишке родом. С одного из островов. Маллет. Место уж очень глухое. Задворки Майо. Наверное, там, среди своих, он будет в безопасности.

— Надеюсь.

— Уж уверен, трудно им было расстреливать

таких парней.

Отец говорил безо всякой иронии. С убежденностью. Ведь это действительно было трудно. Выстроить этих мальчиков, чтобы стояли бок о бок, или выводить по одному — кто знает, как это все происходит, — и стрелять в них, как говорится, до смерти. Кто знает, как оно там все было, в горах? В темноте. А теперь они и сами мертвы, вместе с Вилли Лавеллом, парнем с Инишке.

Больше отец не произнес ни слова. Друг на друга мы тоже не глядели, уставившись вместо этого на одно и то же местечко в очаге, где из последних сил догорала кучка углей.

* * *

Но молчание матери было самым глубоким. Она как будто превратилась в подводное существо, или мы с ней обе стали такими, потому что рядом со мной она вечно молчала и двигалась медленно и тяжело, будто плыла под водой.

Отец предпринимал отважные попытки расшевелить ее и, как только мог, старался ей угодить. На новой работе зарплата у него была маленькая, но он надеялся, что и маленькая зарплата сгодится, особенно в то трудное темное время, после гражданской войны, когда страна пыталась снова

встать на ноги. Но думается мне, в те дни весь мир нарывал катастрофами, а громадные жернова истории вертела не рука человека, а некая неведомая сила. Отец отдавал ей все, что зарабатывал, в надежде, что ей уж как-нибудь удастся поделить и растянуть эти жалкие несколько фунтов, чтобы мы могли хоть как-то на них продержаться. Но что-то, столь же неведомое, как та сила, что управляла гигантскими волнами истории, но не столь огромное, поскольку речь шла лишь о нас троих, постоянно одерживало над ней верх, и зачастую в доме не было почти никакой еды. Вечером мать могла начать громыхать чем-то в кладовой, будто бы собираясь готовить ужин, но затем выходила в нашу маленькую гостиную, садилась, а мы с отцом, который уже как следует отмылся после работы и готовился к предстоящей ночи — крыс лучше всего ловить в темноте, — глядели на нее, постепенно понимая, что ужина не дождемся. Тогда отец медленно качал головой и, быть может, в мыслях потуже затягивал пояс, но никак не осмеливался спросить у матери, что случилось. Пока ее одолевало неведомое горе, мы начали голодать!

Но ничто не могло пробиться сквозь ее молчание. Приближалось Рождество, и мы с отцом

замыслили купить ей что-нибудь, что могло бы ее порадовать. Он приметил один шарф в маленьком галантерейном магазинчике рядом с кафе «Каир» и каждую неделю утаивал по полпенни или около того, чтобы набрать необходимую сумму, будто мышь, которая запасает по зернышку. Прошу вас, не забывайте, что мать моя была очень красива, хотя, наверное, тогда уже не так красива, как раньше, потому что ее молчание эхом отозвалось на ее лице, которое казалось будто затянутым тонкой серой тканью. Она походила на картину, красота которой скрывалась за потускневшим лаком. Ее прекрасные зеленые глаза угасали, и вместе с этим исчезала какая-то важная, существенная часть ее самой. Но в остальном же, думаю, она по-прежнему была бы хороша для любого художника, если б только в Слайго водились художники, разве что считать ими тех парней, которые малевали лица Джексонов, Миддлтонов и Поллексфенов — лучших людей города.

Отцу не нужно было работать в сочельник, и как же радостно было сходить на службу, которую в своей старой опрятной церквушке отслужил мистер Эллис. Мать молча пришла с нами, в своем потрепанном пальто, малень-

кая, будто монашка. Я так хорошо помню эту сцену: вся церквушка залита светом свечей, все протестанты прихода, бедные, небедные и достаточно богатые, собрались здесь — мужчины в темном габардине, женщины, кто мог себе позволить, со щепотками меха вокруг шеи, но в основном всюду были пасмурные зеленые цвета тех дней. Сияние свечей проникало всюду — в морщины на лице сидевшего подле меня отца, в камни, из которых была сложена церковь, в голос священника, говорившего на волнующем и таинственном языке Библии, в мою грудную клетку, в мое юное сердце, пронзая меня так сильно, что мне хотелось кричать — но что кричать, я не знала. Мне хотелось кричать, что судьба дурно обошлась с отцом, что мать все молчит, но еще мне хотелось выкрикнуть радость, хвалу чему-то — исчезающей красоте моей матери, которая пока еще не исчезла до конца. Я вдруг почувствовала, что родители вверены моей заботе, что это я могу предпринять что-то, чтобы спасти их.

И отчего-то эта мысль наполнила меня внезапной радостью, столь редким в те дни чувством, что, когда знакомые голоса начали петь какой-то давно позабытый гимн, я вся зарделась от непонятного счастья, а потом, сидя в этой мерцающей

темноте, расплакалась — жаркими, долгими слезами предательского облегчения.

И вот я расплакалась там, да только кому от этого стало хорошо. Всю меня окутало запахом сырой одежды и кашлем прихожан. Чего бы я не дала сейчас, чтобы вернуть их в ту церковь, вернуть их в то Рождество, вернуть назад все, что вскоре забрало себе время, как и должно времени, вернуть шиллинги обратно в карманы, вернуть тела в их митенки и кальсоны — все, все возвратить назад, так чтобы мы укрепились там, сидя на скамьях красного дерева, упираясь в них коленями, если уж не целую вечность, так хотя бы снова те минуты, тот самый клочок времени, когда морщины на лице отца заполняются льющимся светом и он медленно, так медленно поворачивается к нам с матерью и улыбается, улыбается нам со всей своей легкой, простой добротой.

Наутро отец преподнес мне прелестную вещицу — позже я узнала, что такие называют бижутерией. У каждой девчонки в Слайго были такие «сорочьи» побрякушки — на выход. Я, как и все они, мечтала отыскать то самое сказочное сорочье гнездо, где будет полным-полно брошей, сережек, браслетов, полным-полно прекрасной

добычи. Взяв подарок отца, я расстегнула его посеребренную застежку, прицепила его на кардиган, с гордостью похвасталась им перед пианино и мотоциклом.

После этого отец вручил матери что-то «то самое», завернутое в добротную магазинную бумагу — раньше она непременно сложила бы ее и спрятала в ящик. Она тихонько развернула сверток, поглядела на пятнистый шарф, который лежал внутри, подняла голову и спросила:

— Зачем, Джо?

Отец совсем не понимал, о чем она спрашивает. Быть может, ей узор не нравится? Или что он сделал что-то не то, не сумел купить правильный шарф, потому что откуда же крысолову знать толк в дамской моде?

— Зачем? Не знаю, Сисси. Не знаю, — храбро ответил он и внезапно прибавил, будто его вдруг осенило: — Это шарф.

— Что ты сказал, Джо? — переспросила мать, будто бы на нее напала какая-то странная глухота.

— На голову повяжи или на шею, куда хочешь, — сказал он.

Я видела, как в нем начинает дрожать отчаяние, которое начинает расползаться из живота,

когда даришь не тот подарок. Ему пришлось объяснять очевидное, задача не из приятных.

— О, — ответила она, теперь уставившись себе на колени. — О…

— Надеюсь, тебе нравится, — произнес он — как голову на плаху сложил.

— О, — сказала она. — О…

Но что это было за «О!» и что это «О» означало, никто из нас так и не понял.

Глава седьмая

Записи доктора Грена

С большим огорчением узнал — совершенно случайно, — что Бет решила не посещать специалиста, к которому ее направили в прошлом году. (Или все-таки в этом году? Уже год прошел или я брежу?) Вчера вечером за жестянкой «комплана» я наткнулся на ее дневник, о котором она, видимо, позабыла. Конечно же, было совершенно неправильно, неэтично, неправильно, неправильно заглядывать туда, но я заглянул — с мелочной обидой нелюбимого мужа. Посмотреть, что она там написала.

Нет, нет, я только хотел увидеть ее почерк, увидеть что-то столь интимное и личное. Быть может, мне и читать-то ничего было не надо. Просто глянуть на темные чернила ее шариковой ручки. А там эта запись, сделанная пару недель назад — откровенная и прямая, хотя, конечно, она предназначалась только для ее глаз: «Позвонила в клинику, отменила запись».

Почему?

Я смутно помнил, что к врачу ее отправили

после того обморока, и на самом деле, когда она сообщила об этом направлении, я почувствовал такое облегчение, что и вовсе выкинул эту проблему из головы. Теперь же я не знал, как себя вести. Я был встревожен ее поступком, но прекрасно понимал, что узнал об этом только потому, что вторгся в ее личное пространство, что она, несомненно, расценит как дальнейшее насилие над ней. И будет права.

Что же делать?

Поэтому всю ночь я старался как-то отвлечься. Отвлечься — вот как я обычно решаю проблемы. Наверное. Но все-таки не без причины. Уже где-то на рассвете я вдруг вскипел от непонятной ярости, от очень-очень сильной злости на нее и хотел было кинуться наверх, чтобы выяснить с ней отношения. Она хоть думает вообще, что делает?! Что за чертовы глупости!

Слава богу, что я этого не сделал. Это бы ничего не решило. Но меня беспокоят и самые настоящие тревоги. Ее ноги могут опухать из-за тромбофлебита, а если тромб вдруг доберется до легких или до сердца, то это — мгновенная смерть. Она что, этого и добивается? И тут я снова обнаружил, что не владею языком, не знаю того особого наречия, на котором я мог бы поговорить с ней об этом

— обо всем. Мы все пренебрегали простыми словами о жизни, а теперь вот сложные нам и вовсе не по зубам.

А я хотел провести вечер, планируя не слишком спланированный разговор с Розанной так, чтобы добиться от нее хоть какого-то результата. Мне вдруг пришло в голову, что если я не могу спросить о здоровье собственную жену, то с Розанной у меня шансов вообще никаких. Но, быть может, с посторонним человеком поговорить проще, можно быть просто «специалистом», а не дураком рода человеческого, пытающимся как-то устроить свою жизнь. С другой стороны, я уверен, что всех остальных пациентов лечу вполне достойно. Почти все они для меня — открытые книги, их страдания мне ясны и понятны. Хотя при этом я все равно не могу избавиться от ощущения, будто бы бесконечно вторгаюсь в их жизни. И только Розанна сбивает меня с толку.

Я хотел еще заглянуть в «Патологию секретности» Бартуса — превосходная книга, еще бы найти время, чтобы ее перечитать. Наверное, можно было сходить за ней в кабинет, но меня всего трясло, будто вот-вот хватит апоплексия, если в современном мире еще такое случается. В результате я ни Бартуса не прочитал и не приду-

мал, что делать с легкомыслием Бет. Я страшно измотан.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Где-то пару недель спустя отец взял меня с собой на одну из своих охот.

В начале весны крысы начинают плодиться с мстительной быстротой, поэтому их нужно ловить в конце зимы, пока они не начали размножаться и погода уже не слишком жестока к крысолову. Сейчас мне думается, что, наверное, странно было брать молоденькую девочку на охоту за грызунами, но я уж очень всем этим интересовалась, особенно после того, как отец прочел мне то пособие, в котором эта работа описывалась как почти магическое занятие, требующее высокой квалификации — даже призвания!

До того он уже пару ночей проработал в протестантском приюте для сирот, что само по себе уже было странным местом — с крысами или без них. Приюту было лет двести, и отец слышал про него множество старинных историй: судя по его рассказам, быть сиротой и тогда считалось участью незавидной. Хотя, быть может, в те времена место это было вполне достойное. Отец намеревался начать с крыши, как и положено, чтобы

спускаясь вниз, этаж за этажом, избавляться от крыс. Чердаки он уже вычистил, верхний этаж тоже — оставались еще три этажа, где, собственно, и жили девочки-сироты, числом около двух сотен, все в таких аккуратных, похожих на парусиновые, платьицах-передничках, в которых они и спали.

— Теперь-то, Розанна, они лежат в кровати по одной, — сказал мне отец. — Но во времена твоего дедушки или, может, прадедушки, ну да неважно, все тут было по-другому. Твой дедушка или, быть может, дедушка твоего дедушки рассказывал про это место ужасную историю. Он был жилищным инспектором, и тогда городские власти Дублина отрядили его сюда, так как прошла целая волна возмущений по поводу того, что тут творилось, целая волна!

— И вот он приезжает, — мы стояли в древнем дворике возле здания, вокруг уже густые сумерки, и при нас две клетки, набитые крысами, и очень довольный пес Боб, который этих крыс и гонял по стенам этого самого приюта, которые кое-где толщиной футов в семь-восемь и все изрыты ходами. — Приходит ну пускай вон в ту большую комнату, — отец указал на мрачные камни второго этажа, — а там, как ему показалось, целый

акр одних кроватей, и на каждой кровати — дети, штук, наверное, двадцать их, и все новорожденные или младенцы, все лежат рядышком, а он заходит туда вместе со старой нянькой — уж такая противная баба, — видит это море деток и замечает, что кое-где в окнах и стекол-то нет, не то что сейчас, а в огромном очаге огонь еле теплится — таким вообще ничего не согреешь, да и в потолке еще дыры, через которые холодная промозглая зима так и свищет. И он тогда как закричит: «Боже правый, женщина!» — ну или уж как они там говорили в те времена, — «Боже правый, женщина, да ведь на них и одежды никакой нет!», и верно, Розанна, а там и клочок лохмотьев не у каждого найдется. А старуха-то и говорит, да так, будто это само собой разумеется: «Но, мистер, разве ж их тут не помирать положили?» И тут он понимает, что это все так и было устроено, чтобы избавиться от больных или нежеланных детей. Большой тогда скандал вышел, уж я думаю.

Какое-то время он ковырялся с ловушками, я стояла рядом, а ночной ветер изредка постанывал, когда слишком близко подкрадывался к домам. Отец окунал каждую крысу в парафин, перед тем как бросить ее в костер, который он разжег прямо посреди двора, использовав для

этого старые вонючие доски и прочие деревяшки, которые отыскал в одном из сараев.

Этот способ избавления от крыс он придумал сам, вычитав что-то похожее в своем пособии, и этим изобретением он весьма гордился. Теперь мне кажется, что, наверное, все-таки было не очень разумно бросать в огонь еще живых крыс, но, думаю, отец даже не считал это жестоким или надеялся, что другим крысам будет урок, если вдруг они наблюдают за всем из темноты. Зато это в какой-то степени помогает понять, как мыслил мой отец.

Ну и вот, он открывал ловушки, хватал крыс одну за одной и, как теперь мне вдруг вспомнилось, пристукивая каждую по голове, перед тем как отправить в огонь — господи, так и встала вдруг перед глазами эта сцена, — и при этом он болтал со мной и, видимо, потому не мог полностью сосредоточиться на работе, что я была с ним, но как раз тогда одна крыса сбежала, улучив момент между освобождением из ловушки и ударом по голове, просто вывернулась у него из пальцев, обогнула изумленного Боба, который и шевельнуться-то не успел, и помчалась к приюту, в черном сиянии тьмы, где, однако, угадывались ее характерные скачки…

Отец тихонько ругнулся, но, наверное, и не думал о ней более, решив, что назавтра доберется до этой крысы. И принялся за оставшихся, мысленно отмечая, наверное, пискливый визг, который издавала каждая крыса, когда он расправлялся с ней, окуная в парафин и кидая в костер; этот звук, я думаю, снился ему каждую ночь.

Где-то через час он собрал все свои штуки, перекинул ловушки через плечо, нацепил Бобу его привычный поводок, и мы вышли из темного приюта на улицу, которой он подставлял весьма филигранный лепной фасад — результат, вне всякого сомнения, многочисленных филантропических пожертвований в минувшем веке этому зданию. Мы как раз переходили улицу, когда услышали какой-то гул, обернулись и задрали головы вверх.

Здание издавало странный, глубокий загадочный шум, который шел откуда-то с верхнего этажа, где спали девочки. Хотя вряд ли они теперь спали, потому что сквозь черепицы пробивался густой, черный дым, и серый дым, и белый дым, и все это было зловеще расцвечено лишь луной и скудным уличным освещением Слайго.

Тут мы услышали, как где-то зазвенело оконное стекло, и внезапно из окна высунулась тонкая

длинная рука желтого пламени, которая, осветив поднятое лицо отца и мое, конечно, тоже, так же неожиданно спряталась обратно с ужасающим, воющим ревом, хуже любого ветра.

Я так страшно перепугалась, что мне показалось, будто пламя заговорило. «Смерть, смерть!» — вот что сказало пламя.

— Иисус, Мария, Иосиф, — выговорил отец, как человек, которого парализовало на месте каким-то ужасным переворотом в мозгу и крови, и только он сказал это, как двери приюта распахнулись, от чего по всему дому, верно, прокатилась мощная волна ветра, и несколько оглушенных от ужаса девочек, спотыкаясь, выбежали наружу — платьица у них были все в грязи и пепле, а лица дикие, как у маленьких бесенят. Такого ужаса я никогда раньше не видела. Двое или трое воспитателей, женщина и двое мужчин в темных одеждах, тоже выскочили на улицу и, отбежав на мостовую, пытались разглядеть хоть что-то.

Разглядеть было можно (а теперь еще можно было расслышать, как вдали звенят колокола пожарных машин), что на всем этаже девочек светло как днем, за окнами бушует пена пламени, и хотя мы стояли на углу, но все равно видели, как лица и руки девочек бились о стекла, будто бы

мотыльки или уснувшие бабочки, которые вдруг зимой в нагретой комнате смертельно ошибаются, полагая, что настала весна. И тут окна будто взорвались, выбросив наружу убийственные осколки и брызги стекла, отчего все тотчас же кинулись на другую сторону улицы. Люди стали выбегать из домов, женщины закрывали лица руками, странно подвывая, а мужчины, выскочив из кроватей в одних кальсонах, все кричали и звали кого-то, и даже если они никогда раньше не испытывали сострадания к этим сироткам, то жалели их теперь и кричали так, будто это были их собственные дети.

Мы видели, что пламя позади них разгорается еще яростнее, распускаясь огромным желто-красным цветком, с таким грохотом, какой можно услышать, только попав в ад, в такой ад, каким он представляется в ночных кошмарах. И тут девочки, все в этой комнате, в основном моего возраста, начали вылезать из окон на широкий карниз, и у каждой пинафора уж занялась, и они кричат, кричат, кричат.

А когда им больше ничего не оставалось, никакой другой надежды на спасение, они стали прыгать с этого карниза, поодиночке и вместе, в горящей одежде, которую по-прежнему пожира-

ло пламя, так что оно летело вслед за ними, как самые настоящие крылья, и все эти полыхающие девочки падали с высоты огромного старинного дома прямо на камни мостовой. Целая волна их, целая волна маленьких девочек льется из окон изобильным потоком, горит, кричит и умирает у нас на глазах.

* * *

На дознании, куда ходил отец, одна выжившая девочка предложила совершенно невероятное объяснение этому пожару. Она рассказала, что лежала в кровати и пыталась уснуть, глядя на старый камин, где еще тлела кучка углей, как вдруг услышала шорох, писк и будто бы небольшой переполох. Она приподнялась на локтях, чтобы было лучше видно, и сказала, что разглядела какое-то животное, маленькое и юркое, вроде крысы, у которой шкура вся была в огне; это животное пронеслось по комнате и подожгло ветхие простыни, которые свисали с кроватей девочек до самого пола. Никто еще ничего и сообразить не успел, а вдруг в сотне мест уже занялись маленькие очаги пламени; тогда девочка вскочила, разбудила других воспитанниц и сбежала из этого зарождающегося ада.

Когда отец вернулся домой, он рассказал мне эту историю, но не лежа, как обычно, рядом со мной, а сидя, сгорбившись, на старом стуле возле моей кровати. На дознании никто не сумел объяснить, откуда там могла взяться горящая крыса, а отец ничего не сказал. Участь его была уже настолько незавидна, что он не осмелился что-то сказать. От ожогов и падений погибли сто двадцать три девочки. Мы с ним знали — он по опыту, а я из пособия, — что крысы любят пользоваться удобными вертикальными переходами в старых дымоходах. Небольшой огонь в камине ей не помешает. Но если такая крыса, обмазанная парафином, хотя бы приблизится к огню… отец хорошо понимал, что тогда могло произойти.

Глава восьмая

Быть может, ему следовало во всем признаться. Быть может, мне следовало предать его, как это сделали те немецкие дети, которые следили за своими родителями по просьбе Гитлера. Но я бы никогда и рта не раскрыла. Говорить-то всегда трудно, неважно, грозит ли это чем-то человеку или нет. В опасности может оказаться его тело, а может — душа, когда угроза более личная, незаметная, невидимая. Когда сказать — это значит предать что-то, у чего нет даже названия, что прячется в темнице тела, будто перепуганный беженец под обстрелом.

* * *

Это означает, что сегодня ко мне снова приходил доктор Грен, с вопросами наготове.

Мой муж Том еще мальчишкой десять лет ловил лосося на Лох-Гилл. Большую часть времени он просто стоял на берегу озера и глядел в темную воду.

Если оттуда вдруг выпрыгивал лосось, Том шел домой. Ведь если увидишь лосося, значит, в этот

день ни одного не поймаешь. Но искусство не видеть лосося тоже очень темное, нужно глядеть и глядеть в воду, туда, где, бывает, попадается лосось, и представлять его там, в глубине, чувствовать его, ощущать его там каким-то седьмым чувством. Таким образом мой муж Том ловил лосося десять лет. К слову сказать, ни одного лосося он не поймал. Так что, увидишь лосося — лосося не поймаешь, и не увидишь лосося — не поймаешь тоже. Так как же ловить лосося? Третьим способом — на удачу и инстинкт, которых у Тома не было.

Но сегодня они были у доктора Грена, который уселся тихонько в моей маленькой комнате, пристроил на стуле свой аккуратный корпус и молча принялся глядеть на меня, не глазами, а инстинктом и удачей, как рыбак подле темных вод.

Ох, и уж я-то почувствовала себя настоящим лососем, залегла на глубине, всем телом чувствуя, что там его удочка, его наживка и его крючок.

— Ну, Розанна, — наконец сказал он, — гм-м-м, ведь верно, что вы попали сюда примерно… сколько лет назад?

— Очень, очень много лет назад.

— Да. И, насколько я помню, вас перевели сюда из лечебницы в Слайго?

— Да, из желтого дома.

— Да, да. Занятное старинное выражение. Звучит довольно… поэтично. Не с цветом ли луны связано? Хотя, выражение это очень старое, но значение его достаточно сомнительное и теперь уж совсем обидное. Я и сам при полной луне иногда испытываю… такое странное чувство.

Я взглянула на доктора Грена и попыталась представить, как его могла бы изменить луна — бакенбарды погуще, чтобы как у оборотня.

— Такая невероятная сила, — сказал он. — Приливы, которые тянет от одного берега к другому. Да, луна. Примечательный объект.

Тут он встал и подошел к окну. Было столь раннее зимнее утро, что луна за окном была еще в полной силе. Свет ее ложился сумрачными бликами на подоконник. Доктор Грен так же сумрачно кивнул своим мыслям, выглянув во двор, где Джон Кейн и прочие работники спозаранку гремели мусорными баками и совершали прочие действия, по которым в больнице — в приюте — можно было проверять часы. Желтый дом. Место, подвластное силам луны.

Доктор Грен из тех мужчин, которые то и дело поглаживают невидимый галстук или поправляют какой-то предмет одежды из прошлого.

Конечно, он еще и бороду может поглаживать, но нет, этого он не делает. Быть может, в молодости он носил какой-нибудь модный шейный платок или что-нибудь этакое? Мог ведь и носить.

Но что бы там ни было, а сейчас он поглаживал этот фантомный предмет, проводя пальцами по шее сантиметра на два повыше простого бордового галстука, узел которого был плотным, как юный розовый бутон.

— Ох! — выдохнул вдруг он со странной силой. В этом звуке слышалась крайняя усталость, но я не думаю, что это он от усталости. Это было восклицание раннего утра, которое вырвалось у него в моей комнате так, будто бы он был тут совсем один. Быть может, один он был и для всего мира с его нуждами и запросами.

— Думали ли вы о том, чтобы уйти отсюда? Хотите ли вы, чтобы я для этого что-то предпринял?

На это я не могла ничего ответить. Нужна ли мне такая свобода? Помню ли я еще, что это такое? Быть может, эта чудная комнатка и есть мой дом? Каков бы ни был ответ, но я вновь почувствовала, как внутри расползается страх, будто мороз по зеленым листьям, от которого на них остаются такие печальные черные следы.

— А сколько вы прожили в Слайго? Помните, в каком году сюда попали?

— Нет. Когда-то во время войны, — ответила я. Уж это я знала.

— Второй мировой войны?

— Да.

— Я тогда был еще совсем маленьким, — заметил он.

Воцарилось холодное, хрустящее молчание.

— Мы — мои родители и я — часто приезжали в одну маленькую корнуолльскую бухту, это первое, что я помню, и другой ценности у этого воспоминания нет. Помню, вода была совершенно ледяная, и, представляете, помню, как намочил в этой воде штанишки, очень живо помню. Тогда бензин мало кому выдавали, поэтому отец соорудил такой велосипед-тандем, из двух разных велосипедов. Сам он садился сзади, потому что там нужно было сильнее всего крутить педали, когда карабкаешься по корнуолльским холмам. Маленькие такие холмики, но ногам — просто смерть. Хорошие это были деньки, летние. Отец всегда в хорошем настроении. Чай из котелка — мы его кипятили на костре, как рыбаки.

Доктор Грен рассмеялся, присоединив свой смех к свету, который собирался за окном, чтобы

сотворить утро.

— А может, это было сразу после войны.

Я хотела было спросить, чем занимался его отец, но, не знаю почему, вдруг решила, что это слишком личный вопрос. Хотя сейчас я думаю, а если он хотел, чтобы я об этом спросила. И тогда что, мы принялись бы говорить о наших отцах? Может, так он и закидывал удочку в темные воды?

— Я не слышал ничего хорошего о старой лечебнице в Слайго, особенно тех времен. Уверен, место было отвратительное. Совершенно уверен.

Но я и тут промолчала.

— Просто какая-то психиатрическая загадка — отчего же у нас в начале века были настолько плохие лечебницы, отчего невозможно было с ними что-то сделать, в то время как в начале XIX века к умалишенности, как это тогда называлось, отношение было зачастую самое просвещенное. Вдруг возникло понимание того, что держать людей взаперти, сажать на цепи и тому подобное — очень плохо, и поэтому были предприняты огромные усилия, чтобы как-то все… улучшить. Но, боюсь, в какой-то момент случился рецидив — как водится, что-то пошло вкось. Вы помните, почему вас перевели сюда из Слайго?

Он спросил это так внезапно, что я и опомниться не успела, как ответила:

— Это мой тесть устроил.

— Ваш тесть? Кто он был?

— Старый Том, музыкант. Еще он был портным в Слайго.

— То есть в городе?

— Нет, в самом приюте.

— Вы были в приюте в то время, когда там работал ваш тесть?

— Да.

— Понятно.

— Мать, кажется, тоже там была, но этого я не помню.

— Она там работала?

— Нет.

— Была пациенткой?

— Не помню. Честное слово, не помню.

О, я знала, как ему хочется спрашивать еще и еще, но, надо отдать ему должное, делать он этого не стал. Наверное, очень уж хороший рыбак. Если видишь, как лосось прыгнул, то уж точно ни одного больше не поймаешь. Можно идти домой.

— Я совсем не желаю пугать вас, — сказал он вдруг ни с того, ни с сего. — Нет-нет, таких намерений у меня нет. Должен признать, Розанна, мы

вас все здесь очень уважаем, очень.

— Уж не думаю, что я это заслужила, — ответила я, вдруг покраснев от стыда. От сильнейшего стыда. Как будто какой источник расчистили от нападавших туда весной листьев и веток, и вода вдруг как рванет с места. Стыд, болезненный стыд.

— Ну что вы, — сказал он, наверное, даже и не подозревая о моем смятении. Он, наверное, хотел сделать мне приятное, утеплить меня, как сказал бы отец. Подвести меня к какой-нибудь теме, откуда он бы мог начать. К дверце в то, что ему там нужно узнать. Какая-то часть меня рвалась помочь ему. Открыть дверь. Но… Стены, которые я так тщательно возводила все эти годы, так и кишат крысами стыда и осыпаются прямо мне на колени — вот как я себя ощущала. И мне нужно было спрятать их всех, попрятать этих мерзких крыс.

Почему же, спустя столько лет, я по-прежнему чувствовала тот глубокий стыд? Почему же этот глубокий, глубокий стыд все еще жил во мне?

* * *

Что же… Теперь и у нас прибавилось тайн. Но самой насущной проблемой вскоре вновь ста-

ла наша бедность, с которой отец никак не мог справиться.

Однажды зимним вечером, возвращаясь домой из школы, я повстречала отца на дороге возле реки. Теперь это было не то, что наши радостные встречи в детстве, но и по сей день я горжусь тем, что тогда, завидев меня, отец чуть просветлел лицом. Что-то засияло в нем глубоко, глубоко внутри, хотя вокруг нас сгущался вечер Слайго. Надеюсь, что это не выглядит как хвастовство.

— Ну-ка, милая, — сказал он, — бери-ка меня под руку да пошли домой, если ты только не боишься, что тебя с отцом увидят.

— Нет, — удивленно ответила я. — Не боюсь.

— Ну, — говорит он, — уж я знаю, каково это, когда тебе пятнадцать. Будто идешь по самому берегу, а ветер весь тебе в лицо.

Но я не понимала, о чем он говорит. Было так холодно, что мне показалось, будто у него в волосах смерзлась та штука, которой он мазал волосы, чтобы распрямить их.

И вот мы шли себе по нашей улице, вальяжно, неспешно. В одном из домов впереди открылась дверь, оттуда вышел мужчина и, обернувшись к видневшемуся в дверях пятну лица, приподнял свою коричневую шляпу. Лицо это было моей

матери, дверь была нашего дома.

— Ох, Иисусе, — сказал отец, — да это же сам мистер Файн к нам заходил. Чего бы ему тут понадобилось? Неужто крысы завелись?

Мистер Файн шел нам навстречу. Он был высокий, стремительный мужчина, важный человек в городе, а лицо у него было доброе и мягкое, как у того, кто его часто подставляет солнцу и ветру — быть может, как у того, кто идет по самому берегу.

— Добрый день, мистер Файн, — сказал отец. — Как поживаете?

— Превосходно, да, превосходно, — ответил мистер Файн. — А как ваши дела? Как же нас всех опечалила эта история с бедными сгоревшими девочками. Ужаснейшее происшествие, мистер Клир.

— Истинная правда, Господи Иисусе, — ответил отец, и мистер Файн пошел дальше.

— Не надо, наверное, было поминать Иисуса при нем, — сказал отец.

— Почему? — спросила я.

— Ну, так ведь он еврей все-таки, — ответил отец.

— У них что, нет Иисуса? — спросила я, не зная об этом ровным счетом ничего.

— Не знаю, — сказал отец. — Но отец Гонт тебе точно скажет, что евреи убили Иисуса. Хотя, знаешь, Розанна, времена тогда были тяжелые.

Молча мы подошли к дому, отец вытащил свой старый ключ, повернул его в замке, и мы вошли в нашу крохотную прихожую. Услышав эту его речь про Иисуса, я поняла, что его что-то гложет. Я уже была достаточно взрослой, чтобы знать — иногда люди говорят об одном, а на уме у них совсем другое, и тогда их слова все равно несут в себе отражение тех мыслей.

Совсем поздно вечером, когда уже пора было ложиться спать, отец наконец заговорил про мистера Файна.

— Ну, — сказал он, пока мать сгребала угли на остатки торфа, чтобы ночью те прогорели и наутро превратились в прекрасные икринки из красных искорок, когда она снова будет ворошить золу. — Мы тут на пути домой повстречали мистера Файна. Нам показалось даже, будто он сюда заходил.

Мать распрямилась и застыла у очага с совком для углей в руках. Она стояла так тихо и неподвижно, как будто бы позировала художнику.

— Он сюда не заходил, — сказала она.

— Нам просто показалось, что мы тебя в дверях

видели и он шляпу приподнял — ну, кому-то похожему на тебя.

Мать глядела на огонь. Она сгребла угли только наполовину, но было видно, что доделывать она ничего не собирается. Она разразилась странным, тянущим плачем, который, казалось, выходил откуда-то изнутри, просачивался сквозь нее, как жуткая капель. Я была так потрясена, что у меня во всем теле как-то неприятно закололо.

— Ну, я не знаю, — жалко пролепетал он, — быть может, мы дверью ошиблись.

— Ты прекрасно знаешь, что не ошиблись, — ответила мать, на этот раз совсем по-другому. — Ты прекрасно знаешь — ох, ох, — заговорила она, — что я никогда не разрешала тебе увозить меня из дома в эту холодную жестокую страну, в этот вонючий дождь, к этим вонючим людям!

Отец побелел, будто картофелина в крутом кипятке. Мать сейчас сказала слов больше, чем за весь год. Это было целое письмо, целая газета ее мыслей. Думаю, для отца услышать такое было то же, что прочесть статью об очередной трагедии. Хуже, чем новости про мальчиков-бунтовщиков, хуже сгоревших девочек.

— Сисси, — произнес он так мягко, что вышло почти беззвучно. Но я его услышала. — Сисси.

— Дешевый шарф, каким и индус торговать постыдится, — сказала она.

— Что?

— И не вини меня! — она почти кричала. — Не вини меня! У меня ничего нет!

Отец вскочил, потому что мать нечаянно попала себе совком по ноге.

— Сисси! — вскрикнул он.

Она себя оцарапала, и на ноге поблескивали несколько темных капель крови.

— Господи, о господи, — сказала она.

* * *

На следующий вечер отец отправился к мистеру Файну, в его бакалейную лавку. Когда он вернулся, вид у него был изможденный, а лицо бледное. Я расстроилась еще раньше, потому что мать, видимо, что-то заподозрив, ушла куда-то на ночь глядя, и я не знала куда. Вот она грохотала чем-то на кухне, и вдруг — раз — и ушла.

— Ушла? — переспросил отец. — Ох, ох… Там такой холод, она хоть пальто надела?

— Надела, — ответила я. — Пойдем ее поищем?

— Да-да, непременно пойдем, — сказал отец, но не двинулся с места. Седло мотоцикла было как раз рядом с ним, но он не положил на него руку.

Так и стоял, не шевельнувшись.

— Что сказал мистер Файн? — спросила я. — Зачем ты ходил к нему?

— Мистер Файн, он человек хороший. Он очень разволновался, долго извинялся. Она ему сказала, что у нас такой уговор. Что я обо всем знаю. Как же она могла такое сказать? Как могла засунуть себе такие слова в рот и сказать их?

— Папочка, я ничего не понимаю.

— Потому-то у нас дома нечего есть, — сказал отец. — Она заняла денег у мистера Файна, чтобы купить кое-что, и теперь каждую неделю он, конечно, приходит за деньгами и, конечно, она отдает ему большую часть того, что я заработал. Все эти крысы, темные подворотни, все то время, пока Боб рылся во всяких отбросах, все те дни, что нам пришлось выносить этот ужасный голод, все это ради… часов.

— Часов?

— Часов.

— Но дома нет новых часов, — сказала я. — Ведь правда же, пап?

— Не знаю. Так мне сказал мистер Файн. Часы-то не он ей продал. Он торгует только морковкой и капустой. Но она ему однажды показывала часы, когда нас с тобой не было дома. Очень кра-

сивые часы, он говорит. Сделаны в Нью-Йорке. С торонтским боем.

— Что это такое? — спросила я.

Едва я спросила это, как у отца за спиной открылась дверь и вошла мать. В руках она держала квадратный фарфоровый предмет с элегантным циферблатом, вокруг которого кто-то — несомненно, в Нью-Йорке — нарисовал маленькие цветочки.

— Я их не завожу, — произнесла она тихонько, отважным детским голоском, — потому что боюсь.

Отец встал со стула.

— Где ты купила их, Сисси? Где ты такое купила?

— В «Грэйс оф зе Уир».

— У «Грэйс оф зе Уир»? — с изумлением переспросил он. — Я в этом магазине и не был ни разу. Я бы и зайти туда побоялся, чтобы с меня за вход плату не содрали.

Мать не двигалась с места, съежившись от горя.

— Это «Ансония»,[15] — сказала она. — Их сделали в Нью-Йорке.

---

[15] Примечания: 15
Известная американская фирма по производству часов.

— Давай вернем их в магазин, а, Сисси? — попросил отец. — Отнесем их в «Грейс» и тогда решим, что делать. Мы не можем и дальше платить Файну. Тебе за них, конечно, не дадут, сколько ты заплатила, но, может, дадут хотя бы что-то — тогда бы мы могли вернуть долг мистеру Файну. Уж я бы с ним как-нибудь договорился.

— А я ни разу не слышала, как они тикают и звенят, — сказала мать.

— Ну так поверни ключ, пусть потикают. А потом и час прозвонят.

— Не могу, — сказала мать. — Тогда они их найдут. Услышат звук — и найдут.

— Кто найдет, Сисси? Мы найдем? Да мы уже, по-моему, нашли все, что можно.

— Нет-нет, — сказала мать, — крысы. Крысы их найдут.

Мать подняла на него глаза — во взгляде у нее вдруг вспыхнул какой-то жутковатый огонек, как у заговорщицы.

— А давайте-ка их лучше разобьем! — сказала она.

— Нет! — сказал отец со всем отчаянием, на какое только был способен.

— Нет-нет, так будет лучше! Расколотить их! Расколотить весь Саутгемптон! И Слайго! И вас!

Вот я сейчас как подниму их, Джо, да как грохну об пол — вот так! — тут мать и впрямь подняла часы и действительно швырнула их на тонкий и влажный пласт бетона, служивший у нас полом. — Вот так вот — и ничего больше не болит, никто никому не должен, никто ничего не терял!

Часы разлетелись по полу фарфоровыми осколками, закрутилась какая-то шестеренка, и тут в первый и в последний раз в нашем доме раздался торонтский бой часов из «Ансонии».

* * *

Сейчас мне придется написать, что вскоре после этого — почти сразу — отца нашли мертвым.

И по сей день я не знаю, что же его убило, и задаюсь этим вопросом вот уже более восьмидесяти лет. Я все разматывала нить перед вами, и куда она меня теперь привела? Все факты я вам выложила.

Правда ведь, что история с часами — не такое уж большое дело, чтоб убить человека?

Правда ведь, что та темная история с мальчиками все же была не настолько темной, чтобы навсегда повергнуть отца во тьму?

Да и девочки — да, тоже было темное дело, хотя падали они очень ярко.

Все это выпало отцу, потому что такая была у него судьба. Он был обычным человеком, и что угодно — часы или сердце — могло стать для него последней соломинкой.

На соседней улице, в заброшенном доме, где он тоже выводил крыс — вот где он и повесился.

Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, о-о-о-ох!

Знаете ли вы, какое это горе? Надеюсь, что нет. Такое горе не стареет, не исчезает со временем, как это случается с другими человеческими бедами и делами. Это горе, оно всегда там, раскачивается себе потихоньку в заброшенном доме — мой отец, мой отец.

Я плачу по нему.

Глава девятая

Наверное, мне придется упомянуть еще пару неприятностей, которые выпали на долю моего отца после смерти, когда он уже был просто огромным пирогом из крови и прошлого. Так можно — любить кого-то больше себя самого и при этом, будучи еще ребенком или почти женщиной, думать такое, когда твоего отца приносят домой, чтобы справить по нему неизбежные поминки… Мы, правда, не думали, что кто-то станет о нем справляться.

Его мотоцикл выкатил во двор наш сосед, плотник мистер Пайн, человек с холодным взглядом, который, однако же, сразу бросился нам помогать. Мне, наверное, не нужно даже говорить, что обратно мотоцикл так и не внесли, и уж ему пришлось справляться на улице самому.

На его место поставили длинный дешевый гроб, откуда торчал огромный отцовский нос. Из-за того, что он повесился, люди из похоронной конторы Сильвестра покрыли ему лицо толстым слоем белого грима — будто циферблат.

И тут на улице собралась целая толпа, и хотя мы могли выставить на стол лишь чай и ни кап-

ли виски, я поразилась тому, как все веселились и как явно сожалели о смерти отца. Пришел пресвитерианский священник мистер Эллис, и отец Гонт пришел тоже, и они, как и положено предполагаемым врагам или соперникам, обменялись парой колких фраз. Под утро наконец все разошлись, и мы с матерью уснули — или я уснула. Я рыдала, рыдала и потом все же уснула. Но такое горе — горе горькое.

Позже утром, когда я спустилась с чердака, где стояла моя узкая кровать, горе переменилось. Я подошла к отцу и сначала никак не могла понять, что я вижу. Что-то было не так с его глазами. Я как следует пригляделась.

Кто-то воткнул в каждый его глаз по маленькой черной стрелке. Острые их концы указывали в потолок. Я сразу их узнала. Это были черные металлические стрелки из часов моей матери.

Я вытащила их, как шипы, как пчелиные жала. Колючка к ведьме цепляется, а жало — к любви, как говорится в старой деревенской поговорке. Эти стрелки не были знаками любви. И что это вообще были за знаки, я не знаю. Таковы были последние страдания моего отца.

Его похоронили на маленьком пресвитерианском кладбище, при огромном скоплении

«друзей» — друзей, о которых я никогда не слышала. Те, для кого он изводил крыс или еще раньше хоронил людей.

Или те, кто ценил его за человеческую душу, которую он являл миру. Те, кому он нравился. Многих я и по именам не знала. Церемонию, конечно же, провел пресвитерианский священник, но отец Гонт стоял рядом со мной, как будто бы тоже был другом, и рассказал мне про нескольких человек, словно бы мне это было нужно.

Этого звать так-то, того — сяк-то, я забывала каждое имя, стоило ему их произнести. Но был там один человек, по имени Джо Брэди, которым отец Гонт заменил моего отца на должности смотрителя кладбища, — грузный, неприятный мужчина с пронзительным взглядом. Не знаю, зачем он пришел, и, даже несмотря на мое горе, я не очень-то хотела его тут видеть, но с похорон никого не прогоняют. Те, кто на них приходит, — это море короля Кнута.[16] Я решила думать, что он отдает дань уважения отцу. В голове у меня пылало темное, глубокое биение горя, которое стучит там, как настоящая боль, как крыса, за-

[16] Примечания: 16

Согласно старинной английской легенде, король Кнут пытался приказать морскому приливу остановиться, дабы показать своим льстивым придворным, что ему не все подвластно.

бравшаяся тебе в мозг, — горящая крыса.

Записи доктора Грена

Вдруг навалилось столько работы в клинике, что писать сюда совсем не было времени. Однако мне недоставало странной интимности этого занятия. Вероятно, для меня характерно слабое самоощущение, точнее, довольно жалкое ощущение слабости своей личности, своей души, поэтому эти записи каким-то образом мне помогают, хотя я и не знаю как. Уж вряд ли это терапия. Но хоть какой-то намек на внутренний мир. По крайней мере я очень на это надеюсь.

Возможно, надежды мои в какой-то мере оправданны. Вчера вечером я вернулся домой, еле волоча ноги от усталости, проклиная все на свете: жуткие ухабы на роскоммонских дорогах, дрянную подвеску в машине, перегоревшую лампочку на крыльце, из-за которой я ударился рукой о бетонный столб, — словом, домой я пришел в отвратительном настроении, готовый чуть что сорваться и тут.

Но Бет стояла на лестнице. Не знаю, стояла ли она там и до того, как я вошел, — наверное, потому что стояла она у окошка, разглядывая спутанный клубок палисадников, изредка проре-

женный магазинчиками. На нее падал лунный свет, и она улыбалась. Уверен, что улыбалась. И тут же всего меня охватило невероятное чувство облегчения. Точно как в тот раз, когда я впервые подумал, что люблю ее, когда она была еще молодой и прозрачной, как акварель, прекрасной и совершенной в моих глазах, все косточки и черты лица намечены одним росчерком, когда я поклялся сделать ее счастливой, обожать ее, носить на руках — стандартный набор клятв всех влюбленных, чудной и, наверное, глупый. Она отвернулась от лунного света, взглянула на меня и, к моему невероятному изумлению, пошла вниз по ступеням. На ней было простое цветастое платье, летний наряд, и лунный свет спускался вслед за нею по лестнице — она несла в себе лунный свет, она несла в себе новое сияние. И, подойдя к двери в прихожую, она вытянулась и поцеловала меня — да! да! — а я, глупец, расплакался, правда, тихо, изо всех сил сдерживаясь, пытаясь достойно принять ее благодать на благодать,[17] даже если мне это было не под силу. Затем она повела меня в гостиную, где, посреди безделушек, оставшихся от нашей жизни, обняла меня, поцеловала снова

[17] Примечания: 17

Евангелие от Иоанна, 1:16: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать».

и со страстью, от которой у меня наконец снесло голову, притянула меня к себе — самым нежным, самым яростным, самым сосредоточенным объятием, — целуя, целуя, и потом была наша маленькая любовная пьеска, которую в прошлом мы разыгрывали уже тысячи тысяч раз, и потом мы с ней лежали на нашем аксминстерском ковре, будто животные на бойне.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Голова у меня вся занята отцом, а монахиням в школе и ни словечка от меня не досталось. И теперь уж я их так и оставлю во тьме истории, не переписывая тут, хотя женщины это были интересные. К нам, девчонкам из бедных семей, они были беспощадны, но мы им это позволяли. Мы выли и рыдали, когда нас пороли, и с чистейшей завистью следили за тем, как богатым девочкам потакают во всем. В истории каждого забитого ребенка наступает момент, когда он мысленно прощается со всякой надеждой на обретение собственного достоинства, он отталкивает эту надежду, будто пустую лодку — пусть плывет себе сама по течению, — а сам низводит себя до мерила боли.

Это жестокая правда, потому что другой ре-

бенок не знает. Ребенок никогда не может сам творить свою историю. Думаю, это все знают.

Но хоть они и были к нам беспощадны, хоть и лупили нас изо всех сил, чтобы выбить из нас бесов похоти и скопища невежеств, которые в нас так и кишели, все равно женщины они были интересные. Но мне придется их отпустить.

Моя история меня поторапливает.

* * *

Думаю, все, что мы можем предложить небесам, — это людскую честность. У врат святого Петра, я имею в виду. Будем надеяться, что она будет как соль для царств, которые не знают соли, как пряности для темных стран Севера. Несколько граммов в суме души, которые нужно предъявить на входе. Что такое честность небесная, я сказать не могу. Но я говорю это, дабы укрепить себя в своем деле.

Когда-то я полагала, что красота — мое самое большое богатство. Наверное, на небесах так бы оно и было. Но не в земной юдоли.

Быть одной и при этом время от времени преисполняться высочайшей радостью, как это бывает со мной, — вот величайшее богатство. Вот я сижу за столом, который хранит следы и метки

десятков поколений заключенных, пациентов, ангелов — кем бы мы там ни были, — и должна сказать, что вдруг во мне вспыхивает какое-то золотое чувство, глубоко-глубоко в крови. Это не счастье, это молитва, столь же дикая и опасная, как рев льва.

Я говорю это вам, вам.

Дорогой читатель, храни вас Бог, храни вас Бог.

* * *

А могу ли я вот так обойти этих монахинь? Можно ведь на минутку задержаться подле такого смешения жестокости и скромности. Но нет, я все-таки обойду их. Но в последующие годы я много раз видела во сне, как они спешат мне на помощь, эти их белые платки на головах, будто цветы лотоса, которые вдруг столпились на главной улице Слайго, — конечно же, в реальности ничего такого никогда не случалось. И я даже не знаю, с чего я могла вообразить, будто для такого сна есть основания, потому что не припомню, чтобы мне в их заведении сделали хоть малейшую поблажку. И, конечно, как того и требовала моя история, я навсегда ушла от них, когда мне исполнилось шестнадцать.

Мои воспоминания об отце Гонте всегда до лю-

бопытного точные и четкие, очень яркие, и лицо его я помню ясно и отчетливо. Я пишу это и в ту же секунду вновь вижу его мысленным взором в тот день, когда он пришел ко мне с собственной версией моего спасения.

Я сразу поняла, что после смерти отца мне придется бросить школу, потому что разум моей матери забрался в ее голове куда-то на самый чердак, где не было ни окон, ни дверей, ну или, по крайней мере, я не могла их отыскать. Чтобы нам не остаться без пропитания, мне нужно было найти хоть какую-то работу.

Однажды отец Гонт пришел к нам в этой своей гладенькой сутане — это я безо всякого зла пишу — и, поскольку на улице шел тот особый местный дождь, который превратил в трясину тысячи старых ферм, он еще был укутан в гладкое темно-серое пальто, сделанное из схожего блестящего материала. Быть может, кожа на его лице была тоже из него сделана, давным-давно, еще во чреве матери. В руках у него был зонтик чрезвычайно духовного вида, будто какое-то живое и строгое существо, которое молится на ночь, отходя ко сну в подставке для зонтов.

Я открыла ему дверь, усадила его в гостиной. Отцовское пианино по-прежнему стояло тут, при-

слонившись к стене, такое же живое, как зонтик, и будто бы вспоминало отца всеми клеточками струн и клавиш.

— Спасибо, Розанна, — сказал отец Гонт, когда я вручила ему чашку чаю, который мне героически удалось нацедить из заварки на фартинг, которую до того я уже заваривала три раза. Но я надеялась, что оттуда еще удастся выжать самую последнюю каплю чая, который ведь добирался сюда из самого Китая, на торговом корабле Джексона. Мы покупали чай в лавке на углу, а не в одном из громадных магазинов «Блэквудз», где закупались только местные богачи, так что, наверное, чай-то был не самый лучший. Но отец Гонт потягивал его очень вежливо.

— Не найдется ли капли молока? — спросил он любезно, так любезно.

— Нет, отец.

— Не важно, не важно, — сказал он, впрочем, с заметным сожалением. — Нам с тобой, Розанна, теперь нужно поговорить кое о чем, да, кое о чем поговорить.

— Да, отец?

— Теперь, когда твой несчастный отец умер, что ты собираешься делать, Розанна?

— Брошу школу, отец, и найду работу в городе.

— Примешь ли ты мой совет?

— М-м-м… — отозвалась я.

Какое-то время он попивал чай, улыбался мне своей духовной улыбкой — не самый широкий репертуар. И даже сейчас я знаю, что он старался исполнить свой долг, быть добрым, быть полезным. Я это знаю.

— Ты, Розанна, наделена различными чертами и явно одарена, если я могу так выразиться…

Он сделал паузу, не говоря, чем же именно я одарена. Я чувствовала, что это его «что-то» что-то не слишком изящное. Он рылся в арсенале своих фраз в поисках самой правильной фразы. Нет, он ни в коем случае не хотел обидеть меня, даже не пытался. Думаю, он бы скорее умер, чем сказал что-то неприятное.

— … красотой, — договорил он.

Я поглядела на него.

— Ты одарена красотой, Розанна. Я думаю, что без особого труда мог бы — при этом, конечно, всячески учитывая мнение твоей матушки и даже твое, хотя я надеюсь, что мне позволено будет сказать, что ты еще сущее дитя, а значит, нуждаешься, весьма нуждаешься в наставлении и, если мне будет позволено сказать… но что я хотел сказать? Ах да, я хотел сказать, что в городе

смогу очень быстро, очень просто, без особых затруднений и самым достойным образом найти тебе мужа. Но, разумеется, сначала нужно будет кое-что предпринять.

Отец Гонт, как говорится, воодушевился. Чем больше он говорил, тем легче ему давались слова, все они были такие миленькие, такие медово-молочные. Как любой, кто наделен властью, он был невероятно счастлив, делясь своими идеями — до тех пор, пока эти идеи встречали одобрение.

— Не думаю, что… — начала было я, пытаясь откатить назад огромный булыжник здравого смысла, который он хотел обрушить мне на голову — такие у меня были чувства.

— Пока ты еще ничего не сказала — знаю, тебе всего шестнадцать, и, разумеется, выходить замуж так рано несколько необычно, но, с другой стороны, у меня на примете имеется один весьма подходящий мужчина, который, я уверен, высоко оценит твои достоинства, если уже не оценил, и заработок у него постоянный, а значит, он сможет содержать тебя — вместе с матерью, конечно.

— Я могу нас содержать. Уверена, я могу, — сказала я, и никогда я еще не была в чем-то так не уверена.

— Ты, наверное, его знаешь, это Джо Брэди,

который стал работать на кладбище после твоего отца, человек он надежный, добрый, приятный, жена его умерла два года назад, и он уж будет не прочь вновь жениться. В жизни следует стремиться к своего рода симметрии, и раз уж твой отец когда-то был… Гм… Детей у него нет, так что я уверен…

Верно, я знала Джо Брэди, человека, который отнял у отца работу и приходил посмотреть, как его хоронят. Насколько я знала — или насколько видела, — лет ему было около пятидесяти.

— Вы хотите, чтобы я вышла за старика? — спросила я во всей своей невинности.

Но уж, наверное, от великодушной благотворительности такого рода вряд ли стоило ожидать мужчину моложе тридцати. Если бы мне вообще был нужен мужчина.

— Розанна, ты прелестная юная девушка, и я боюсь, что если такая девушка будет разгуливать по городу, то станет печальным искушением не только для юношей, но и для многих мужчин в Слайго, а посему твое замужество будет благом, это будет правильный поступок, логичный и достойный в своей… правильности.

Его красноречие тотчас же увяло, наверное, потому что тут он поглядел мне в лицо. Уж не

знаю, что там было, на моем лице, но согласием это не назовешь.

— И, конечно же, мне будет так приятно, так легко и радостно стать проводником, стать даже, наверное, автором твоего перехода в лоно церкви. Что, я надеюсь, ты сочтешь мудрым и поистине замечательным, волшебным решением.

— Перехода? — спросила я.

— Ты ведь прекрасно знаешь, Розанна, о недавних волнениях в Ирландии, и во время этих волнений всем протестантским сектам несладко пришлось. Сам я, конечно, уверен, что ты серьезно заблуждаешься и, если продолжишь упорствовать в этом заблуждении, то погубишь свою душу. Однако же мне жаль тебя, и я желаю тебе помочь. Я смогу найти тебе хорошего мужа-католика, который закроет глаза на твое происхождение, потому что, если мне снова будет позволено это сказать, ты наделена невероятной красотой. Розанна, ты и впрямь самая прекрасная девушка у нас в Слайго.

Он сказал это с такой простотой и такой явной — я чуть не сказала — «невинностью», чем-то очень на нее похожим, и сказал это так мило, что я против своей воли заулыбалась. Это было как получить комплимент от старой дамы из

высшего общества Слайго, какой-нибудь миссис Поллексфен или миссис Миддлтон, в горностае и добротном твиде.

— Глупо, конечно, что я тут тебе льщу, — сказал он. — Все, что я хочу сказать: если ты позволишь мне взять тебя под крыло, я помогу тебе, и я очень хочу тебе помочь. Я также хочу добавить, что всегда высоко ценил твоего отца, несмотря на то что он поставил меня в неловкое положение, и я действительно любил его, потому что он был честной душой.

— Только пресвитерианской, — сказала я.

— Да, — ответил он.

— Моя мать из Плимутских братьев.[18]

— Что ж, — сказал он, и впервые в его голосе показались нотки враждебности, — не стоит об этом думать.

— Но я должна думать о своей матери. И всегда буду думать о ней. Это мой долг.

— Твоя мать, Розанна, очень больна.

Ладно, я просто не слышала, чтобы это говорили вслух, и мне было неприятно это слышать. Но да, я знала, что это правда.

— И скорее всего, — сказал он, — тебе придется

---

[18] Примечания: 18

Консервативная протестантская община, были распространены в Англии и Ирландии в первой половине XIX века.

сдать ее в лечебницу. Надеюсь, я не слишком тебя пугаю?

Ох, как же он пугал меня. Стоило ему произнести эти жуткие слова, как в животе у меня все перевернулось, а все мышцы заныли в своих решетках из костей. Не успев понять, что я делаю, я внезапно и неумолимо сблевала на коврик прямо передо мной. Отец Гонт отдернул ноги с поразительной быстротой и аккуратностью. На полу лежали остатки чудесного тоста, который я приготовила нам с матерью на завтрак.

Отец Гонт поднялся.

— Тебе, наверное, нужно тут прибрать?

— Я приберу, — ответила я, прикусив язык, чтобы не извиниться. Отчего-то я знала, что никогда не должна извиняться перед отцом Гонтом и что отныне он станет непонятной силой, вроде погодного катаклизма, который приносит в округу разрушения безо всякого прогноза, без чьего-либо ведома.

— Отец, я не могу поступить так, как вы говорите. Не могу.

— Ты ведь подумаешь об этом? С горя ты можешь принять неверное решение. Я все понимаю. Мой отец умер от рака пять лет назад, умирал он тяжело, и я по-прежнему оплакиваю его. Помни,

Розанна, что горю срок — два года. Ты еще долго не сможешь ни о чем как следует подумать. Прими мои наставления, позволь мне наставлять тебя *in loco parentis*, то есть стать тебе отцом вместо твоего отца, как и подобает священнику. Мы с ним так часто общались, да и с тобой тоже, что ты уже почти пришла в нашу веру. Это спасет твою бессмертную душу, спасет тебя в этой юдоли скорбей и слез. Защитит тебя от всех бурь и несчастий этого мира.

Я покачала головой. Я и сейчас вижу, как я там качаю головой.

Отец Гонт тоже покачал головой, но совсем по-другому.

— Ты ведь подумаешь об этом? Подумай, Розанна, и потом мы снова с тобой поговорим. Сейчас у тебя такое время, когда ты находишься в наибольшей опасности. Всего хорошего, Розанна. Спасибо за чай. Чай был превосходный. И поблагодари от меня свою матушку.

Он прошел в крошечную прихожую, затем на улицу. И только когда он ушел, ушел так далеко, что вряд ли мог меня услышать и только запах его одежды отчего-то задержался в комнате, я сказала:

— До свидания, отец.

Глава десятая

День доктора Грена. Он сбрил бороду! Не помню, писала ли я тут про его бороду. На мужчине борода — это на самом деле способ что-то спрятать, не только лицо, но и внутренние проблемы, вроде как возвести забор вокруг тайного сада или набросить покрывало на клетку с птицей.

Я б хотела сказать, что не узнала его, когда он вошел, потому что так обычно говорят, но я его узнала. Я сидела и писала, когда его шаги раздались в коридоре, и едва успела упрятать все под половицу, как он постучался и вошел — нелегкая задача для древней *cailleach*[19] вроде меня.

Cailleach — это старая карга из сказок, когда ведунья, а когда и ведьма. Мой муж Том Макналти был мастер рассказывать такие сказки и рассказывал их с невероятным увлечением, потому что верил каждому их слову. Как-нибудь, если захотите, я вам расскажу про двухголовую собаку, которую он видел на старой дороге в Инишкрон. Хотя откуда мне знать, чего вы хотите? Я уж привыкла думать, что вы там есть где-то, где-то там.

---

[19] Примечания: 19
Старуха, ведьма, колдунья *(гэльск.).*

У этой *cailleach* с головой неладно! У старой повитухи. А я повитуха лишь своей старой сказке. А уж это те еще роды.

Доктор Грен был весь какой-то тихий, подавленный и блестящий. Наверное, он втер в кожу лица какой-то лосьон, после того как побрился, чтобы воздухом сильно не прихватывало. Он подошел к столу — я сама теперь сидела на кровати, посреди крохотных ландшафтов покрывала, наверное, это какие-то сценки из французской жизни, там мужчина тащит осла и еще что-то — и тут доктор Грен взял со стола отцовский экземпляр *Religio Medici* и стал его листать. Когда отец умер, я с удивлением обнаружила, что книга эта была напечатана в 1869 году, хоть и знала, что у отца она была с очень давних времен. Его имя, место — Саутгемптон и дата — 1888 были написаны карандашом на форзаце, но я все равно надеялась, что в юные руки отца эта книга попала из рук его отца, которого я, конечно, ни разу не видела. Так ведь могло быть. Поэтому когда я держу эту книгу в руках, то кажется, будто этот маленький томик помнит историю рук, рук моей родни. Одинокому человеку родня служит утешением, особенно в ночные часы, даже если это всего лишь воспоминания.

Поскольку я так хорошо знала эту книжечку, то могла угадать, на что там смотрит доктор Грен. На картинку сэра Томаса Брауна с бородой. Быть может, пока он глядел на бороду — а на круглом эстампе это такой заметный, выдающийся предмет, — то мог и пожалеть о том, что сбрил свою. Отпечатано в типографии «Сэмпсон Лоу, сын и Марстон». Прекрасно как — про «сына». Сын Сэмпсона Лоу. Кем он был, кем он был? Был на побегушках у отца или же пользовался любовью и уважением? Комментарии в книге — Дж. У. Уиллиса. Имена, имена, ушедшие, позабытые, так, птичье чириканье в зарослях повседневности. И если Дж. У. Уиллис может умереть в забвении, то уж насколько проще это мне? Хоть что-то у нас есть общее.

Сын. Это все, что я знаю о собственном сыне. Сын Розанны Клир.

— Старая книга, — заметил доктор.

— Да.

— Джо Клир — чье это имя, миссис Макналти?

На лице у доктора появилось озадаченное выражение, очень-очень задумчивое, как у мальчишки, который пытается решить математическую задачку. Был бы у него карандаш, уж он точно бы лизнул грифель. Он сбрил бороду и

больше не прятал лицо, поэтому я вдруг почувствовала, будто за мной должок.

— Моего отца, — ответила я.

— Так он был человеком образованным?

— Это так. Он был сыном священника. Из Коллуни.

— Коллуни, — повторил он. — Коллуни столько пришлось пережить в двадцатые, — сказал он. — Я рад, что когда-то там жил человек, который читал *Religio Medici*.

По тому, как медленно он произнес последние два слова, я поняла, что он никогда раньше не видал этой книги.

Доктор Грен принялся листать дальше, пропустив предисловие в поисках начала, как это обычно все делают.

— «Моему читателю. Верно, что человек алчет жизни, поскольку жаждет жить даже тогда, когда весь мир клонится к закату…»

У доктора Грена вырвался странный смешок, совсем не настоящий смех, а будто короткое рыдание. Затем он положил книгу на место.

— Понятно, — сказал он, хоть я ни слова не произнесла.

Быть может, он разговаривал со старым бородатым лицом из книжки или с самой книжкой.

Семьдесят шесть было Томасу Брауну, когда он умер, — совсем мальчишка по сравнению со мной. Умер в свой день рождения, и такое случается иногда. Доктору Грену, я думаю, лет шестьдесят или около того. Никогда не видела его таким мрачным. Он, конечно, не из тех, кто вечно отпускает шуточки, но иногда видна в нем какая-то необычайная легкость. По сравнению с несчастным Джоном Кейном и всеми его грехами, всеми слухами о приписываемых ему изнасилованиях и прочих проступках тут, в лечебнице, доктор Грен — просто ангел. Быть может, по сравнению и с многими другими людьми, но этого уж я сказать не могу. Если сам доктор Грен чувствует, будто его прибило к ужасным берегам этого приюта, если он сам себя считает вчерашним днем, то для меня он — будущий день, завтрашний день. Так я думала, пока глядела на него, пытаясь развязать узелок этого его нового настроения.

Доктор Грен подошел к маленькому стулу у окна, где я люблю сидеть, когда погода чуть налаживается. Иначе оттуда тянет таким холодом, который, кажется, проникает прямо через стекло. За окном — двор, высокий забор и бесконечные поля. Говорят, там за горизонтом — Роскоммон, наверное, так оно и есть.

Там, в полях, течет река, которая летом подхватывает свет и подает им сигналы через мое окно, но кому она сигналит и о чем, я не знаю. Речной свет играет на стеклах. Естественно, я люблю там сидеть.

Но как бы там ни было, а доктор Грен всем своим весом опустился на стул — тут я всегда немного беспокоюсь, потому что это хрупкий стульчик на гнутых ножках, в деревнях женщины любят держать такие у себя в спальнях, чтобы складывать на них одежду, даже если этот стул — единственная приличная вещь в доме. Как уж такой стул попал сюда, одному Богу известно, да и Он-то, наверное, запамятовал.

— Миссис Макналти, вы не помните ли, как все случилось — то есть как вы попали в лечебницу в Слайго? Помните, я говорил вам, что так и не смог отыскать записей об этом? Я поискал снова и снова ничего не нашел. Боюсь, что история вашего пребывания и здесь, и в Слайго утрачена навсегда. Но я продолжу свои поиски и вот еще отправил запрос в Слайго, на случай, если у них там что-то сохранилось. Но вы помните хоть что-нибудь?

— Наверное, и не вспомню. Говорили, что это Постоялый двор Лейтрима. Это я помню.

— Что?

— Лечебницу в Слайго называли Постоялым двором.

— Вот как? Не знал. Отчего же? А-а, — сказал он, едва не рассмеявшись, едва — потому что… конечно.

— Потому что там побывала добрая половина Лейтрима.

— Жалко Лейтрим.

— Да.

— Чудное слово — Лейтрим. Что бы это значило? Ирландское слово, наверное. Ну, конечно, ирландское.

Я улыбнулась ему. Он был похож на мальчишку, который разбил колено, и теперь боль наконец унялась. Детская бодрость, после слез и боли. И тут он снова как-то просел, уходя куда-то в черноту себя, будто крот в землю. Я ответила ему только, чтобы вытащить его обратно.

— Я помню страшные темные дела, утрату и шум, но все это походит на какую-то жуткую потемневшую картину, из тех, что в церквях вешают, уж не знаю зачем, потому что на них ничего нельзя разглядеть.

— Миссис Макналти, это же прекрасное описание травматического воспоминания.

— Правда?

— Правда.

И тут он надолго погрузился в молчание. Сидел так долго, будто самый настоящий пациент! Как будто бы он сам тут жил и ему было некуда идти, нечего делать и некого повидать. Так он сидел в ледяном свете. Река, утонувшая в собственной воде и повторно утонувшая в февральских дождях, никак не могла отбрасывать свет. Оконное стекло было строго оконным стеклом. Только замершая зимняя трава далеко внизу подбрасывала ему пару зеленых пятнышек. Его глаза, которые теперь, когда не было бороды, отчего-то казались чище и выразительнее, глядели вперед, будто бы на какой-то предмет неподалеку — так люди обычно глядят с портретов. Я сидела на кровати и безо всякого стеснения разглядывала его, потому что он на меня совсем не глядел. Он всматривался в эту странную часть картины — средний план, — самую таинственную, самую человеческую и самую богатую из всех частей. И из глаз его полились слезы, безупречные человеческие слезы, пока еще не тронутые миром. Река, окно и глаза.

— Что такое, доктор Грен? — спросила я.

— Ох, — отозвался он.

Я встала и подошла к нему. Вы бы так же по-

ступили. Это старинная привычка. Что-то тебя так и подталкивает к внезапному горю, хотя и отталкивает иногда. Тогда отходишь. Я подошла, ничего не могла с собой поделать.

— Пожалуйста, не обращайте внимания, если я тут постою с вами немножко, — сказала я. — Меня мыли вчера. От меня не воняет.

— Что? — спросил он, сильно удивившись, но тотчас же забыв об этом. — Что?

Я встала подле него и положила правую руку ему на плечо, точнее, на спину. Вдруг ожило непрошеное воспоминание: отец сидит на кровати, обнимает мать и похлопывает ее по спине, почти как ребенка. Я не осмелилась похлопать доктора Грена по спине, просто задержала там свою старую руку.

— Что такое? — спросила я.

— Ох, — ответил он. — Ох. У меня жена умерла.

— Жена?

— Да, — сказал он, — да. Не смогла дышать. Она все задыхалась, задыхалась — и задохнулась.

— Бедный вы мой, — сказала я.

— Да, — ответил он. — Да.

Так я кое-что узнала о докторе Грене. Я уже открыла было рот, чтобы рассказать ему что-то о себе, чему помогло отсутствие бороды, но тут

он сам сообщил мне важные новости, самую важную информацию.

Тихонько, с бесконечной печалью, он добавил:

— И еще у меня сегодня день рождения.

* * *

Вот вам история моей глупости. До чего я глупа — и поверить сложно.

Я так хотела поговорить с отцом, а отец умер. Пару раз я сходила к его могиле на пресвитерианском кладбище, но подумала, что там его вряд ли отыщу. Наверное, отца не было в его костях, наверное, сам его пульс, самая его сущность были где-то еще.

На улице был удобный полумрак декабрьского вечера, к четырем уже темнело. Я прекрасно знала, что старые ворота на другом кладбище будут открыты, но возможно ли будет проскользнуть в темноте в эти ворота и оказаться среди могил так, чтобы меня никто не заметил?

Я была уверена, я надеялась на то, что если отца и можно найти где-то, то что-то точно должно остаться здесь, какой-нибудь старый перекресток кустов, тропинок и могил вдруг может стать чем-то вроде древнего радиоприемника, который примет его позывные.

И вот я прокралась туда, в своем старом голубом платье и пальто, тонкая и длинная, как цапля, и уж я в этом наряде точно походила на цаплю: длинная шея и несформировавшееся еще лицо так и высовывались из воротника навстречу холоду.

Какой же покой снизошел на меня при виде этих расходящихся дорожек, тихих надгробий, знакомых цифр на железных указателях возле каждой могилы, которые совпадали с записями в кладбищенской книге — ее для сохранности держали в каменной часовенке. Желтый свет застрял в редком лесочке из невысоких деревьев, которые росли на главных дорожках, такими маленькими и чахлыми их сделало само дыхание смерти. Я подтянула повыше воротник пальто и, не думая о том, что делаю, находясь совсем в другом времени, пробралась до входа в часовню, перед которым могилы расходились полукругом.

Там были колонны, старая заостренная арка с выцветшими скульптурами — разные древнегреческие герои из забытых войн и времен — и чуть приоткрытая железная дверь на тяжелых петлях, и столь желанный свет от жаровни и лампы, который был настроен на волну моего отца. Даже и не вспомнив о настоящем или, другими словами,

совершая огромную глупость, я прокралась навстречу этому свету, думая — сердце так и тянуло меня туда, — что я сейчас снова окажусь в столь нужном мне укрытии из света, тепла и беседы. Дверь была открыта ровно настолько, чтобы я смогла пройти.

Ничего не переменилось. Все внутри так и говорило о моем отце. Его чайник так и стоял на колченогой подставке возле жаровни, где уже угасали угли, его эмалированная кружка, да и моя тоже — на столе, там же были аккуратно сложены несколько книг и гроссбухов, и даже следы на затертом сизом полу были те же. Глаза у меня открывались все шире и шире, и лицо расцветало, и вот я уже была абсолютно уверена, что скоро окажусь рядом с ним, что скоро меня утешат, успокоят, дадут верный совет.

И тут вдруг меня резко и внезапно с силой толкнули в спину. Я совсем не ожидала такого в отцовском пристанище. Пошатнувшись, теряя равновесие, я пролетела несколько шагов вперед и, чтобы не упасть, резко выпрямилась, от чего в желудке как-то мерзко екнуло. Повернувшись, я увидела, что в дверях стоит странный человек. Под тужуркой, которая явно была ему тесна, виднелось брюхо, и формой, и видом похожее

на корку магазинного хлеба. Лицо его казалось суровым из-за до странного впалых щек и кустистых стариковских бровей, вот только самому ему было, наверное, чуть за пятьдесят. Нет, нет, ну конечно же, я знала его, конечно. Это был Джо Брэди, человек, который заменил моего отца.

Говорил же мне отец Гонт! Почему же я напрочь об этом забыла? Да что же я тут делаю? Скажете, мол, помешалась, умом тронулась. Выглядел он уж совсем не как ухажер, ничего подобного. Вид у него был злой, и он все вертел головой и глядел тоскливо и пронзительно, как тогда на кладбище. Тоскуя по отцу, о нем я и не вспомнила ни разу с тех самых пор, как его сватал отец Гонт.

В аду нет фурии страшнее, чем женщина, которую презрели — наверное, так оно и есть, но по опыту могу сказать, что мужчины не лучше. Ужас рос во мне прямо от холодных плит пола, ужас такой силы, что должна признать — уж простите старуху, которая вспоминает тут всякие кошмары, — я беспомощно описалась. Уверена, даже в тусклом свете жаровни он это увидел и поэтому или, быть может, еще по какой причине рассмеялся. Смеялся он, как рычат псы, когда боятся, что на них наступят, смех-угроза, если такое бывает. И потом, в книгах ведь пишут, что,

мол, человеческий смех зародился, когда древние люди корчили разные гримасы и рычали. В тот день я в этом уверилась, совершенно точно.

— Меня ты не захотела, — сказал он, первый раз в жизни заговорив со мной (как же меня это поразило), — и решила остаться безбожной девкой.

Он приблизился ко мне, и уж не знаю, что он собирался сделать. Но пока он надвигался, мне казалось, что в нем и впрямь пробудилось что-то древнее и неумолимое. Безмолвная часовня на безмолвном кладбище, декабрьская тьма и что-то во мне, чего он жаждал. Казалось, что по мере приближения вся человечность стирается с его лица, что-то более нутряное и более темное, чем человечность, что-то, что зародилось в нас еще до того, как мы обрели наши беспокойные души, читалось в его глазах. Сейчас, через такое невозможное количество лет, мне кажется, что он хотел убить меня, но с чего бы — я не знаю. Была у этого Джо Брэди какая-то история, которую я только что задела, и уж какие грандиозные планы у них там были с отцом Гонтом, я и не знаю. Я искала своего отца, но, похоже, нашла своего убийцу. И вдруг, внезапно обретя голос, я закричала. Я взревела!

И тут позади него показался другой мужчина.

Повезло же мне, что в таком уединенном месте оказался еще кто-то. К тому времени Джо Брэди уже сделал ко мне последний шаг и — так, будто бы желал этого превыше всего на свете — ухватил меня за цыплячью шею и потянул к себе. И тут я как-то поняла, совершенно ничего не понимая, что он копается у себя в штанах, чтобы выпустить наружу, что у него там было. Господи Боже, мне было всего шестнадцать, и хотя я знала про птичек и пчелок, больше я не знала ничего, кроме того, что иногда проходишь мимо парня и что-то вдруг в тебе подымается, но отчего — не знаешь. На том этапе своей жизни я была, наверное, самой невинной девушкой в Слайго, и даже сейчас я пишу и ясно помню, что сначала подумала, что он вытаскивает из карманов нож или пистолет, так как до того я видела, как именно оттуда вытаскивали оружие, из которого потом стреляли.

Будто бы в унисон с этой моей мыслью, человек, стоявший у Джо Брэди за спиной, и впрямь достал оружие, огромный, тяжеленный карабин и опустил его на затылок Джо Брэди таким движением, будто в руках у него был серп, которым он собирался срезать чертополох. И все это я увидела и запомнила, хоть и тонула тогда в ужасе. Джо Брэди с первого удара он не уложил, но тот упал

на колени, я с отвращением и болью заметила, что между ног у него болтается разбухший пенис, и закрыла лицо руками.

Второй мужчина вновь размашисто ударил его своим карабином. Я тогда подумала: неужели у всех тут есть оружие, неужели мне суждено тут всегда его видеть? Джо Брэди теперь тихо лежал на полу. Я отняла руки от лица и поглядела на него, затем поглядела на того, кто стоял за ним. Это был тощий черноволосый парень.

— Эй ты, жива? — спросил он. — Это твой отец?

— Нет, это не мой отец, — ответила я, уже на пути к истерике. — Мой отец умер.

— Ясно, — сказал парень. — Не помнишь меня? Я тебя помню.

— Нет, — сказала я. — Не помню.

— Ну, — сказал он, — мы как-то встречались. Я уезжаю в Америку и зашел попрощаться со своим братом Вилли.

— Кто это? — тупо спросила я. — Что он тут делает?

— Да похоронен он тут. Не помнишь, что ли? Это ж ведь ты та девчонка, что привела к нему того чертова священника да и, наверное, солдат вместе с ним? Так вот, те солдаты нас забрали,

кое-кого убили, а я чудом выбрался и сбежал домой.

— Я знаю, — сказала я. — Я тебя знаю.

И его имя всплыло у меня в голове, быть может, только потому, что отец однажды произнес его, когда читал газету в нашей маленькой гостиной, или это было тут, на кладбище?

— Ты Джон Лавелл. С островов.

— Джон Лавелл с Инишке. И я уезжаю отсюда, подальше от этой вонючей гнилой страны, с ее гребаной клятвой верности и покойниками, которых она предала.

Я так и уставилась на него. Ну и призрак мне явился.

— И раз уж я сделал доброе дело и спас тебя, — сказал он со злой отвагой в голосе, — доброе дело, которое ты-то для меня не сделала, так, может, скажешь мне, где могила моего брата, потому что я тут ходил туда-обратно и никак не сумел его отыскать.

— Я не знаю, не знаю, — ответила я. — Но… но в книге, наверное, записано, вон она, лежит на столе. А этот человек, что, умер?

— Не знаю, умер он или нет. Забавно, что это не твой отец, хотя я б его все равно прибил. Знаешь ведь, твоего отца приговорили к смерти за то,

что он сделал. Или не он, а ты — за то, что солдат тогда привела. Но девчонок мы не убиваем.

— Думаю, вы и девчонок могли бы убивать, если б захотели. Как это — отца приговорили к смерти?

— Пока еще шла война, мы ему послали письмо, где объявили ему смертный приговор, — повезло ему, что после войны мы решили его не разыскивать.

— Повезло? — слова хлынули у меня изо рта потоком ярости. — Да он был самый невезучий человек во всей Ирландии! Он лежит в могиле на соседнем кладбище. Письмо ему послали? Разве вы не знали, как тяжко ему потом пришлось? Какая судьба его ждала? Я так и думала, что чего-то еще не знаю! Ты, ты, ты убил его! Ты убил его, Джон Лавелл!

Теперь этот Джон Лавелл умолк. Его выцветшее взволнованное лицо переменилось. Внезапно он заговорил очень ровно, даже вежливо. Почему-то, я до сих пор не могу осознать почему, я знала, что говорю неправду. И горжусь, что смогла понять это. Что бы там ни натворил этот юноша, отца моего он не убивал.

— Ну, — сказал он, — жаль, что твой отец умер. Да, мне жаль. Ты ведь знаешь, моих товарищей

убили. Забрали их и расстреляли безо всякой жалости, ирландцы убили своих же ирландцев.

Внезапная перемена в нем была заразна, как простуда, и я ее подхватила.

— И мне тоже их жаль, — сказала я.

И отчего я вдруг почувствовала себя так глупо и неловко?

— Мне так жаль их всех. Я не приводила солдат. Даже и не думала. И наплевать мне, если ты думаешь, что я их привела. Мне наплевать даже, если ты меня пристрелишь. Я любила отца. А теперь и твои товарищи умерли, и отец мой умер. Я никому и слова не сказала, кроме священника, и по дороге даже никого не встретила. Неужели непонятно, что солдаты следили за вами? Думаете, вас никто не видел? У этого города есть глаза. Уж не волнуйся, этот город знает все секреты.

Он все глядел на меня своими глазами странного цвета подгнивших водорослей. В глазах у него были водоросли его острова. Кто знает, может, водоросли перекатывались во чревах их женщин, людей, вышедших из моря, словно те первые бахромчатые создания при сотворении мира, если верить тому, что пишут в книгах.

И тут взгляд его стал чище, он поглядел на меня, и я впервые увидала, что еще таилось в Джоне

Лавелле — что-то вроде доброты. Сколько такой доброты война покрыла трупами и струпьями, я и не представляла.

— Покажешь мне могилу брата? — спросил он таким голосом, каким обычно говорят: «Я люблю тебя».

— Покажу, если найду.

Я взяла ту книгу и принялась просматривать записанные в ней имена. Там были прекрасные синие строчки, выведенные отцовским каллиграфическим почерком, рукой подлинного писца, хотя уж им он никогда не был. Я отыскала его под буквой «Л» — Вилли, Вилли Лавелл. Я запомнила нужные цифры и, будто бы я и была отцом, а не девчонкой шестнадцати лет, которую только что сбили с ног и чуть не изнасиловали, прошла мимо обмякшего тела Джо Брэди, мимо Джона Лавелла, пошла по кладбищенским улочкам и отвела Джона Лавелла к его брату, чтобы он мог с ним попрощаться.

* * *

Потом Джон Лавелл, наверное, уехал в Америку, потому что много времени прошло, прежде чем он снова дал о себе знать.

Джон Лавелл отправился в Америку, а я от-

правилась в место под названием кафе «Каир», которое было гораздо ближе.

Глава одиннадцатая

Джон Кейн пришел сегодня с невероятным заявлением. Сказал, что подснежники в этом году ранние. Вот уж от кого не ждешь рассказов про подснежники. Говорит, в дальнем саду, куда позволено заходить только сотрудникам лечебницы, он видел цветущий крокус. Он все это очень любезно рассказывал, стоя посередине комнаты со шваброй в руках. Вообще-то он зашел вымыть пол, рассказал мне про эти чудеса и ушел, так ничего и не помыв. Наверное, его отвлек этот внезапный приступ поэзии. Что вновь доказывает — мало кто всю жизнь держится своего характера, люди все время от себя отступают. Однако же он по-прежнему не знался с умывальником, и ширинка у него была расстегнута, как обычно. Однажды какой-нибудь зверек заметит его расстегнутую ширинку, залезет туда и станет там жить, будто ежик в манящем сыром ясеневом дупле.

Я пишу это все очень спокойно, хотя спокойной меня сейчас ну никак не назовешь. После обеда заходил доктор Грен, просидел час. Меня поразило его посеревшее лицо, и вдобавок он еще был

в темном траурном костюме, потому что только что вернулся с похорон жены. Он называл ее Бет, наверное, это сокращение от Бетти, а это сокращение — от какого имени? Я даже не помню. Наверное, от Элизабет. Сказал, что на похоронах было сорок четыре человека, он их всех сосчитал. Я подумала, что на моих-то будет еще меньше, гораздо меньше, никого там не будет, если только доктор Грен не придет. Но какое это имеет значение. Горе было видно во всех его морщинках, и на месте сбритой бороды у него теперь была яркая красная сыпь, до которой он то и дело осторожно дотрагивался.

Я сказала, что в такой день на нас не стоило бы тратить время, но он ничего не ответил.

— Я тут внезапно нашел кое-какие дополнительные материалы, — сказал он. — Уж не знаю, помогут ли они нам, так как речь там идет о делах давно ушедших дней. Как говорится.

Кто это так говорит? Люди, с которыми он общается? Старики времен его молодости? Когда доктор Грен был молод? Наверное, в пятидесятых — шестидесятых годах прошлого века. Когда королева Елизавета была молодой, а Англия — старой.

— Это небольшой отчет, написанный много лет

назад, — я даже не знаю, был ли он сделан здесь или попал сюда вместе с вами, когда вас перевели из Слайго. Тогда я хотя бы могу надеяться на то, что у них сохранился оригинал. Копия отчета в очень плохом состоянии, бледная машинопись под копирку, чего и следовало ожидать. Да и та нашлась не целиком.

И впрямь, будто после раскопок в египетских пирамидах. Там говорится, что ваш отец состоял в Королевской Ирландской полиции[20] — давно я не встречал этого названия, — и приводятся обстоятельства его смерти, даже, можно сказать, убийства. Мне было очень тяжело прочитать об этом. Не знаю, но я вдруг почувствовал, что должен вас сегодня повидать, несмотря на мои нынешние… затруднения. Все в отчете показалось мне столь свежим, столь недавним, наверное, потому, что я сейчас очень чувствителен к любой беде и любым бедам. Наверное. Я очень расстроился, Розанна. В основном потому, что я ничего не знал.

Его слова нависли надо мной — такие тяжелые слова.

— Наверное, это про кого-нибудь другого, —

[20] Примечания: 20

Основная полицейская организация в Ирландии в конце XIX — начале XX вв.

сказала я.

— Вот как? — спросил он.

— Да, — ответила я. — Вы, может быть, зря расстраиваетесь. По крайней мере из-за меня.

— Так это не про вашего отца?

— Нет.

— Что ж, рад это слышать. Но там стояло ваше имя — Розанна Макналти.

— Вы меня зовете миссис Макналти, а за этим именем стоит другая история. Меня бы лучше звать девичьим именем.

— Но вы ведь были замужем?

— Да, замужем за Томом Макналти.

— Он умер?

— Нет, нет.

Но больше я не смогла ничего прибавить.

— В отчете говорится, что ваш отец был полицейским в Слайго в двадцатых, в самый разгар беспорядков, и трагически погиб от рук республиканцев. Признаюсь честно, в этой теме я «плаваю». В школе нам весь этот период казался скоплением каких-то ужасных ошибок и сплошных войн. Даже Вторая мировая казалась нам… даже не знаю чем. Историей древнего мира? И это при том, что я родился во время войны. Вашего отца ведь звали Джозеф — Джозеф Клир?

Но меня вдруг охватило какое-то неприятное чувство — не знаю, бывает ли с вами такое, — как будто бы тебя всю законопатили какой-то паклей. И, прихватив это чувство деснами, я прямо-таки ощущала, что вгрызаюсь в паклю. Я с ужасом взглянула на доктора Грена.

— Что с вами такое, Розанна? Я вас чем-то огорчил? Простите меня.

— Возможно, — сказала я, наконец прорвавшись сквозь паклю, — такая у вас работа, доктор Грен?

— Огорчать вас? Нет-нет. Моя работа — помогать вам. Сейчас мне нужно вас расспросить. Нынче это даже моя обязанность. Столько сейчас законов новых. Я бы с превеликой радостью все это бросил — нет, вас бы я не бросил, но оставил бы в покое, разрешил бы вам говорить о чем угодно или не говорить вообще ни о чем, а я начинаю думать, что разговоры ни о чем — самая здоровая тема.

— Моя девичья фамилия Клир, — вдруг сказала я.

— Так я и думал. Я ведь ее видел в той книжке, — сказал он. — Редкая фамилия. Джо Клир. Однофамильцев, наверное, немного наберется. В Ирландии вообще немного, наверное, набе-

рется Клиров. Интересно, это какая-то форма от Клэр или, быть может, как-то связано с островом Клир?

Выговаривал он это будто через силу и снова был похож на озадаченного мальчишку, которому в школе слишком много задали уроков.

— Мне кажется, это протестантское имя, которое давным-давно пришло сюда из Англии.

— Вы так думаете? Макналти, конечно, имя распространенное. Макналти тут везде.

— В Слайго они с давних пор. Муж рассказывал мне, что Макналти были последним племенем каннибалов в Ирландии. Где-то, мол, записано, что они поедали своих врагов.

— О господи!

— Именно так. Я сама в то время не ела мяса. Меня от одного запаха тошнило, а ему я тогда мясо каждый день готовила. Так вот, муж любил всем рассказывать, что он-де последний в Ирландии каннибал-вегетарианец.

— Шутник был ваш муж.

Ой-ой, опять всплываю на поверхность. Я тут же прикусила губу. Не хотелось мне начинать все заново.

— Ну что же, — сказал он, наконец-то собираясь уходить, — я могу завтра или послезавтра прине-

сти этот отчет, вам, наверное, интересно будет на него взглянуть.

— Глаза у меня уже не те, что прежде. Я читаю, конечно, Томаса Брауна, но эту книгу я уже наизусть выучила.

— Нужно раздобыть вам очки для чтения, миссис Макналти — или лучше мисс Клир?

— Да мне и без очков хорошо.

— Ну ладно.

И тут он почему-то рассмеялся — смех был такой, звоночком, так смеются, когда в голову вдруг что-то смешное придет, и не успеешь себя одернуть, а уж засмеялся.

— Ничего, ничего, — сказал он, хоть я и ни слова не сказала. — Простите. Это так, ничего.

И кивнув, он вышел. В дверях он помахал мне рукой, будто бы я отплывала куда-то на корабле. Было ли это до того, как Джон Кейн пришел со своими подснежниками или после? Не могу вспомнить.

Нет, помню. Джон Кейн возвращался, чтобы помыть пол. Как-то он, видимо, припомнил, что пол так и не вымыл. В конце концов, он ведь тоже уже старик — старик, который ухаживает за стариками. Хотя он и не ухаживает. Когда он прошелся шваброй у меня под кроватью, то вы-

тащил оттуда ложку. Ложка была грязная, в супе, наверное, я ее уронила с подноса. Он бросил на меня мрачный взгляд, легонько шлепнул меня по щеке и ушел.

* * *

И как это хорошая история потихоньку превращается в плохую?

Записи доктора Грена

«Верно, что человек алчет жизни, по сколку жаждет жить даже тогда, когда весь мир клонится к закату…»

Всего две недели, как ее похоронили. Бет. Даже имя написать тяжело. Теперь, когда я в доме совсем один, по ночам слышно какое-то постукивание, звук, который я бессознательно слышал, наверное, миллион раз — какая-нибудь дверь ходит в пазах из-за сквозняка, но теперь я, сам не знаю почему, боязливо выглядываю в темный коридор и думаю, а не Бет ли это. Как же странно и страшно — жить с призраком собственной жены.

Хотя, конечно, ее призрака тут нет. Просто вот такой мне попался странный фрукт в роге изоби-

лия, который на меня вытряхнуло горе.

Как же тяжело жить. Я почти готов признать, что весь мой мир клонится к закату. Как часто я, бывало, с легкостью, с профессиональной отстраненностью выслушивал какого-нибудь беднягу, искореженного депрессией — болезнью, истоки которой могли крыться в точно такой же беде, что постигла меня.

Я чувствую себя настолько опустошенным, что ищу поддержки в любом проявлении силы духа, душевного здоровья. Я смотрел, как вешали Саддама Хусейна, «президента Ирака», как он продолжал себя называть, и искал в его лице следы боли и страдания. Но он был разве что немного растерян и казался сильным, даже умиротворенным. С каким же презрением он смотрел на своих захватчиков, даже когда те смеялись над ним. Наверное, не верил, что у них хватит духу его прикончить. Поставить точку в его истории. Или, быть может, он думал, что у него самого хватит духу поставить эту точку — и размашисто расписаться. Много месяцев назад, когда его только вытащили из укрытия, он был весь какой-то растерянный, грязный. Во время судебных заседаний он всегда появлялся в безупречно чистом костюме. Кто же его стирал, сушил, гладил? Какая

горничная? И как его история видится другу, стороннику, земляку? Когда он шел на смерть, я завидовал его явному спокойствию. К Саддаму не проявили милосердия, и сам он никогда не проявлял милосердия к врагам. Он был спокоен.

Это правда, что последние десять лет, целое десятилетие, Бет прожила отдельно от меня, в старой комнате для прислуги, на верхнем этаже. Я сижу в нашей старой спальне — старой во многих смыслах этого слова: тут мы двадцать лет спали вместе, тут давно не делали ремонт, тут мы спали раньше и т. д., — как сидел уже много раз (сколько там ночей в десяти годах? 3650 ночей), а ее больше надо мной нет, не слышно ее шагов, не слышно скрипа кровати. Везде тишина и спокойствие, за исключением этого легкого постукивания, как будто бы она не умерла, а закрылась в шкафу и теперь хочет выбраться. В маленькой комнатке наверху стоит ее аккуратно заправленная кровать — с того самого последнего утра, — и я не смог до нее даже дотронуться. Ее книжки о розах так и лежат на подоконнике (когда мы спали в одной постели, с ее стороны всегда лежали книги о разведении роз, с моей — книги по истории Ирландии), их подпирают две резные гавайские подставки для книг в виде

двух беззастенчивых девиц. У кровати, на лакированном китайском столике, который достался ей от двоюродной бабки, стоит телефон. Ее двоюродная бабка умерла от Альцгеймера, столик же она давно, еще когда была в самом расцвете сил, выиграла в карты, и Бет была очень взволнована и растрогана, когда получила его. Ее белье лежит в ящиках комода, зимние и летние платья висят в шкафу, там же стоят ее туфли, в том числе и те шпильки для торжественных случаев, она их надевала много лет назад, когда еще было куда в них выйти; я считал, что они ей не идут, но у меня не хватало бестактности сказать ей об этом, такого греха за мной не водится. Но у меня перед глазами стоит не та женщина, которая, задыхаясь, упала в коридоре, когда у нее отказало одно легкое, и от последнего крика которой я взлетел вверх по лестнице, нет, меня преследует та юная девушка, в которую я влюбился. Та идеальная, желанная, строгая красавица, которая пошла против отцовской воли, решив выйти замуж за нищего студента, изучавшего неизвестную и неперспективную психиатрию в английской больнице, которого она повстречала в Скарборо на каникулах. Случайность — в основе всего.

Отцу ее во мне ничего не нравилось, он был

одним из субподрядчиков на великом строительстве гидроэнергетического узла в Шанноне и, как подобает столь важной исторической личности, поставлял туда щебень из коннахтских каменоломен. Но она настояла на своем, и мы поженились. Господи боже, ее многочисленная родня заняла одну сторону церкви, а на другой не было никого, кроме моего приемного отца, который стойко выносил воинственные взгляды с соседнего ряда. Мои родители были католиками, и это могло бы им зачесться, не будь они католиками-англичанами, что в глазах моих новоиспеченных родственников было протестантством куда сильнее настоящего; мои родители казались им по меньшей мере странными и загадочными пришельцами из какого-то другого века, когда у Генриха VIII было шесть жен. Наверное, они думали, что Бет выходит замуж за призрака.

Она же, кажется, более всего на свете желала, чтобы я всегда оставался таким, каким был тогда, и как же я сожалею о том, что этого не случилось. Только своим розам она желала перемен, того странного мгновения цветочной магии, когда розовый куст вдруг мутирует и выбрасывает

«спорт»[21] — отличный от сорта цветок. Такой скачок красоты.

— Схожу-ка я в сад, взгляну, нет ли новеньких, — бывало, говорила она в любое время, потому что розы у нее цвели почти круглый год.

Она все ждала, пока Бог, ну или какой угодно таинственный волшебник, который отвечает за розы, сотворит свое чудо. Боюсь, что я не слишком всем этим интересовался. *Mea culpa.* Я старался, но так и не мог проникнуться этой страстью. А должен был быть в саду, с ней, вооружившись перчатками и секатором, обмундированием для маленькой войны.

Все эти маленькие грешки пренебрежения теперь нависли надо мной в полный рост. Так можно с ума сойти.

Я и пишу это, чтобы не потерять рассудок. Мне шестьдесят пять лет. Я старше песен «Битлз». По сравнению с некоторыми вещами это, конечно, еще молодость. Но каждый человек, стоя на пороге своего сорокового дня рождения, может с уверенностью заявить, что никакой молодости у него впереди уже не предвидится. Все это

---

[21] Примечания: 21

Побег-мутант, внезапно появляющийся на розовом кусте, его вид и характеристики обычно отличаются от характеристик куста, на котором он вырос.

как-то бесконечно мелко, нелепо. Человек здравый довольствуется самим качеством жизни и с интересом наблюдает за проходящими годами, своим взрослением, а затем и старением. Но я позорно провалил это задание. Когда Бет умерла, я впервые за много лет посмотрел на себя в зеркало. Конечно же, я каждое утро видел себя в зеркале, подравнивал бороду и все такое, но я никогда не смотрел на себя. И я был поражен тем, что увидел. Я себя не узнал. На макушке волосы поредели, и я седой как лунь, а мне все казалось, что они того же цвета, что и раньше. Морщины на лице как заломы на куске кожи, который долго провалялся под дождем. Я смотрел на себя с ужасом, с отвращением. Пока Бет была жива, я не понимал одной простой вещи. Я старый. Я не знал, что делать. Поэтому я отыскал свою старую бритву и сбрил бороду.

Шестьдесят пять. Еще пара лет, и уйду на пенсию. Не только это здание вот-вот развалится на куски. На пенсию. И что я буду делать на пенсии? Слоняться по Роскоммону? А ведь есть Розанна Макналти, которой сто. Была бы она англичанкой, королева прислала бы ей поздравительную

открытку. Рассылает ли Мэри Макалис[22] открытки ирландским долгожителям? Впрочем, уверен, Мэри Макалис, как и весь мир, даже не подозревает о существовании Розанны.

Вообще-то я не собирался писать здесь о себе. Я собирался написать о Розанне.

Потому что тут какая-то тайна. Думаю, что когда-то давно, в заведении наподобие этого, Розанна как-то пострадала от рук тамошних «сестер». Вполне обычная история в те времена. Но страдания ее в реальной жизни, так называемом внешнем мире, были, несомненно, куда страшнее. Я попытался осторожно порасспрашивать ее, так чтобы она не испугалась, не замкнулась в молчании. Она может, и всегда могла, поддерживать легкую и даже шутливую беседу. Так много лет тому назад мы болтали с Бет. Так легко… но нет уж, не будем об этом. Одиноко ли Бет там, где она сейчас лежит? Как же странно было все-таки позвонить в похоронную контору, мимо столь немилого здания которой я так часто проезжал: мимо ее помпезного фасада, мимо ряда катафалков на заднем дворе, мимо тихих профессиональных фраз, мимо цифр, чая, сэндвичей,

---

[22] Примечания: 22
Президент Ирландии с 1997 по 2011 год.

документов на могилу, церковной службы, погребения. А потом вдруг, в одно утро — умеренные расценки, список необходимых вещей, гроб, который я выбрал во внезапном приступе скупости и о чем потом сильно пожалел на похоронах. Вот что я купил, чтобы похоронить жену.

Похоронить каждую ее черточку, каждый поворот головы, каждую секунду нашей нежности, каждый подарок, каждый сюрприз, каждую шутку, каждую нашу поездку, все отпуска, сначала в Бандоране, а потом в Бенидорме, каждое доброе слово, каждую нужную фразу, все, прихлынувшее к ней, как море, море Бет, поднявшееся из глубин нашей истории, со всего нашего дна морского одной мощной волной, которая обрушилась на мое седеющее побережье, поглотила меня, но, к сожалению, не унесла с собой.

Ну вот. Я опять отвлекся. В последнее время это со мной часто случается.

Розанна. Старая дама. *Cailleach* из сказок. Такая древняя, но черты лица у нее настолько тонкие, что до сих пор хранят ее молодой, прежний облик. Да, она вся сморщенная, все как положено, и когда медсестра ее моет, наверное, там одна кожа да кости, а все, что в ней раньше было зрелым и прекрасным, теперь высохло, опустело. Можно

ли сказать, что Бет избавлена от этого? Бесполезно рассуждать, от чего нас может спасти смерть. Смерть над такими рассуждениями только посмеется, уж я уверен. Из всех земных созданий одна смерть знает цену жизни.

Любопытно было бы посмотреть на фотографию Розанны в молодости. Должно быть, тогда она была красавицей. Но фотографий у нас нет.

Я сначала не мог совсем ничего про нее найти. Хотя, учитывая ее возраст, я в принципе ожидал, что документов у нас на нее будет немного. Что я вообще знаю о ней? После всех этих нынешних бесед, после всех наших бесед за последние двадцать пять лет! Я знаю так мало. Знаю, что когда-то ее звали миссис Макналти, что если у нее и есть какие-то родственники, то мы о них никогда не слышали, что в лечебнице ее ни разу не навещали, и еще мне смутно помнится, что перевели ее к нам из Слайго, но давно, лет сорок назад или даже больше. Я не знаю, откуда мне это известно, разве что я когда-то, когда еще был молод и только-только перебрался из Англии сюда работать, читал какие-нибудь документы, где это было записано. Бет, конечно, хотелось быть поближе к семье, да и я знал от отца, что во мне есть ирландская кровь, поэтому переезд

меня более чем устраивал.

Случайности, везде одни случайности. Как же я обрадовался и удивился, как же был польщен, когда вдруг ни с того ни с сего получил письмо от местного заведующего, мистера Амурдата Сингха, который предлагал мне должность младшего врача. Откуда он про меня узнал, я и понятия не имел — я всего как пару месяцев окончил колледж, сидел без работы и до смерти хотел жениться на Бет. А тут работа в Ирландии, все, как она хотела. Просто чудо какое-то. Арабы говорят, что все изначально записано в Книге жизни, а наша задача — просто следовать уже придуманному повествованию, которое мы не видим, о котором не знаем. Я сначала решил, что мистер Сингх, наверное, учился в том же колледже, что и я, но нет, он учился в Ирландии — старая имперская система, которая продолжала существовать еще долгие годы после того, как Индия и Ирландия обрели независимость. Не знаю, быть может, кто-то рассказал ему обо мне, хотя с чего бы вдруг, диплом у меня был не самый блестящий. Но как бы то ни было, а я получил это чудесное письмо и с радостью на него откликнулся, с радостью, со всей молодостью. Наверное, скажете — это, мол, потому что я никогда не был в Роскоммоне. Но

даже если это было и болото, для Бет это было любимое болото. У нас были все основания для того, чтобы жить здесь счастливо.

Амурдат Сингх, упокой его Господь, был почти святым. В Ирландии он не достиг больших высот — быть может, все дело было в его национальности. Он заслуживал того, чтобы быть Главным психиатром Ирландии. Взгляды у него были самые передовые и необычные, при нем клиника процветала. Его кумирами были Юнг и Рональд Лэнг[23] — мощное сочетание для формирования взглядов. К несчастью, умер он довольно рано, возможно, даже покончил с собой. В итоге я все равно рад, что он пригласил меня на работу, пусть и столь загадочным образом.

Разумеется, когда я приехал, Розанна Клир уже провела здесь около двадцати лет, она-то, конечно, всегда была под наблюдением психиатров (не стану писать «так называемых»).

Как же стучит эта дверь! Мне будто бы снова пять лет, я в Пэдстоу, в нашем доме, которого давно уж нет, и боюсь пойти поглядеть, что там за звуки. Конечно, это всего лишь дверь, быть может, дверь во вторую спальню, которой Бет

[23] Примечания: 23

Рональд Лэнг (1927–1989) — известный шотландский психиатр, основатель течения «антипсихиатрия».

гнушалась просто потому, что она находилась на одном этаже с моей.

Я сделал запрос в психиатрическую лечебницу Слайго, чтобы узнать, есть ли у них что-нибудь на Розанну. Может ничего и не оказаться.

Тем временем я нашел обрывки чего-то похожего на отчет, большую часть которого съели мыши, а то, что осталось, кишит чешуйницами, словно какой-нибудь древний свиток, найденный в пустыне. Как будто небольшое апокрифическое евангелие. Не знаю, кто его написал, но человек это был явно образованный, хотя не думаю, что доктор. Это бледная машинописная копия, сделанная под копирку — были такие хрустящие лиловые бумажки, которые заправляли в машинку под верхний лист. Надеюсь, что в Слайго отыщется оригинал.

Пока что я стараюсь как можно чаще говорить с Розанной, отрывая время от других дел, и должен признаться, иногда я задерживаюсь у нее дольше, чем следовало бы. Когда я с ней, то горечь утраты будто бы притупляется. На днях я не сдержался и в отчаянной попытке сохранить профессиональную дистанцию выболтал, что Бет умерла — какая там дистанция, более того, миссис Макналти даже приковыляла ко мне. Меня

будто бы коснулась осторожная молния, нечто первобытное, странное и невероятно чистое.

Быть может, человек, которого никогда не навещают, накапливает в себе тепло, как простаивающая энергостанция — что-то вроде гидроэнергоузла в Шанноне, когда его уже построили, но электричество в дома еще не провели.

Да, ответов на мои вопросы слишком мало. Поначалу я все спрашивал себя, а знает ли она вообще эти ответы, может ли, с учетом ее прошлого, вообще что-то помнить, то есть быть в какой-то степени действительно безумной? Быть может, ее и поместили под «наблюдение» психиатров как раз из-за настоящего психоза или нервного срыва? Как и некоторые психотики, она выказывает уверенность и последовательность во всем, что касается области ее твердого знания. Но в то же время она открыто признала, что многого не знает, поэтому я предполагаю, что виной всему не психоз, а то, что ее память серьезно пострадала от чешуйниц времени. Психотики часто стремятся дать ответ на каждый вопрос, любую свою правду. Они не переносят незнания, у них это тотчас же вызывает болезненное замешательство.

Потом я подумал: быть может, она осторожничает, потому что боится меня или, вероятно,

просто боится отвечать, опасаясь, что это вызовет у нее нежелательные воспоминания. Но в любом случае мне ясно, что вытерпеть ей пришлось многое. Это ясно читается в ее взгляде. Это и придает ей какую-то странную нездешность, если так можно выразиться. Странно, я написал это и понял, что раньше об этом не думал. Возможно, от этого журнала все-таки есть какая-то польза.

Все равно, мне хотелось бы, как говорится, отыскать нить ее истории. Подлинной истории или хотя бы той ее части, которую удастся спасти. Понятно, что жить ей осталось недолго. По-моему, сейчас самому старому человеку в Ирландии сто семь лет, так что, допустим, лет семь у нее еще есть.

Но вряд ли ей достанется так много.

Надеюсь, что из Слайго все-таки что-то ответят.

Превыше всего я сожалею об исходе Бет в комнату для прислуги. Причина в моей интрижке — какое старомодное слово выбрало мое бессознательное, чтобы прикрыть мой грех, — с другой женщиной, чью жизнь я тоже переменил к худшему. То есть я думаю, что причина в этом. Но вероятнее, все дело в том, каким я предстал перед ней в свете всего этого. Я оказался гораздо

мельче и гаже, чем она думала.

Часть вторая

Глава двенадцатая

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

«Каждый день — только дождь», — пела Гвен Фаррар, а руки Билл и Майерля порхали над клавишами. Наверное, она родилась в Слайго, потому что уж так печально она это пела: «Родились под зонтом, под зонтом и живем…»

На Слайго всегда изливался дождевой потоп, заливал улицы и улочки, дома от него дрожали и жались друг к другу, как болельщики на футбольном матче. С неба лило бесконечно, ведрами, водами сотен рек.

И сама река, Гарравог, вдруг набухала, заставая врасплох прекрасных лебедей, которых подхватывало потоком, сносило под мост, откуда они выплывали, будто неудачливые самоубийцы — в их таинственных глазах тьма и ужас, их таинственная грация по-прежнему безупречна. Какие же они все-таки дикие, даже во всей своей знаменитой красоте. Дождь заливал и тротуар перед кафе «Каир», где я, управляясь с бойлерами и котлами, глядела через запотевшие стекла на улицу усталыми глазами.

Так мне это видится сейчас. Кем я была тогда? Чужачкой, и эта чужачка до сих пор прячется во мне, в самых моих костях и крови. Прячется в этом морщинистом платье из кожи. В той девчонке, которой я была.

* * *

Вчера я начала было писать про кафе «Каир», но застыла от какого-то ужасного чувства. Казалось, будто у меня все кости превратились в воду, в холодную воду. Все из-за чего-то, что на прощание сказал доктор Грен. Слова его для меня были как каменная плита, которую с размаху опустили на засохший цветок. Я весь день проворочалась в кровати, чувствуя, что я старая, немощная, напуганная. Пришел Джон Кейн, и мой вид удивил даже его, так что он ничего не говорил, а только торопливо прошелся по полу своей ужасной шваброй. Наверное, я была похожа на настоящую сумасшедшую. Известно ведь, что с людей все время сходят целые лавины из частичек мертвой кожи. На этой его швабре, наверное, есть понемногу от каждого местного пациента. Он ведь ей в каждой комнате елозит. Не знаю, к чему это я.

Я чувствую, что отвлекаюсь от своей цели. Странно, конечно, что я тут пытаюсь записать

свою бесполезную жизнь, а на большинство его вопросов не отвечаю. Уж ему бы, наверное, хотелось это прочесть, пусть и только потому, что это облегчит его задачу. Что ж, если после моей смерти кому-то придет в голову заглянуть под эту расшатанную половицу, он это прочтет. Пусть читает, и тогда мне не придется отвечать на все расспросы, а он ведь непременно начнет меня расспрашивать, если рукопись попадет к нему сейчас. Быть может, я и вправду пишу это для него, так как он единственный, кого я знаю, в самом буквальном смысле этого слова. А ведь он только недавно начал регулярно ко мне захаживать. Помню, раньше я видела его два раза в год, на Пасху и под Рождество, когда он, бывало, заскочит, спросит, как я себя чувствую, и снова уйдет. Впрочем, у него, наверное, сотня пациентов, может, и больше. Интересно, сейчас здесь что, людей поменьше стало? Быть может, мы тут живем как какой-нибудь жалкий монашеский орден, из тех, что постепенно вымирают в древних монастырях. Но этого мне никак не узнать, разве что я сама обойду это место, что маловероятно.

Я уверена, внизу, во дворе, где снова сильно подморозило, несмотря на все подснежники Джо-

на Кейна, старая яблоня тоже ужасно мерзнет. Этому дереву, наверное, лет сто. Много-много лун тому назад меня выпускали во двор. Там вокруг ствола деревянная скамейка, как в старых английских деревушках, что-то такое из истории Англии. Общинный луг. Но там просто собирается больше всего солнца, когда весной оно выходит, чтобы нагреть старое дерево. И тогда на нем распускаются огромные цветы. Но сейчас им еще не время, и даже если оно осмелилось высунуть наружу парочку бутонов, мороз из всех вычернит, и дереву придется начать все заново.

Одна девчушка, которая работала на кухне, бывало, приносила из кухни остатки огромных кусков хлеба и бросала их в самодельную птичью кормушку. Туда слетались все птички-синички и все голодные зяблики, какие только были в Роскоммоне. Наверное, уже давно нет той девчушки. Только яблоня всех переживет.

Эта старая яблоня любого дрозда превратит в философа. Яблоневый цвет потише вишневого, но его все равно так много, он заполняет все сердце. По весне он у меня вызывал слезы. Были заморозки, не было заморозков — яблоня всегда зацветала. Как бы я хотела снова это увидеть. Мороз может лишь немного придержать старое

дерево, но никогда не сможет победить его. Но кто меня туда отнесет?

А сливки в ведрах — что твой лед,
В кулак подув, пастух идет…[24]

У моего тестя, старого Тома, был замечательный огород возле дома. Особенно он любил зимние овощи. Помню, как он говорил, что, мол, мороз только идет на пользу капусте и салату. Он был прямо как одержимый, овощи у него поспевали круглый год, хотя, верно, это можно сделать, если знать как. Это так почти в любом деле.

Старый Том Макналти. И по сей день не знаю, был ли он мне другом или врагом. И по сей день я не знаю, что и думать про всех них, про Джека… Нет-нет, наверное, отца Гонта мне есть за что проклинать, и эту старуху, мать Тома и Джека, настоящую миссис Макналти, так ее можно назвать. А с другой стороны, я ведь ничего не знаю наверняка. Миссис Макналти, по крайней мере, всегда меня открыто ненавидела, в то время как Джек и отец Гонт вечно прикидывались друзьями. Ох уж эта мучительная неизвестность.

Ну вот, вдруг возникла дурная мысль: а разве

---

[24] Примечания: 24
У. Шекспир «Бесплодные усилия любви» (пер. М. А. Кузмина).

доктор Грен не прикидывается моим другом? Ну, строго говоря, профессиональным другом. Но абсолютной истиной не владеют ни друзья, ни враги. Не владею ей даже я — вот еще одна мысль, которая меня мучает и беспокоит.

Тяжело было слышать как он вот так, вскользь, обронил, будто мой отец служил в полиции. Не стоило ему этого говорить. Я и раньше слышала подобные обвинения, только не помню когда, от кого. Это все ложь и ложь гадкая. В старину за такое и пристрелить могли, а расстрелы в Ирландии были одно время в моде, взять хотя бы тех, кого расстреляли при новом правительстве — те знаменитые 77 человек.[25]

А ведь все казненные в прошлом были их товарищами. Повезло Джону Лавеллу, что он сбежал и не стал семьдесят восьмым. Впрочем, я уверена, были и тайные убийства, тайные расстрелы, которых никто не считал, которых никто не помнит. Хладнокровные, трагические, глупые убийства мальчиков в горах, вроде того, что я видела своими глазами — то есть видела, чем все заканчивается, как закончилось все для брата Джона, Вилли.

---

[25] Примечания: 25

Считается, что за время гражданской войны фристейтеры официально казнили 77 республиканцев.

После всего этого просто носить форму официантки в кафе «Каир» было настоящим облегчением. В кафе безо всякого предубеждения обслуживали всех подряд. Владела им семья квакеров, и нам было велено привечать каждого. Так что там можно было увидеть, например, и нищего одинокого старика, который пил чай и, думая, что никто его не замечает, грыз пару жалких кусочков сыра, припрятанных в кармане. Я его хорошо помню, он носил старый коричневый костюм и казался мне таким же старым. А ему-то и было, наверное, всего семьдесят! Однако присутствие и куда более немытых персонажей никак не мешало местным дамам частенько заглядывать сюда, чтобы посплетничать с подружками. Они рассаживались за столами, что твои наседки в курятнике, а болтовня и слухи так и летели от них во все стороны, будто пыль, поднятая караваном верблюдов. Некоторые из них были чудесными, умными женщинами, которых мы — в смысле официантки — очень любили, любили каждый день встречать их в кафе и обслуживали с радостью. Конечно, попадались среди них и настоящие бой-бабы. Но то был целый калейдоскоп разных личностей, кафе мне и впрямь стало школой жизни, я столько

всего узнала, поднося чай и вежливо улыбаясь, и как знать, может, все это могло стать началом хорошей судьбы.

Наверное, я могла бы устроиться туда, как все — увидеть в окне объявление, зайти, каким-то образом дать понять, что, хоть по мне этого и не видно, но я пресвитерианка, а следовательно, подхожу им (хоть в кафе и пускали всех, но католички тут не работали, кроме разве что Крисси, которая хоть и была католичка, но училась в протестантской школе). Но все случилось совсем по-другому.

Мать, которая и без того вечно молчала, после смерти отца стала, выражаясь языком этого заведения, демонстрировать признаки ухудшения. Однажды утром я спустилась на кухню, чтобы заварить ей чаю, а когда вернулась, в спальне никого не было. Я ужасно перепугалась, помчалась вниз, стала ее звать, искать везде, выбежала на улицу и искала ее, искала. Я забежала в кладовку и в окно увидала, что она лежит, свернувшись, как сторожевой пес, возле ржавеющего отцовского мотоцикла. Ох, тогда я привела ее домой, уложила в кровать, а простыни-то, стыдно сказать, были совсем черные, потому что она давно не мылась. И так мне было тяжело и грустно, что

я в тот день ушла из Слайго и дошла аж до самого Россес-Пойнт, где был прекраснейший пляж — думала, поброжу по полям для гольфа, где то и дело натыкаешься на маленькие озерца из одиноких птиц или вдруг видишь вдали виллы у самого берега, которые будто бы спустились к водопою (вода, конечно, была соленая, да ну и ладно). И вот я пришла туда, миновав дома Россес, остров Кони, видневшийся за потоком Гарравог, и дивную умиротворяющую фигуру Металлического человека, который стоит там, в старой железной куртке синего цвета и черной шапке, вечно простирая руку к водным глубинам, показывая путь кораблям.[26] Это всего лишь статуя на камне, но мне кажется, что никто еще не придумал лучшего способа указывать на «глубокие воды». Мне как-то рассказывали про его дублинского брата, который, уж не знаю зачем, стоит в Далки, в маленьком парке на берегу моря.

Там, за островом Кони и статуей Металлического человека, начинается Страндхилл, и там же находится пляж поменьше, где позже меня настигла беда.

Когда я вышла к берегу в Россес-Пойнт, поднял-

[26] Примечания: 26

Металлический человек (*Metal Man*) — скульптура на вершине каменной колонны-маяка в Россес-Пойнт.

ся такой кусачий ветерок, и хотя возле дюн было припарковано несколько черных машин, их владельцы, должно быть, в них и сидели, потому что на самом пляже никого не было. Одни только дрожащие всплески ветра. Но одна фигура вдали виднелась, и вскоре я поняла, что это женщина в развевающемся белом платье, которая рывками толкала перед собой большую черную коляску. Когда я подошла поближе, то услышала, что она что-то кричит, но ее слова затухали и оживали только по воле ветра. Наконец я подошла к ней совсем близко и увидела, что, несмотря на зябкий ирландский июнь, она вся обливается потом.

— Ах, боже мой, боже мой! — сказала она точь-в-точь как Белый кролик из «Алисы в Стране чудес». — Я ее потеряла, потеряла!

— Кого вы потеряли, мэм? — спросила я, решив по ее выговору, что она какая-нибудь важная дама, а значит, скорее всего, обращаться к ней надо было уважительно.

— Дочь, я потеряла дочку! — голос у нее резко сорвался на крик. — Я заснула в дюнах, на солнышке, малышка играла рядом, а когда я проснулась — ее не было. Ей всего два года. О господи, о господи!

— И в коляске ее не было? — уточнила я.

— Нет, я не вожу ее в коляске, она уж ходит. В коляске ее братик, спит себе крепко! А моя дочка Уинни уже ходит. Уинни, Уинни!

И тут она вдруг побежала дальше, будто бы решив, что от меня не будет никакой помощи, потому что я ровным счетом ничего не знаю о колясках.

— Я вам помогу, — сказала я. — Помогу вам искать.

Я даже за руку ее ухватила. Под белой тканью платья рука оказалась такой тоненькой. Она остановилась и взглянула на меня. Уставилась влажным зеленым взглядом.

Я побежала к старой тропке, которая петляла между дюн, — мы с отцом ходили по ней десятки раз. Тропка резко уходила в гору, и вскоре я выбралась обратно к машинам. Прилив уже начал прикусывать каменные подошвы скал на побережье. Инстинктивно я ринулась к воде, потому что вспомнила про одну пещеру, которую там видела, странное такое, узкое ущелье — ни один ребенок такого не пропустит. Отец рассказывал, что в этой пещере были найдены следы древнейшего человеческого поселения в Ирландии: какие-то первобытные люди — отважные, смелые и в то же время, я уверена, до смерти перепуганные тем,

что оказались одни посреди лесов и болот, — нашли себе здесь пристанище. Ступив в полумрак пещеры, я поняла, что инстинкт меня не подвел. Маленькая девочка, сидя на корточках, ковырялась в песке: задница вся мокрая, рот до ушей. Я подхватила ее на руки, и она даже не испугалась, видимо, сочтя меня каким-то созданием из своей игры. Выйдя из пещеры, я увидела, как вдалеке ее мать мечется между таких же скал на другой стороне пляжа.

Самое отчаянное, самое неправильное зрелище на свете: материнство, обреченное на поражение. Как же мне тогда захотелось, чтобы моя мать искала меня с таким же рвением, так же взмокнув от ужаса, чтобы так же хотела отыскать меня на затерянном берегу мира, спасти, позвать на помощь людей, снова крепко обнять меня, так же отчаянно, как хотела этого мать счастливого создания у меня на руках.

Но что тут поделаешь, и я пошла к ней навстречу по песку, усыпанному мириадами ракушечных осколков, пока ветер повсюду собирал море в складки. С полдороги мать вдруг почувствовала, что я иду к ней, — вдалеке расплывчато замаячило ее повернутое ко мне лицо. Даже с такого расстояния я ощутила отблеск неведомого мне

таинства, ее невероятной паники, а затем вся она будто вспыхнула жаром облегчения, потому что, как она и думала, как и надеялась, ее ребенок сидел у меня на руках. И я как могла быстро пошла — шурх-шурх — по хватавшему меня за ноги песку. Теперь мать мчалась мне навстречу, по-прежнему толкая перед собой огромную коляску, и когда между нами осталось всего-то несколько ярдов, она радостно заухала, иначе и не скажешь, чуть не сбила меня коляской с ног, выхватила девочку у меня из рук и теперь плакала, визжала, ревела. Я как будто вернула ей дочь из мира мертвых, и уж верно так она и подумала, когда я рассказала ей про пещеру и начинавшийся прилив.

— Не передать словами, — сказала она, — какой бесконечный ужас я испытала, когда увидела, что ее нет рядом. В голове моей будто кричали тысячи чаек. В груди такая боль была, словно туда лили кипящее масло. И весь берег кричал мне в ответ своей пустотой. Дорогая моя девочка, дорогая моя, дорогая девочка!

Это она ко мне так обращалась, вцепившись в другую свою «дорогую девочку», а теперь ухватив за руку и меня.

Так я познакомилась с миссис Пранти, женой

хозяина кафе «Каир». Ей не составило труда выведать мою историю, которую я рассказала ей, тщательно подбирая слова, пока мы ехали обратно в Слайго в ее большом черном автомобиле. И она с радостью предложила мне поработать в кафе «Каир», раз уж учеба моя закончилась, отец умер, а мать, как я выразилась, «болеет» и не выходит из дому.

* * *

Я точно не помню, когда Том первый раз зашел к нам в кафе, но в голове у меня до сих пор жив его образ, будто запечатленный на фотокарточке с золотыми уголками, вроде изображений на афишах возле кинотеатра в Слайго, которая хранит его дух, его безграничный оптимизм — на ней Том коренастый, крепко сбитый, почти толстый парень в добротном и аккуратном костюме, не то что у его брата Джека, костюмы которого были скроены и пошиты с куда большим изяществом, и пальто у него еще было такое шикарное, с воротником из мягкой кожи, прямо как у кинозвезды. Оба они носили расточительно дорогие шляпы, хотя и были всего-навсего сыновьями портного из психиатрической лечебницы Слайго: наверное, он-то и кроил эти простоватые

костюмы Тома, но уж к нарядам Джека он точно никакого отношения не имел. Но их отец еще и руководил местным джаз-бэндом — оркестром Тома Макналти, а потому в те бессребренные времена сребреники у них всегда водились. Отца его — еще одного коротышку, который в то обжигающее лето вечно появлялся у нас в канотье и полосатом пиджаке, какие можно было увидеть разве что на завсегдатаях скачек, по средам проходившие на окраине Слайго, — звали Старый Том, а сам Том был Молодым Томом, что было весьма разумно, потому что он тоже играл в этом знаменитом оркестре, и неважно, что знаменит он был только в окрестностях Страндхилла и в мечтах жителей Слайго.

К тому времени, как я узнала о существовании братьев Макналти, я проработала в кафе «Каир» уже два года или даже больше. Те годы, что я провела, работая официанткой, были простым, счастливым временем — я крепко подружилась с Крисси, такой же одиночкой, и мы стали друг другу в этом мире поддержкой и опорой. Она была такая вся миниатюрная, ладная, добрая, эта Крисси, бывают на свете и такие люди. Не все ж одни задиры и грубияны попадаются. И хотя я редко видела саму миссис Пранти, но всегда ощущала

ее присутствие там, за кипящими бойлерами, утонченными многоногими подставками для пирожных, серебряными реками ножей, ложек и изящных вилочек, которыми едят только самые воздушные торты. Я была уверена: где-то там, за дверями с вычурной резьбой и штришками Египта, где никто никогда не был, будто квакерский ангел, порхала миссис Пранти, говоря обо мне только хорошее. Так уж мне представлялось. Я зарабатывала кое-какие деньги, кормила и купала мать и почти каждый вечер пропадала в кинотеатре, где перевидала тысячи фильмов, выпусков кинохроник и прочих чудеснейших чудес, будто пришедших из самых удивительных, невероятных сновидений. И как-то так вышло, что тогда мне этого хватало, и я никогда не соглашалась «гулять» с кем-то, ни с одним парнем не танцевала больше раза или двух за вечер. Мы, молодые девчонки из города, теснились в стоявшем у самого моря танцевальном зале Тома Макналти, будто поток роз у обочин серых дорог, а иногда, в невероятном порыве простоты и веселья, мы даже выплескивались танцевать на берег, к дороге, которая спускалась из Страндхилла, туда, где столбики на песке указывали путь по мелководью до острова Кони. Вы бы, наверное,

сравнили нас с чайками, элегантными белыми птицами, вечно парящими, вечно зовущими, которые всегда летали у берега, будто бы в море бушевал непрекращающийся шторм. Да, семнадцати-восемнадцатилетние девчонки умеют жить и любить эту жизнь, нам только дай волю.

Я говорила, что в Египте никто никогда не был, но Джек-то еще парнишкой ушел служить в Британский торговый флот и успел перебывать в каждом порту на свете, но я тогда еще этого не знала. Эпос о похождениях Джека — совсем маленький, местного значения, но все же этот эпос был мне пока неизвестен. Все, что я видела или пока что замечала, так это двух братьев-щеголей, которые заходили к нам выпить чаю: для Тома — любой китайский, для Джека — всегда «Эрл Грей».

* * *

И еще темная история с их братом Энусом, о которой я еще долгое время ничего не знала, да и не скажешь — узнала ли. Так, какие-то обрывки, пара страниц из его истрепанной книжки. Можно ли полюбить человека за одну ночь, познав его в библейском смысле этого слова? Не знаю. Но то была любовь — нежная, страстная, настоящая

любовь. Господи прости.

Записи доктора Грена

Mirabile dictum[27] (вот и пригодилось чтение Вергилия на школьных уроках латыни, хотя бы эту фразу помню) из психиатрической лечебницы Слайго прислали кое-какие документы. Пришел оригинал старого отчета, у них в архиве условия хранения, наверное, получше наших, потому что все страницы целы. Должен сказать, меня чрезвычайно заинтересовала описанная здесь история Розанны — теперь мне есть что дорисовать к фигуре, которую я видел только на больничной койке. Дорисовать что-то вроде человеческого пейзажа из событий и бед, словно на какой-нибудь картине да Винчи, вроде холмов и замка позади самой Моны Лизы (если я все правильно помню, может, там и нет замка). И поскольку сама Розанна по-прежнему очень закрыта, я с трепетом предвкушал, как прочту этот отчет, будто бы там содержатся все ответы на мои к ней вопросы, хотя на это, конечно, не стоит очень уж надеяться. Письменный документ вроде бы имеет некоторую силу, но ее там

---

[27] Примечания: 27
Удивительно, чудесным образом *(лат).*

может и не оказаться. Мне не нужно стремиться непременно заполнить этими словами ее молчание, хотя соблазн и велик, потому что это кратчайший путь, обходной. Отчет — семнадцать страниц убористой машинописи — выглядит как полное описание всех событий, которые привели к ее, хотел сказать — заключению, но, конечно, в виду имелась госпитализация. Он состоит из двух частей: в первой описывается ее жизнь до замужества, затем перечисляются причины, которые привели к аннулированию ее брака — если только это правильный термин. За этим, судя по всему, последовал период невероятных потрясений, действительно невероятных, ужасных и трагичных. Все это случилось так давно, в жестокой сказке, которой была Ирландия в двадцатые и тридцатые годы, хотя самые большие беды Розанны пришлись на «кризисные годы», как назвал Вторую мировую войну де Валера.

Сам я, положа руку на сердце, не очень понимаю, что из этого отчета ей можно показать. Судя по ее недавней реакции, что-то я сомневаюсь, что эти новые сведения, которые для нее могут оказаться вовсе не новостью, помогут ее разговорить. Если все написанное тут — правда, то правда эта ужасная и тяжкая. Нам в подобных

заведениях не стоит слишком уж много думать о вопросах морального или хотя бы судебного воздаяния. Мы похожи на тюремных священников, которые имеют дело с тем, что осталось от человека, после того как свой приговор вынес мирской суд. Мы все пытаемся сказать человеку: на старт, внимание, марш — куда марш? К топору и гильотине здравости? К смертному приговору, которым и является жизнь?

Документ, на который я взираю с таким интересом и даже легким трепетом, подписан отцом Алоизием Мэри Гонтом, и это имя показалось мне знакомым. Я все вертел его в голове и потом вдруг вспомнил, что это же он был викарным епископом Дублина в пятидесятых и шестидесятых годах, соорудив из наметок и намеков ирландской конституции свое право духовной власти над городом, как тогда поступали его собратья. Человек, в каждом слове которого сквозило желание упрятать всех женщин по домам, а всех мужчин поголовно заставить заниматься спортом и блюсти целибат. Сейчас это кажется смешным, тогда это смешным не казалось.

Будучи молодым кюре в Слайго, отец Гонт, судя по всему, очень хорошо знал Розанну Клир. Получается, что она была дочерью сержанта

Королевской Ирландской полиции (о чем я уже успел прочесть в поврежденной копии отчета, которую нашел здесь). Де Валера, молодой предводитель войны за независимость, объявил, что любого полицейского, который встанет на пути революционного движения, следует пристрелить на месте. Поэтому эти полицейские, которые хоть и были ирландцами и по большей части — католиками (отец Розанны был пресвитерианин), и их семьи все время были в опасности и находились под угрозой смерти. Понятно, что время было такое, революционное, но интересно, понимала ли это Розанна в свои двенадцать лет. Все случившееся для нее должно было быть подлинной трагедией, подлинным ужасом и смятением.

Только что взглянул на часы и увидел, что уже без десяти восемь, времени как раз в обрез, чтобы успеть на обход в десять минут девятого. Надо бежать.

NB: Строители сказали, что еще полтора месяца и новое здание будет закончено. Сведения самые достоверные, потому что я сам на днях был на стройплощадке и опрашивал их, как заправский шпион. Ну ладно, хватит.

Глава тринадцатая

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Забавно, но «повстречала» я Тома вовсе не в кафе «Каир», а совершенно в другом месте. В самом море.

Именно на пляжах этого мира так отчаянно заметно, как это почетно — иметь детей. Ведь для старых дев и бездетных пар сущая пытка — видеть, как все эти ангелочки и бесенята копошатся в воде у берега. Будто большой выводок каких-то кочующих животных. Человеческое животное началось с извивающегося червячка, который зародился в глубинах древних морей, а затем с неохотой выполз на сушу. Поэтому-то нас вечно так и тянет к морю.

Я не то чтобы совсем бездетная.

И эта история тоже родом из моря, точнее, с его берега.

Мое дитя. Мое дитя отправилось в Назарет, вот что они мне сказали. Вот что я услышала. Но тогда я ничего особенно не слышала, ничего не могла услышать. Они могли сказать что угодно, хоть Вайоминг.

Берег Страндхилла узкий, вспученный, опасный, и кажется, будто песчаные холмы подтягивают свои огромные колени поближе к груди, чтобы уберечься от того, что творится под ними. Там проходит длинная бугристая полоса променада, возле которой теснились двуколки, телеги, мотоциклы с колясками, пролетки и автомобили; их пассажиры высыпали на берег, все как один — с нетерпением: дети рвутся вперед, отцы смеются и чертыхаются, матери волнуются и читают нотации — кругом суета и переполох нормального человеческого счастья. Купальные костюмы до колен теперь соперничают в вечности с невероятными бикини, которые я видела только в изредка попадавшихся мне журналах. Вот бы и мне тогда такое!

Сначала, несомненно, только несколько смелых домишек выстроились на болотах, акрах зыбучего песка и пырея, а земля все поднималась и поднималась, пока не коснулась Нокнари,[28] где королева Медб спит в своей каменной могиле. С вершины Нокнари видны пляжи Страндхилла, но люди оттуда кажутся размером с иголку, а дети так и вовсе — будто пылинки в глазу.

---

[28] Примечания: 28

Гора в Ирландии, название которой переводится с ирландского как «Королевский холм».

Я глядела оттуда вниз, рыдая, заламывая руки.

Вся эта земля потом стала «моей» землей. Страндхилл, Страндхилл — полоумная из Страндхилла.

Сначала только несколько домишек рискнули ступить на эту зыбкую почву, за ними последовал старый отель, за ними — лачуги и опять дома, а уж потом, в исчезнувших ныне двадцатых, Том Макналти построил там танцевальный зал «Плаза». Роскошное складское помещение, обшитое гофрированным железом, с круглой крышей, квадратным каменным фасадом, до странного неприметной дверью и окошком кассы — яркий свет оттуда так и зазывал, так и подманивал, и каждую пятницу мечты вливавшейся туда толпы бурным вихрем уходили в небо, добираясь, несомненно, до самого Господа, чтобы развеять его сомнения в напрасности его творения.

И такая была работа у Тома Макналти, отца и сына, — продавать каждой мечте по билету. И я со страстной ясностью понимала, что такая мечта живет и во мне.

Я сижу здесь, пишу все это, и руки у меня старые, как у Мафусаила. Взгляните на эти руки. Ах да, этого вы сделать не можете. Кожа на них тонкая, как — видели когда-нибудь раковину

двустворчатого моллюска? Ими было усеяно все побережье возле Россес. Так вот, их раковины покрыты такой прозрачной пленочкой, похожей на подсохший лак. Странная такая штука. Вот у меня теперь такая кожа. Кажется, я и кости все свои могу сосчитать. По правде говоря, руки мои выглядят так, будто их уже похоронили, а потом вдруг откопали обратно. Вы бы испугались, если б их увидели. Я не смотрелась в зеркало пятнадцать лет.

В Страндхилле, в воде на пару футов от берега, было вполне безопасно. Летом будто в ванне сидишь. Мне всегда казалось, что море тут даже не пытается шевельнуться. Может, вода была такой теплой, потому что дети тут вечно писали.

Но там было хорошо. Я, Крисси, другие девчонки из кафе «Каир»… Миссис Пранти всегда старалась нанимать только приличных девушек — приличных и прилично выглядящих, а это уже совсем другое дело. По-моему, все мы были похожи на юных богинь. Мэри Томпсон можно было фотографировать для журналов, а Уинни Джексон даже и фотографировали как-то раз, для «Слайго Чемпион». «Мисс Уинни Джексон наслаждается прекрасной погодой в Страндхилле». На ней был закрытый купальный костюм, который

ей привезли из дублинского «Арнотс»,[29] на поезде из Дублина до Слайго. Вот это был шик тогда. У нее была прекрасная пышная грудь, и, уж я думаю, парни, глядя на нее, чувствовали одно только отчаяние, потому что были уверены — им и заговорить с ней не светит.

В дымящуюся августовскую жару кожа у нас становилась самая что ни на есть африканская. По вечерам лица у нас так и горели, когда мы, все обожженные, возвращались с пляжа домой, а затем, укладываясь спать, не могли даже терпеть, когда простыни касались плеч. Счастливые. А на следующее утро кожа остывала, и нас снова тянуло на пляж, а затем снова и снова. Счастливые. Самые обычные мы были, самые простые девчонки. И уж как нам нравилось, чтобы парни из-за нас страдали.

А парни маячили возле нашего счастья, как акулы, пожирая глазами нашу красоту. Иногда на танцах я болтала с парнями, но они больше молчали, а если уж заговаривали, то не могли сказать ничего стоящего. Но так оно и должно было быть. На танцах собирался всякий народ: важные городские шишки и парни, у которых

---

[29] Примечания: 29
Старейший универмаг Ирландии, был основан в 1843 году.

штанины были такие короткие, что из-под брюк выглядывали носки или даже голые ноги в разбитых ботинках. На улице всегда была привязана парочка ослов, вместе с клячами-доходягами и старыми телегами. Горы сплевывали своих сыновей и дочерей, будто какую чудную лавину. Прекрасное человечество.

Отец Гонт вечно туда захаживал, а если не он, то какой-нибудь другой кюре — чисто цапля промеж мелкой рыбешки. Господи, да ведь был даже какой-то указ издан про этот танцевальный зал. Или это я все напридумывала. По-моему, они все выступали у себя в церквях против танцев, но этого я уж никак не могла слышать. Касаться друг друга мы особенно не касались. Странные были такие танцы, чопорные — никаких прикосновений. А хорошо было в самом конце танца прижаться к парню — ты потеешь, он потеет, и летом от него еще пахнет мылом и дерном. И они еще тогда все мазали чем-то волосы, кажется, это называлось «бриллиантин». Были там и парни, чьи родители в горах, наверное, еще говорили по-ирландски, но они-то, сходив пару раз в кино, думали, что просто обязаны выглядеть как звезды экрана, хотя, может быть, они просто старались выглядеть как настоящие патриоты, что было

тоже вероятно. Майкл Коллинз[30] очень любил как следует намазать волосы. И де Валера был вечно прилизанный.

И оркестр Тома Макналти уж как следует всех встряхивал. Молодой Том вставал у самого края сцены, в руках кларнет или труба, и как пойдет реветь модные тогда мотивчики. Танцевали все только под джаз, хотя случалось, что вспоминали и фокстрот, и даже вальс. Том даже записал пластинку — «Рэгтайм Тома Макналти», и с каким же исступлением весь зал под нее танцевал! Том тогда весь так и светился. В те времена Том, конечно, был большим человеком, с которым я никогда не говорила, разве что в кафе: «Что будете заказывать?» И ответом мне чаще всего было: «Китайский чай и булочку с изюмом. И „Эрл Грей“ для моего брата». Он просто обожал эти булочки с изюмом. Интересно, пекут ли их там еще.

Тогда это было святое, нельзя было и представить, чтоб в каком-нибудь кафе не было таких булочек — без них и смысла не было открывать кафе. Забавно, как из года в год тогда ничего не менялось. Булочки с изюмом, пирожные со взбитыми сливками, вишневые пышки с белой

---

[30] Примечания: 30
Майкл Коллинз (1890–1922) — ирландский политик и революционер.

глазурью — все это было таким древним, незыблемым, как киты, дельфины, скумбрия — явления природы, естественная история кафе.

Я по-прежнему тосковала по отцу, но каким-то образом мне удавалось упрятать эту тоску под покрывало из моих волос и заснуть под ним вместе с ней. Я не могла ничего поделать со всем моим счастьем, когда просыпалась по утрам — и да, мне еще надо было приглядывать за матерью, но я справлялась: кормила ее, ходила за ней, а она все молчала и вечно сидела дома, никогда не снимая своего домашнего полосатого платья. Во мне бушевала энергия, я была будто мотоцикл, который ревет, когда кто-то жмет на газ — вдруг каждое утро я была готова нестись вперед, как мотоцикл, я вся пылала энергией и неслась вон из дому, проносилась по улицам Слайго, влетала в стеклянные двери кафе «Каир», и вот уже Крисси целует меня в щеку — с добрым утром! — и миссис Пранти, если она там оказывалась, застенчиво мне улыбалась, и так мне радостно, так радостно!

Нужно держать в голове каждый счастливый миг, потому что в жизни случается столько всяких других вещей, что лучше уж отмечать счастье, пока можешь. В том состоянии все мне

казалось прекрасным: секущий дождь был как серебро, мне все было интересно, со всеми мне было легко, даже с парнями, которые стояли на углу и щурились в мою сторону, пальцы у них были желтые от папирос, у каждого на губе вечное желтое пятно, потому что сигарет они изо рта не выпускали. А уж выговор у них был, будто кто-то бутылки бьет в подворотне.

Ну вот, сколько непрошеных воспоминаний. А я ведь сегодня хотела написать про Тома и море. Тома, который спас меня из моря счастья.

* * *

Я нырнула. Думала, что знаю, куда плыву. Любопытно, что сейчас я так отчетливо помню, как легкий трикотажный купальный костюм касается моей кожи. На нем было три широкие полосы разного цвета, на этот костюм я всю зиму копила. Лучше костюма в Слайго было не найти. Жаркий день в Ирландии — это такое чудо из чудес, что мы все вмиг становились безумными туристами. Как дождь, так все прячутся по домам, и история приходит туда же. В жару же — везде одно прекрасное ничего, и оттого, что мир наш по сути своей такой мокрый, неожиданная зелень лесов и холмов, кажется, так и светится чудом, дивом.

Вся природа нравится самой себе, а девчонки и парни на пляже все раскрашены в рыжие и желтые цвета, в зелень и лазурь моря, и все они так и светятся, так и светятся. Или уж так мне казалось. И кажется, что на пляже собрался весь город, и у каждого в груди сердце так и взмывает, и все движутся, сливаются друг с другом. Не помню, построили ли уже тогда «Плазу» — наверное, должны были, потому что я слушала там Тома Макналти, но вряд ли это было раньше 1929 года, а тогда я уже была далеко не девчонкой, но тут я что-то путаюсь. Трудно понять, сколько лет человеку в купальном костюме, который весь с ног до головы залит солнечным светом, вот и я не вижу, сколько мне, мысленно вглядываюсь в прошлое, но вижу одно только сказочное сияние. И под водой все так же сияет, все так же увязано, пересыпано чудесами, и глаза там так чудно слепнут, все в них расплывается, потому что море — это громадная линза, и ты плывешь, а на лице у тебя — море. И тогда оно становится похожим на картину, на безумное рвущееся вон из рамы полотно — в городской библиотеке таких картин была целая книжка, про ребят, которые рисовали во Франции, а над ними все смеялись и говорили, что они рисовать не умеют. Не рискну писать, как

их звали, но я всех помню — жесткие, тяжелые имена — и в пару к ним беспокойные судьбы, я сейчас пишу и мысленно произношу эти имена. Но стыдно будет, если напишу их с ошибками. И вот я там, под водой, все мое тело такое невесомое и такое осязаемое — в легких сначала полно воздуха, но потом они начинают пустеть, и вот голове уже легче, лучше, а прохладные воды все глубже и глубже, и они омывают мое лицо, ощупывают всю его форму, до мельчайших черточек. Вдруг мне ужасно захотелось рассказать об этом доктору Грену, не знаю, с чего бы, думаю, ему будет интересно послушать, ему будет приятно это услышать, но я еще боюсь, что он тут углядит что-нибудь этакое. Он все старается интерпретировать, а это опасно, очень опасно. Итак, пляж Страндхилла, самый прилив — сначала так хорошо, а потом тебя сносит вглубь, и внезапно ты оказываешься в могучих волнах залива, в его огромной мышце, громадной, как знаменитая река Гудзон — ну, не такой уж большой, конечно, но мне казалось, будто бы я нахожусь не в воде, а в чьих-то мощных объятиях, которые сжимают меня прямо перед лицом Господа. Чувствовала ли я, что это потихоньку тянет меня к себе, туда, в самую глубину? Не знаю. Знаю, что я отдалась

этому всем сердцем, чувства меня так и переполняли, может быть, я даже расплакалась, хотя можно ли вообще плакать под водой? Сколько же я там плавала, не поднимаясь на поверхность? Минуту, две, три, словно ныряльщики за жемчугом в южных морях, где бы они ни были, какими бы они ни были. Там были только я и мой купальный костюм, а с внутренней стороны костюма у меня был маленький кармашек, а в нем два шиллинга — деньги на обратный билет до Слайго, которые я засунула туда, чтобы не потерять, в таком кармашке католик, наверное, мог бы спрятать наплечники.[31] И вот вся моя юность, моя мягкость, моя тяжесть, мои голубые глаза и желтые волосы ускользали вниз, под воду, где было, наверное, три сотни акул, и я была к ним все ближе и ближе, но как чудесно, как чудесно, что мне было совсем все равно. Я сама будто стала акулой.

Течение вцепилось в меня мощной хваткой, я была как слово, потерявшееся в звуках музыки.

И тут у меня внезапно отняли все счастье, вытащили из кармана, выхватили чьи-то руки, опытные руки, руки с хитрецой — я это даже

---

[31] Примечания: 31
Парные накладки с изображением святых.

чувствовала. И этот человек, скользкий, круглый, сильный, потянул меня вверх, через безумное сверкание, мы вынырнули на поверхность, и снова вокруг нас грохотал мир, вздымались волны, и над нами снова было небо, или под нами, я уже не понимала. Пловец потащил меня к берегу, туда, к мальчишкам и девчонкам, ведеркам, старой пушке, нацеленной в море, домам, «Плазе», осоловевшим осликам, паре-другой автомобилей, Слайго, Страндхиллу и моей судьбе, судьбе столь же горестной, как судьба отца, к моей нелепой, дурацкой, жестокой участи.

Никто, кроме Тома Макналти, и не мог тогда выудить меня из моря. Никто другой. К тому же он был известный пловец, у него и медаль уже имелась за спасение утопающего, которой его наградил сам мэр Слайго, и как говорил Том, она-то и протащила его в политики. В тот раз он спас старика, которого смыло волной с самого берега, такая уж у моря манера шутить, — тогда он спас старика, но он был не таким старым, как я сейчас. Нет-нет.

— Я тебя знаю, — сказал он, все его тело лоснилось на фоне песка, а на приятном, широком и круглом лице расплывалась улыбка. Вокруг нас уже собралась целая толпа, и его брат Джек

тоже был там — на нем были неброские черные шорты, а тело у него, казалось, будто и не плоть вовсе, а камень какой, мышцы и жилы путешественника. — Ты девчонка из кафе «Каир».

А я рассмеялась — попыталась рассмеяться, в горле у меня булькала соленая вода.

— Ох, черт, — сказал он, — да ты глотнула океану. Наглоталась, ага. Господи, и где же твое полотенце? Полотенце у тебя есть? Есть? А одежда где? Ага, ну идем тогда. Идем со мной.

И вот мне на плечи накинули полотенце, а Джек аккуратно собрал всю мою одежду, и меня повели по раскаленной дороге к «Плазе» — там, где было можно, мы старались идти по траве у обочины, и, миновав пустыню автопарка, мы оказались в билетной будке, и Том все смеялся, уж, наверное, ему было легко и весело от того, что он меня спас. Не помню, получил ли он за меня еще одну медаль, но надеюсь, что получил, потому что, если хорошенько подумать, ее он точно заслужил.

Господи, как же трудно вспоминать радость тех дней, но, с другой стороны, мне ведь выпала редкая удача — пережить такую радость, такое счастье.

Я понимала, как мне повезло, как понимает это

воробей, которому вдруг в одиночку достается целая крошка хлеба.

Да еще и гордость, ведь я так гордилась им, гордилась его известностью, его уверенностью в себе. Вот мы с ним идем между живых изгородей, поднимаемся по ступенькам в кинотеатр. Мы были будто голливудская парочка: я, наверное, Мэри Пикфорд, хотя, честно говоря, Том ростом не вышел для Дугласа Фэрбенкса.

Одно только было плохо — в Слайго все ужасно пили. Мужчины, вроде Тома и его брата, к ночи уже так надирались, что потом уж ровным счетом ничего не помнили, да и вряд ли хотели бы вспоминать, так что им это было только на руку.

И вот я, бывало, стою в зале, и так хорошо мне одной — я гляжу на сцену, где выстроился оркестр Тома, а там его щеголеватый папаша знай наяривает на кларнете, да хоть на каком угодно инструменте. Ближе к ночи Том обязательно играл «Замечательную девчонку»[32] и так и косился на меня, будто коршун. Как-то раз мы с ним гуляли по пляжу в Россес, и он дразнил меня, напевая «Когда гаснут в Каире огни», потому что я была девчонкой из кафе «Каир».

---

[32] Примечания: 32
Популярная мелодия конца 20-х годов.

Был такой певец — Кеван О'Коннор, которому он вечно подражал, потому что считал его величайшим певцом на свете. Но потом Том увлекался и Джелли Ролл Мортоном,[33] и, как и все трубачи, сходил с ума по Бабберу Майли,[34] даже сильнее, чем по самому Луи Армстронгу. Том говорил, что Баббер встряхнул Дюка Эллингтона, тут и сомневаться нечего. Для Тома это все было так же важно, как и политика. Но едва он заводил про политику, как я тотчас же переставала его понимать. Все это было совсем неинтересно, не то что музыка. Вскоре я уже подменяла их пианиста, когда тот заболевал. У этого огромного парня, родом откуда-то с самых окраин Нокнари, была чахотка. *Black Bottom Stomp* — можно сказать, это был его коронный номер. Джек со сцены никогда не выступал, но любил спеть что-нибудь, когда только-только начинал набираться и становился такой веселый-развеселый. Тогда он заводил «Розы Пикардии» и «Путь далек до Типперери», потому что еще совсем мальчишкой он попал в

---

[33] Примечания: 33

Джелли Ролл Мортон (1885–1941) — известный американский джазовый пианист.

[34] Примечания: 34

Джеймс Уэсли *«Баббер» Майли* (1903–1932) — известный трубач, одно время игравший в бэнде Дюка Эллингтона.

Британский торговый флот, но об этом я, кажется, уже писала. Побывал во всех портах, от Коба[35] до Каира, но и про это я, по-моему, писала тоже. Быть может, оно стоит того, чтобы написать об этом дважды.

Джек то и дело ненадолго куда-нибудь уезжал. Одно время получал подряды на работу в Африке. Том страшно гордился Джеком, Джек ведь в Голвее получил сразу два диплома: по геологии и инженерному делу. Умнейший был человек. Должна признаться, что выглядел он раза в три лучше своего брата, да только это не имело никакого значения. Но он был хорош собою, похож на какую-нибудь кинозвезду в роли провинциального паренька, и вот сидишь, значит, в кино, смотришь какую-нибудь «Бродвейскую мелодию» или еще что-нибудь такое, а потом зажигают свет, и все снова оказываются в проклятом Слайго — все, кроме Джека. Был в нем какой-то голливудский лоск.

Но Джек держался от меня на расстоянии, и уж сколько между нами было метров, я даже не знала. Дружелюбным его назвать было сложно — уж слишком он был ироничен, все шутил да

---

[35] Примечания: 35
Портовый город в графстве Корк.

подсмеивался, и иногда я замечала, что он на меня как-то не так смотрит. Нет-нет, не так, будто хотел за мной приударить, а как-то неодобрительно. Подолгу так смотрел, когда думал, что я его не вижу. Всю оценивал.

Еще у Джека был «форд», в пару к кожаному воротнику его пальто. И мы вечно куда-то ездили в этом авто, видели тысячи ирландских пейзажей через его переднее стекло, стряхнули с него миллионы тонн дождя этими маленькими дворниками: туда-сюда, туда-сюда, а уж сколько галлонов виски они там выпили, пока мы разъезжали всюду. Самым шиком считалось добраться по мелководью до пляжа на острове Кони, так, чтобы с воплями и весельем промчаться по этой лужице воды. С нами всегда была куча друзей: самые хорошенькие девчонки, которые увивались за парнями из бэнда, и модники из Слайго и Голвея. И самое забавное — у Джека ведь была подружка, на которой он прямо собирался жениться, Май ее звали, но мы ее и в глаза не видели, потому что она жила в Голвее с родителями, которые были людьми очень состоятельными. Отец у нее был страховой агент — Джека это очень впечатляло, и в Голвее у них был не просто дом, а Дом с Названием, что тоже не могло не впечатлить

человека, отец которого обшивал сумасшедших в психиатрической лечебнице Слайго. Они познакомились в университете, где она была одной из первых девушек-студенток, да и вообще она много в чем была первой, потому и смотрела на меня сверху вниз. Хотя тут я несправедлива, наверное, я и видела ее всего-то раз в жизни.

Вообще-то дурную услугу я оказываю Тому, когда пишу тут все это. Ведь его кузен был владельцем «Слайго Чемпион», и еще он был депутатом в нижней палате парламента — самого первого настоящего парламента, как про него тогда говорили, парламента, который образовался после подписания Договора. А Джек всегда говорил — я вечно слышала, как он рассказывал это каждому новому знакомому, — что был кузеном того самого Эдварда Карсона, бессердечного Карсона, который молниеносно отрекся от фристейтеров, будто крыса, которая соскочила с тонущего корабля, которая надеялась, молилась, что он потонет. Том рассказывал, что его родня импортировала — или экспортировала? — масло в Слайго, и у них были торговые суда, прямо как у Джексонов и Поллексфенов. И что второе его имя было Оливер — Томас Оливер Макналти, — потому что во времена Кромвеля у них отняли

все их земли, когда Оливер Макналти отказался переходить в протестантство. Говорил, а сам осторожно косился в мою сторону, я ведь сама протестантка. Но я, наверное, была не из тех протестантов. Джеку нравились протестанты-помещики,[36] потому что сам он себя причислял к католической аристократии. Он уж, наверное, не думал об ирландских пресвитерианах. Это же был рабочий класс. Фраза-страшилка.

— Из этого парня рабочий класс так и прет, — то и дело говаривал Джек. После Африки у него появилось еще несколько странных присказок, вроде «будь как белый человек». И еще «хамма-хамма». А из-за того, что ему довелось перевидать сотни пьяных пирушек, он еще любил говорить: «Выпил — убери за собой!» Человека, который, по его мнению, не заслуживал доверия, он называл «хитрожопым».

Волосы у него были рыжие — каштановые даже, он их зачесывал назад. Черты лица резкие, взгляд пронзительный. Да уж, вылитый Кларк Гейбл, или еще лучше — Гэри Купер. Красавец.

---

[36] Примечания: 36

Потомки переселенцев-англичан, которые владели в Ирландии большими земельными наделами, где они строили роскошные дома.

* * *

Я все ищу мать в этих своих воспоминаниях и не нахожу ее. Она просто исчезла.

Глава четырнадцатая

Записи доктора Грена

Сегодня утром по пути на работу я проехал мимо склона с ветряными генераторами, которых раньше не замечал. Быть может, я не замечал их потому, что их раньше там не было, но в таком случае я не заметил и того, как их там строили, а это, наверное, случилось не в один день. Вдруг, совершенно внезапно — и эти ветряки-мельницы. Бет говорила, что я вечно витаю в облаках. Как-то раз я пришел домой — на улице шел дождь, — сел на кушетку, а через пару минут, проведя рукой по волосам, спросил: «Отчего это у меня вся голова мокрая?» Бет обожала всем рассказывать эту историю, когда, конечно, еще было кому ее рассказывать.

И тут вдруг, из ниоткуда, взялись эти мельницы. На холме (хотя, наверное, это даже гора, если у нас в Ирландии и бывают горы), который называется Лабанакаллах, там еще лес начинается, Наджентов лес, и он растет аж до самой заснеженной макушки холма. Кто такой был этот Наджент, почему он посадил этот лес, уж никто

не знает, разве что старожилы какие-нибудь. И вот я еду мимо него в своей «тойоте», на душе погано, в дурной моей голове все гудят упреки и обвинения, и тут вижу — мельницы вертятся серебристо, и сразу у меня сердце встрепенулось, будто перепелка вспорхнула из болота.

Встрепенулось. Такие красивые эти мельницы. Сразу вспомнились мельницы на картинах, и от одного только воспоминания такие странные чувства. Наверное, это все из-за Дон-Кихота. Всегда было грустно смотреть на разрушенные мельницы. Волшебные это постройки. Современные ветряки — это, конечно, не то же самое. И, конечно, против них все всегда протестуют. Но они красивые. Они вдохнули в меня оптимизм, чувство, будто бы я и впрямь могу чего-то достичь.

Ночью я проснулся от ужасающего чувства стыда и беспокойства. Если бы я только мог составить опись своих переживаний, сделать из своего горя статью в каком-нибудь журнале, то оказал бы миру большую услугу. Но горе, думается мне, запоминать очень трудно, и к тому же горе всегда невидимо. Но все равно, это вой души, и мне более никогда не стоит переоценивать то, как оно может разъедать и другие души. Поэтому

я попробую запастись этим новым знанием, хотя бы в надежде на то, что, когда горе утихнет, я сумею сохранить для науки хотя бы его скелет.

Спасибо тебе, Господи, за эти мельницы.

Но да, я проснулся на рассвете. Думаю, опять из-за того таинственного стука — до сих пор не знаю, откуда он. Это Бет заклинает меня не забывать ее. Но этого ей бояться не стоит. Я перечитал свои записи о Розанне Клир, но отметил только глупости, которые написал про Саддама Хусейна. Хорошо, наверное, что я личность настолько незначительная, что все мои мысли, особенно самые постыдные и неуместные, никогда не станут публичными.

Когда умер Папа Иоанн, тоже были какие-то странные чувства. Меня глубоко тронула смерть человека, который помогал не только моим верующим пациентам, но еще и геям, и даже, боже мой, женщинам. При жизни его казалось, что жить так, как жил он, и есть вершина существования. Но в смерти своей он был великолепен, отважен. Как будто смерть еще больше приблизила его к людям, потому что смерть хватает все подряд, ничто человеческое ей не чуждо — она ненасытно берет все без разбору. Смерть, не

тщеславься.[37] Пусть так, но смерть все же могущественна и ужасна. И Папа Иоанн победил ее.

Что-то слишком много я думаю о смерти. Но так уж звучит музыка нашего времени. Миновал миллениум — и наивные дурачки вроде меня решили было, что теперь-то нас ожидает мирное столетие. Но Клинтон с его сигарой был не в пример лучше Буша с его ружьем.

* * *

Чем больше я вчитываюсь в отчет отца Гонта, тем больше я ему верю. Это потому, что пишет он таким классическим стилем: таким оборотам и такому синтаксису его, верно, научили в Майнуте. Его письмо кажется мне латинизированным, что-то подобное я видел, когда продирался через Цицерона в корнуолльской школе. И его страстное желание поведать эту историю, обсессия даже, говоря языком психиатрии, так и проступает через весь текст.

Он изливает душу, будто бы кается в грехах на исповеди. В словах его, конечно, нет ничего святого. Но он не отступает. Он идет вперед. Он

---

[37] Примечания: 37

Начало 10-го сонета Джона Донна из цикла «Священные сонеты» (пер. А. Н. Горбунова).

ничего не страшится. Он добросовестно отмечает каждую деталь.

Полицейским в Ирландии, как правило, старались давать посты подальше от родных мест, чтобы те, видимо, не имели возможности потрафить тем, кого знали с детства. Отец Розанны попал в число редких исключений из этого правила, он родился и вырос в Коллуни, это недалеко отсюда — уж точно недостаточно далеко от Слайго. А потому округу он знал, наверное, так, что это было опасно для его здоровья. Кто-то, быть может, воспринимал его присутствие в городе как личное оскорбление, в особенности после того, как туда подтянули дополнительные полицейские отряды, сформированные из офицеров — участников Первой мировой — и «черно-пегих», которые в основном воевали там же. Это было ответом на «беспорядки», которые, по большей части, заключались в том, что борцы за независимость устраивали засады и расстреливали солдат и полицейских — они называли их «войсками Короны».

Таким образом, ее отец мог прекрасно понимать, что именно творится в городе. Быть может, он мог даже собирать информацию так, как этого никогда бы не сумел сделать чужак. По вечерам

завсегдатаи пабов могли гораздо охотнее делиться с ним новостями и слухами. Алкогольная закалка у ее отца, конечно, была впечатляющей, потому что он не хуже портового грузчика мог опрокинуть пятнадцать пинт портера за вечер и потом еще вырулить к дому. Его дочь Розанна, должно быть, всякий раз с тревогой поджидала звук его шагов с улицы, чтобы затем втащить его в дом.

Местом для игр Розанне служило кладбище, которое начиналось прямо за их домом. Там она знала каждую тропинку, каждый уголок, но больше всего любила руины старой часовни в самом его центре: играла в какие-нибудь классики в полуразрушенном портике. Отец Гонт пишет, что однажды вечером ей довелось увидеть странные похороны. Несколько мужчин принесли на кладбище гроб, без участия священника или какой-либо церемонии опустили его в разрытую могилу и тихонько закопали под покровом темноты — только мерцавшие огоньки сигарет да приглушенные голоса выдавали их присутствие. Розанна, как и положено послушной дочери, тотчас же побежала к отцу и все ему рассказала. Похоже, она решила, что то были кладбищенские воры, хотя гроб-то опустили в могилу, а не вы-

тащили из нее, да и таких краж ни в Ирландии, ни где бы то ни было еще уже лет пятьдесят не случалось.

Не совсем ясно, откуда отцу Гонту стали известны все эти подробности, и действительно, я сейчас перечитываю все это и просто поражаюсь его всеведению, но, с другой стороны, в те времена к всеведению стремился каждый священник.

Но как бы то ни было, а на следующее утро отец Розанны в присутствии отца Гонта выкопал гроб обратно, но вместо тела там лежало оружие, которое во время войны за независимость было на вес золота и добывали его с превеликим трудом, зачастую, например, снимая с трупов убитых полицейских. И действительно, выкопанное оружие по большей части оказалось полицейским, плюс добыча с разных засад и облав. Отец Розанны, наверное, видел в этом напоминания об убитых товарищах.

Свежевырезанная надпись на надгробии сообщала о том, что под ним лежит некий Джозеф Брэди, но в городе не было покойников с таким именем.

Невероятно, но мужчины зарыли там не только оружие, но и отчеты с тайных собраний, куда каким-то уж совсем чудесно-идиотским образом

затесались некоторые имена и адреса, в том числе и тех, кого давно разыскивали за убийство. Экая удача привалила полиции. Никто и опомниться не успел, как кое-кого из списков уже похватали, и один из них был убит «при попытке бегства», им оказался некий Вилли Лавелл, чей брат, согласно доброму священнику, в дальнейшем сыграл заметную роль в судьбе Розанны. По какой-то причине этот Вилли Лавелл был потом похоронен в той самой могиле, где так неудачно было припрятано оружие. Найденные оружие и документы, а также это убийство вызвали целую бурю среди подпольщиков, которые все это прятали.

За этим, несомненно, последовала целая волна распоряжений, в которых приказывалось мстить полицейским всеми возможными способами. Но это произошло не сразу, и семье Розанны пришлось довольно много времени прожить под гнетом этого ежедневного, ежеминутного страха. Уверен, они изо всех сил надеялись на то, что мятеж будет подавлен и в Ирландии вновь воцарится мир. Наверное, они и сами сказали бы, что на это остается только надеяться.

Я перебираю хрупкие страницы отчета, написанного отцом Гонтом, и снова спрашиваю себя,

могу ли я его использовать. Могу ли я просить Розанну снова пережить все это? Необходимо все время помнить о том, что первоочередная задача для меня — понять не суть ее страданий, а их последствия, истинную причину, по которой ее поместили в клинику. А это возвращает меня к тому, с чего все и началось — к необходимости подтвердить или опровергнуть ее безумие, установить законность ее пребывания здесь и возможность или невозможность ее возвращения в общество. Думаю, смогу решить это без ее помощи или только с той помощью, которую она сама захочет мне оказать. Я должен вынести заключение на основании того, что я вижу, а не того, что мне рассказали, или того, что подсказывает интуиция.

Колокола в церкви Святого Фомы прозвонили восемь. Я опаздываю, как кролик из сказки Кэрролла.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Том перезнакомил меня с кучей людей, потому что человек он был общительный до невозможного, но матери он показал меня только через несколько лет после нашего знакомства. Про то, что мать у них есть, я, конечно, знала — братья,

бывало, то и дело о ней заговаривали. Я даже вполне ее себе представляла: представляла ее маленькую фигурку, ее слабость к альбомам, куда она вклеивала все, что имело хоть какое-то отношение к сыновьям — дорожные билеты Джека, вырезки из «Чемпиона» с объявлениями о выступлениях Тома сначала на танцевальных вечерах в «Плазе», а затем с речами на самые разные темы по всему городу. У меня сложилось впечатление, что они с мужем частенько не ладили, что Старый Том, по ее мнению, слишком уж много времени тратил впустую. Но, быть может, она уж точно знала цену времени. И сама его никогда зря не расходовала. Я знала, что она пообещала отдать дочь в монахини, когда та была еще совсем маленькой, и девочку, Тизи, вместе с денежным взносом в свое время действительно отправили к «Сестрам милосердия». Был такой нищенствующий монашеский орден, жили они тогда в общине, которую называли «Назаретом». Такие общины у них были по всей Англии и даже в Америке. Не знаю, мечтала ли мать о духовной карьере для своих сыновей, но уж, наверное, думала, что, отдав в монастырь хотя бы дочь, свою бессмертную душу она всяко подстраховала.

И, конечно, был ведь еще один сын, Энус, но о

нем всегда упоминали лишь вскользь, хотя парутройку раз он вроде бы пробирался из огромного мира домой, где, судя по всему, целый день спал, а на улицу выходил лишь с наступлением темноты. В те времена великих тайн то была совсем маленькая загадка, и я тогда, кажется, и вовсе о ней не думала.

— Отчего это твой брат Энус почти никогда не бывает дома? — спросила я Тома как-то раз.

— Да так, есть за ним один грешок, — вот и все, что поначалу отвечал мне Том.

Но как-то раз мы с ним в городе повстречали его соперника, из республиканцев, что вдруг быстро начали набирать популярность, и тот отпустил в адрес Тома какую-то непонятную шутку. Звали его Джозефом Хили, и негодяем он уж точно не был.

— Да это же Том, — сказал он, — брат полицая.

— Чего? — переспросил Том, и в голосе его не было слышно привычного веселья и добродушия.

— Ничего, ничего. У всех у нас есть свои скелеты в шкафу.

— Ты что же, Хили, хочешь к муниципальным выборам из этого что-то состряпать?

— Что? Нет, нет, — ответил Джозеф Хили, будто

оправдываясь, потому что, хоть они и были противниками, Тома все любили, да и Хили, как я уже сказала, был человеком вполне достойным. — Я просто дразнил тебя, Том.

И они обменялись вполне сердечным рукопожатием. Но я-то видела, что настроение у Тома переменилось, и потом всю дорогу он был мрачен и молчалив. В стране шкафов, в каждом из которых после гражданской войны лежало по скелету, этого было никак не избежать. Но я понимала, что Тому это обидно, чуть ли не до слез. Ведь у Тома был план, намеченный путь, что для такого юноши, как он, было весьма похвально. Но вот без скелетов в шкафу он уж точно мог бы прекрасно обойтись. Мать его была того же мнения. Она обожала популярность Джека, она обожала популярность Тома, даже если Джек рядился в заношенные наряды старинных порядков, а Том примеривал на себя новомодные шляпы новой Ирландии. Все это я вызнала из их разговоров, и всякий раз, когда они заводили разговор о матери, я навостряла уши, будто шпион, который ходит по барам и слушает пьяную болтовню, потому что я как чувствовала — однажды мне пригодится каждая кроха такой информации, если я хочу пережить встречу с ней.

А если в этой игре и выпадала дурная карта, то это всегда была пустая, черная карта моей матери.

* * *

В те странные времена, когда уж если что-то неожиданное могло случиться, оно всегда и случалось, страну возглавил мистер де Валера.

— В нижней палате снова полно оружия, — угрюмо сказал Том.

— То есть как это, Том? — спросила я.

— Да им так страшно там находиться, что они на заседания приходят вооруженными.

Теперь Том говорил с вполне понятным отвращением, потому что именно этих людей его партия всеми силами старалась усмирить, бросить в тюрьму и, увы, казнить. И как же это так вышло, что те, кто выступал против Договора, те, кого парни вроде Тома хотели навеки вымарать из истории Ирландии, теперь управляли страной… Прямо почувствовать было можно, как жизнь в Слайго вдруг переменилась. На коне вдруг оказались парни вроде Джозефа Хили. С учетом всего происходившего, Тому это было страх как горько и обидно. Сама бы я была рада вообще ни о ком из них не думать, но Том

умудрялся приплетать политику и к любовным разговорам.

Этот разговор у нас состоялся, когда мы с ним лежали на вершине огромной песчаной дюны, которая, собственно, и дала имя Страндхиллу. Для будущего Тома то было самым серьезным препятствием из всех возможных. Сам-то он к оружию не привык, так как в войну был еще совсем мальчишкой. Ну и, надо отдать ему должное, он сам считал, что теперь с помощью оружия ничего не решить. Ему казалось, что Север все-таки как-то можно объединить с Югом, но на каких-то совершенно безумных условиях, вроде того, что Карсон, например, станет, как он шутил, первым «королем Ирландии». Люди вроде Тома все еще носились с этими старыми идеями. Идеи у него в голове порхали туда-сюда, будто танцевали свинг под его музыку. Джозеф Хили охотно пристрелил бы Карсона, если б только это можно было провернуть без лишнего шума, а потом спокойно пойти бы домой, к семье.

Теперь во все эти дела были вовлечены целые семьи и даже дети, а не как раньше — одни молодые парни да кое-какие девчонки.

Но как бы то ни было, а вскоре он вновь принялся меня целовать — в тиши дюн, под возму-

щенные вопли чаек, которые одни только нас и видели, пока море уносило героические разглагольствования Тома на другой берег. Извечный страндхилльский ветер то и дело принимался ворошить прибрежные водоросли. Холодно было — ужас, но мы грелись поцелуями.

И всего-то пару недель спустя, на мосту подле отеля «Лебедь» меня останавливает — кто бы вы думали — изрядно потрепанный жизнью Джон Лавелл.

Он по-прежнему казался молодым, но какая-то тень будто уже легла на его лицо. Выглядел он так, будто тяжко ему пришлось в Америке или где уж он там был, и когда я глянула вниз, то увидела, что подошвы его ботинок протерты чуть ли не до дыр. Я представила, как он бродяжничает, прыгает с одного поезда на другой и шатается по миру без дела и цели. Хотя худое и посеревшее его лицо было по-прежнему привлекательным.

— Гляньте-ка, — сказал он. — Тебя и не узнать.

— Да и тебя, — ответила я.

Я была одна, но все равно держалась настороженно, потому что Слайго что твоя проклятая большая семья, все про всех всё знали, а если уж чего и не знали, то из кожи вон лезли, чтобы узнать. Думаю, Джон Лавелл заметил, как я осто-

рожно посматриваю по сторонам.

— Что такое? — спросил он. — Говорить со мной не хочешь?

— Нет-нет, — сказала я. — Хочу. Ну и как поживаешь? Был, значит, в Америке?

— Была у меня такая мысль, — ответил он. — Но все не бывает вот так просто. Скажи Богу о своих планах…

— Ну да, верно, — сказала я.

— Зато в Ирландии я теперь свободный человек, — сказал он.

— Свободный?

— Ну, раз Дев[38] теперь у руля.

— А, точно. Ну, хорошо, значит.

— Уж получше, чем в сраной тюряге в Куррахе.

От ругательства я аж вздрогнула, но, думаю, у него было право так выражаться.

— Это там ты был?

— Там.

— Ну, давай, Джон. Как-нибудь еще увидимся.

— Я собираюсь домой, на острова, но да, ты меня уж точно еще увидишь, это верно. Я нашел себе работенку в муниципалитете.

— Так ты что, в выборах участвовал?

---

[38] Примечания: 38

Дев — прозвище Имона де Валеры, главы правительства ирландских фристейтеров, ставшего в дальнейшем президентом Ирландии.

— Нет, нет, — ответил он. — Дорожные работы. Для муниципалитета. Копать буду, ну и все такое.

— Это хорошо. Это настоящая работа.

— Это работа. А работу сейчас найти трудно. Даже в Америке, говорят. Сама-то работаешь?

— В кафе «Каир», — ответила я. — Официанткой.

— Молодец. Вернусь в Слайго, загляну к тебе.

— Да-да, конечно, — ответила я и внезапно стушевалась, устыдившись сама не знаю чего.

* * *

Только что Джон Кейн принес мне супу.

— Эта чертова работа меня до смерти доведет, — говорит он. — Уж лучше кротов ловить в Коннахте.

И все это время кадык у него так и дергается.

— Но в Коннахте кроты не водятся, — говорю я.

— Да они по всей Ирландии не водятся. Вот и была бы чудная работка для старика, верно? Чертовы ступеньки!

И ушел.

* * *

Мать их жила в очень милом домике, но там повсюду стоял запах вареной баранины — и так меня трясло от страха, что на языке все вертелось: баранина, мол, из жертвенного барашка. Чувствовалось, что где-то в доме булькает в горшках капуста с огорода Старого Тома — цветная капуста, кочанная капуста — и баранина вместе с нею булькает, булькает, выплевывая свой отчетливый, влажный, пресноватый запах в коридор. Такое у меня было впечатление. К этому дому я приближалась всего два раза в жизни, и оба раза чуть не умерла на пороге. Тогда мне от одного запаха мяса становилось тошно. Но запах вареного мяса был хуже всего. С чего бы, сама не знаю, потому что моя мать обожала всякое мясо, даже ливер и требуху, от вида которой и хирурга бы замутило. Баранье сердце было для нее превосходным ужином.

Том привел меня в парадную гостиную. Я чувствовала себя там домашней скотиной, я чувствовала то же самое, что когда-то, наверное, чувствовали корова, теленок и свинья, когда их заводили в дом на ночь. Было время, когда в Ирландии люди и скот спали все вместе, в одном

доме. Потому-то во многих деревенских домах на кухне пол по-прежнему покатый, чтобы очаг, альков с кроватью или лестница наверх, в спальню, оставались на возвышении и дерьмо и помет туда не затекали. Хлев для людей получался. Но я чувствовала себя скотиной и то и дело неуклюже натыкалась на мебель, хотя обычно за мной такого не водилось. А все потому, что мне там быть не следовало. Никак не суждено мне было там оказаться. Думаю, сам Боженька обомлел, увидев меня там.

В ее гостиной стояли несколько кресел и диван, обитые темно-темно-красным плюшем, и такие они были старые и бугристые, что казалось, будто там, под плюшем, что-то давным-давно умерло и застыло навеки вот такими подушечками. И отовсюду несло бараниной. Ох, не хотела я писать это «несло», не хотела я писать про все это так плохо. Господи, прости.

Она поглядела на меня очень ласково. Меня это очень удивило. Но говорила она не так мило, как глядела. Теперь я думаю, что она тогда, наверное, пыталась быть любезной, пыталась произвести хорошее впечатление. Женщина она была миниатюрная, а волосы у нее ото лба росли, как тогда

говорили, вдовьим мыском.[39] Одета она была во все черное, в платьице из какого-то черного материала, который подозрительно лоснился, будто ткань на локтях священнической сутаны. И как раз на шее у нее висел очень красивый золотой крест. Я знала, что она работает швеей в местном сумасшедшем доме, там же, где ее муж, Старый Том, был портным. Да, да, познакомились они за раскройным столом.

— На нее свет падал из окна, и она была прямо ангел, — однажды сказал мне Старый Том.

Уж не помню, к чему он мне говорил и когда это было. Наверное, еще в самом начале, когда все было куда лучше. Помню, что мысли у него вечно разбредались в разные стороны. Он был невероятно доволен собой и, думаю, имел на то полное право. Но она теперь отнюдь не казалась мне ангелом.

— Коленки-то совсем острые, — сказала она, строго оглядывая мои ноги.

— Какие? — переспросила я.

— Острые, острые.

— Ну, знаешь, а то детям будет неудобно сидеть, — пришел Том мне на помощь, но что-то

---

[39] Примечания: 39
Согласно примете, такой рост волос — к раннему вдовству.

мне это никак не помогло.

— А-а, — сказала я.

На лице у нее были прочерчены странные белесые дорожки, будто легкая сыпь первого снега у обочины. Наверное, она напудрила лицо. А солнечный свет, который день за окном буквально втолкнул в комнату, ее выдал.

Нужно мне постараться писать о ней справедливо.

Тут Старый Том усадил меня в одно из бугристых кресел. На каждый подлокотник было нашито по салфеточке, на которой простой гладью были вышиты цветы. Скромная, опрятная работа. Сама миссис Макналти уселась на кушетку, где лежала небольшая стопка книг — то были ее альбомы. Ради такого случая она даже отложила их, как любитель сладкого, страшно терзаясь, откладывает подальше плитку шоколада. Старый Том подтянул деревянный стул поближе ко мне. Уж он-то держался весело. В руках у него была маленькая флейта пикколо, и он без лишних разговоров начал мастерски наигрывать на ней какой-то ирландский мотивчик. Потом остановился, рассмеялся и сыграл еще один.

— На виолончели умеешь? — спросил он. — Нравится, как она звучит?

Конечно, в бэнде он никогда не играл ни на флейте, ни на виолончели, и теперь казалось, что он вместо слов говорит со мной при помощи этих, куда более редких инструментов. Но я никак не могла уловить, что же именно он пытался сказать. В «Плазе» мы с ним часто болтали, но тут казалось, что этих разговоров и вовсе не было. Как будто бы я вообще не встречала его раньше. Все это было очень странно.

Миссис Макналти фыркнула, встала с кушетки и выплыла из комнаты. Это ее фырканье могло означать что угодно, и я надеялась, что это было всего лишь характерное восклицание, как писали в старых романах. Старый Том еще прошелся немного по своему репертуару, а потом тоже поднялся и вышел. И Том вышел тоже. На меня он даже не поглядел.

И я осталась сидеть там. Только я, комната, эхо музыки Тома да еще одно эхо — миссис Макналти, которое разгадать было так же сложно, как мелодии О'Каролана.[40]

Наконец Том вернулся, подошел ко мне и помог мне встать с кресла. Сказать он ничего не сказал,

---

[40] Примечания: 40

Торла О'Каролан (1670–1738) — известный ирландский слепой композитор, арфист. Его произведения дошли до нас в виде мелодических тем, без аккомпанемента.

так, мелькнул улыбкой, будто бы говоря — ну вот так, что ж тут поделаешь. Мы с ним вышли на Страндхилл-роуд, где помимо этого дома стояли еще четыре или пять таких же, по акру земли на каждый. Было что-то незаконченное в этой улице, незавершенное, и какой-то уж очень незавершенной вышла эта встреча с миссис Макналти.

— Я, что, ей не понравилась? — спросила я.

— Ну, ее беспокоит твоя мать. Можно сказать, у нее профессиональный интерес. Но это не главное. Нет, не главное. Я думал, что все дело будет в этом, но нет. Мама очень религиозна, — сказал Том. — Вот что самое сложное.

— А-а, — сказала я и взяла его под руку. Он улыбнулся мне почти ласково, и мы с ним довольно мило зашагали вместе по направлению к узким старым улочкам городских окраин.

— И вот еще что, — сказал он, — она хочет, чтобы ты побеседовала с отцом Гонтом, если это возможно.

— Зачем? — спросила я.

А сама подумала, господи боже, так она еще и с отцом Гонтом дружбу водит.

— Ну, понимаешь, — сказал он, — про всякие

там что да как. Дурацкий этот *Ne Temere*[41] и все такое прочее. Черт дери, да мне наплевать, будь ты хоть индуской, но сама понимаешь, это все из-за пресвитерианства. Господи Иисусе, да мне кажется, до того ни один протестант не ступал на порог ее дома, вот уж точно тебе говорю.

— Но я-то, я сама ей понравилась?

— Не знаю, — ответил он. — Про это она ничего не сказала. У нас в кладовке было чисто заседание комитета, только официальные вопросы.

Том еще не просил моей руки или что-нибудь в этом духе, но все же я знала, что все эти разговоры как-то связаны с замужеством. Внезапно мне самой не захотелось идти за него или за кого другого, вообще замуж расхотелось. Мне было слегка за двадцать, а в те времена двадцать пять — уже старая дева, и тогда тебе даже какого-нибудь горбуна в мужья не достанется. Тогда в Ирландии девушек было куда больше, чем парней. Женщины поумнее в два счета срывались в Америку и Англию, пока еще не успели увязнуть навечно в ирландской трясине. А Америке женщины

[41] Примечания: 41

Декрет (булла) Папы Пия X (1907), в котором подробно оговаривались условия вступления католиков в брак с людьми других вероисповеданий. Назван по первым словам, с латыни приблизительно переводится как «Не беспечно».

были страсть как нужны, мы шли на экспорт в Америку, что твое золото. Они уезжали сотнями, сотнями — каждый божий год. Красавицы и толстушки, низенькие, страшненькие, крепкие и изможденные, молодые и старые, да всех мастей, черт подери. Я думаю, что они ехали за свободой, следуя зову своих инстинктов. Уж лучше сидеть без денег в Америке, чем без мужа в этой чертовой Ирландии. Вдруг меня накрыло отчаянным, страстным, яростным даже желанием последовать за ними. Запах той баранины въелся в мою одежду, и мне казалось, что избавиться от него можно только перебравшись через Атлантику.

Но, видите ли, любила я этого Тома. Господи, помоги.

Глава пятнадцатая

Записи доктора Грена

Непонятные и неприятные новости про Джона Кейна. Сегодня на собрании обсуждали доклад одного из санитаров. Родственница одной из пациенток обнаружила, что та чем-то сильно расстроена, пациентка эта — еще довольно молодая женщина из Лейтрима, ну, молодая по сравнению с местными стариками, так-то ей, наверное, слегка за пятьдесят. Она у нас недавно, страдает от острого психоза — она-де мессия в женском обличии, которой не удалось спасти этот мир, и за это она себя регулярно бичует. Для бичевания используется колючая проволока. И все это происходило на самой обычной лейтримской ферме, в самой обычной и даже, кажется, счастливой семье. Вот, одна трагедия уже есть. Но та родственница, по-моему, сестра, сегодня утром пришла к ней в палату и застала ее в сильной тревоге: ночная сорочка задрана, между ног — подозрительные следы крови. Крови не то чтобы много, так, пара пятнышек. Как обычно, все сразу заподозрили самое худшее, отсюда и

собрание всего персонала. Все, как один, думают на Джона Кейна, потому что за ним и раньше вроде бы замечали подобное, но доказательств особых не было. Но с другой стороны, он ведь такой старый, неужто он еще на что-то способен? Хотя, наверное, уж это мужчина всегда сумеет. Но доказательств у нас нет, ни единого, поэтому нам всем нужно просто быть начеку.

Снова поражен тем, до чего же все на этих собраниях обычно перепуганы, как боятся, что о событиях в клинике придется докладывать кому-то постороннему. Что придется в чем-то отчитываться перед какой-нибудь комиссией, и неважно, что именно эта комиссия пришла проверять. И этот страх я наблюдаю на каждом собрании, даже если речь идет о легком пищевом отравлении, которое пациентам устроили повара. Весь персонал собирается вместе и будто бы сжимается в клубок, ощетинивается иглами. Должен признаться, я и сам чувствую то же самое. Человека со стороны, наверное, должно шокировать то, на сколько нарушений мы просто закрываем глаза, даже на очевидные катастрофы. И все же этот инстинкт очень силен, особенно, как мне кажется, в психиатрической лечебнице, где работа и без того тяжелая, дикая даже. Здесь

уровень стресса каждый день зашкаливает до отметки «ураган» или «цунами». Поэтому всегда лучше справляться своими силами. Однако я пока не знаю, что там решит родственница.

Как же непривычно постоянно напоминать себе, что скоро все эти люди, все эти комнаты, да все эти проблемы отправятся на все четыре стороны, после того как это здание спишут.

Странно, что на этой же неделе у Джона Кейна обнаружили рецидив рака горла. Ему об этом, конечно, не сказали, нет. Ему просто трудно глотать, вот и все, что он знает. Если б не все случившееся, его было бы ужасно жалко. Конечно, если все случившееся — его рук дело, то нам остается только пожелать, чтоб, как говорят ирландцы, он перед смертью вопил как осел.[42] Впрочем, в его возрасте такой тип рака может прогрессировать очень медленно. Хотя, точный его возраст мне так и не удалось узнать. Он сам сказал, что свидетельства о рождении у него нет, так как он вырос у приемных родителей. Что ж, надеюсь, у нас с

---

[42] Примечания: 42

«Пусть он сдохнет, вопя как доранов осел» — старинное проклятье, вероятный источник — народная шуточная баллада «Доранов осел», в которой рассказывается о пьяном Пэдди, который шел к своей девушке Бидди, но по пути прилег отдохнуть у дороги, где к нему и привязался осел, которого он принял за свою девушку и понял свою ошибку только тогда, когда осел взревел дурным голосом.

ним только это общее. Он тут все еще работает только потому, что никому как-то в голову не пришло отправить его на пенсию — никто же не знает, сколько ему лет. И кроме того, такая это черная работа, что найти ему замену будет практически невозможно, вряд ли за нее возьмется даже очень старательный китаец, босниец или русский. Да и сам Джон Кейн не выказывает пока желания сдать метлу. И он по-прежнему упорно карабкается по лестнице в палату Розанны, хотя эти ступеньки его когда-нибудь прикончат, и ему давно сказали, что там может убираться кто-нибудь другой. Но нет, стоило об этом заикнуться, как он впал в шамкающую «гневливость».

Должен признать, что из-за Бет я почти перестал обо всем этом думать. То есть попытался перестать. Голова у меня и без того нафарширована горем, как гранат — своими красными зернами. Из меня сочится одно только горе, больше ничему места нет. Пока регистратор и медсестры разговаривали о несчастной пациентке, которая подверглась насилию — если и впрямь подверглась, — у меня в голове все так и ревело. Сижу там с ними, а голова разрывается от какого-то грохота.

Затем я поднялся к миссис Макналти и немнож-

ко посидел с ней. Мне показалось, что так будет логичнее всего. Даже если это логика бедного мистера Спока,[43] который никогда ничего не чувствовал. Но во мне было столько разных чувств! Я не стал дальше дознаваться, как она оказалась в этой клинике. Просто не смог. Ужасно, конечно, в этом признаваться, но так оно и есть.

Сидел там, в ее сумеречной комнатке. Наверное, она за мной наблюдала. Но не произнесла ни слова. Я думал о том, чего никогда, ни при каких обстоятельствах, не смог бы при ней произнести вслух. Дичайшая смесь старых желаний и бесконечно новых сожалений.

Пытался встряхнуться, как говорят янки. Потому что вчера была еще одна странная ночь. Не знаю, что бы я себе сказал, если бы пришел сам к себе на сеанс терапии. То есть больше не знаю. Выходит, есть такие глубины горя, о которых знает только сам горюющий. Это путешествие к центру земли, огромная, тяжеленная машина, которая вгрызается в земную кору. А за пультом управления — маленький до смерти напуганный человечек. Ему страшно, очень страшно, но назад пути нет.

---

[43] Примечания: 43

Герой сериала «Стар Трек», известный своей логикой и полным отсутствием эмоций.

Меня довел этот стук. Такая мелочь! Но из-за него я постоянно чувствую себя так, будто у меня все нервы оголены. Нервы! Теперь я начал выражаться прямо как викторианский доктор.

Впрочем, все это ужасно отдает викторианщиной: нервы, спиритические сеансы, послания живым, уходящие в небытие мавзолеи на кладбище Монт-Жером, приобретенные в вечное владение, а потому — неприкосновенные, плесневеющие, потому что некому больше смахнуть пыль с надписей на надгробиях. Взгляните на мои великие деянья, владыки всех времен,[44] и так далее.

Прошлой ночью тьма сделала ко мне еще один шажок. Я лежал в кровати, но у сторожевого пса сон теперь крепче, чем у меня. И вдруг, в кромешной темноте, в самый безлюдный ночной час, начинает звонить телефон Бет, прямо у меня над головой. Я провел ей вторую линию, потому что она жаловалась, что я вечно торчу в интернете и она никуда не может позвонить. Она говорила, что друзья вечно просят ей что-то передать, а я так ничего и не передаю. Поэтому я провел вторую линию, хотя это обошлось мне

---

[44] Примечания: 44
Из стихотворения «Озимандия» П. Б. Шелли *(пер. К. Бальмонта).*

недешево. Телефон стоит прямо возле ее кровати. И вдруг он зазвонил, и я так подпрыгнул, просто как в мультике. С химической точки зрения, это, наверное, было похоже на инъекцию адреналина прямо в голову, как-то так. В то же время ощущения были отвратительные — вся эта странность, внезапность. А телефон все звонил и звонил, ну а что ему еще оставалось, ведь трубку взять было некому. И я уж точно не собирался идти туда посреди ночи. Тут мне пришло в голову, что чудно это, что автоответчик не сработал, как бывало обычно в отсутствие Бет. Наверное, телефонная компания его отключила. Тотчас же в голову закралась противная мысль о том, что я ведь вроде бы пару недель назад и впрямь звонил в телефонную компанию и просил отсоединить эту линию. Если я им и вправду звонил (не помню точно), то этот звонок — результат каких-то неполадок. Ох, ну как же тошно было лежать там и слушать, как он надрывается.

И тут звонки прекратились. Я попытался успокоиться, нащупать в себе какое-то облегчение. И вот тут-то случилось самое ужасное. Господи боже, воистину. Я яснее ясного услышал, прямо у себя над головой, немного приглушенное, потому что ему пришлось пробраться через половицы и

старую побелку потолка: «Алло?» Голос был Бет.

Я так перепугался, что чуть не утратил контроль над мочевым пузырем. В голове пронеслось видение — огромный монстр обвивает меня кольцами, будто анаконда, и начинает сдавливать. Анаконда убивает, сжимая внутренние органы жертвы так, что у того лопается сердце. От одного этого слова у меня чуть сердце не лопнуло. Я ужасно скучаю по Бет, но, честно, я совсем не хотел услышать ее голос, услышать его вот так. Я желал живую, теплую женщину, а не это единственное слово, которое слетело ко мне, которое пронзило меня.

И я было начал думать, что это все какая-то страшная ошибка, что ее смерть мне просто привиделась, что я похоронил ее заживо — но других безумств такого рода понапридумывать не успел, потому что тут подоспело еще одно слово, меня позвали, звонко и четко: «Уильям!»

Господи Иисусе, подумал я, так это меня к телефону. Вот ведь безумная мысль. Ну то есть, черт подери, к телефону никто не мог подойти, ну как тогда могли звонить мне? Меня позвали по имени. Голос тот же, что и всегда, тот же самый тон, в котором слышались нетерпение и недовольство тем, что я опять кому-то дал ее номер и вот кто-то

звонит ей вместо меня.

Я не знал, что и делать.

— Что? — вырвалось у меня.

Теперь я уже не мог все вот так оставить — это какой-то очередной виток безумия, я не мог дальше бездействовать. Я вылез из кровати, сам мертвее мертвого, будто бы оказавшись в одном из рассказов М. Р. Джеймса,[45] которые так любила Бет. Я с огромной неохотой вышел за дверь и босиком прошлепал по коридору. Покажусь ей в таком виде, думал я, а она отругает за то, что хожу без тапочек. Я вышел к лесенке, которая вела на чердак, и принялся подниматься наверх, ступенька за ступенькой.

Я добрался до пролета, где она тогда боролась за жизнь, почти ожидая снова ее там увидеть. Я щелкнул выключателем — темнота, наверное, лампочка давно уж перегорела, а я и не заметил. На лестнице были пятнышки лунного света, так — легкая светлая пенка. Я оставил дверь в комнату Бет чуть приоткрытой, чтобы воздух не застаивался и плесень не появилась. Я подошел к двери, еле волоча ноги, которые вдруг стали свинцовыми, и остановился.

---

[45] Примечания: 45

М. Р. Джеймс (1862–1936) — английский писатель, известный автор рассказов в жанре «ужасы».

— Бет? — позвал я.

Несчастье так и обрушилось на меня. Не знаю, какие там химические вещества сотрудничают со страхом — адреналин, наверное, и вся эта братия, — но они насквозь пропитали мой мозг. Колени в буквальном смысле подгибались, а в желудке будто плескалась вода. Меня затошнило. Давным-давно, еще мальчишкой я попал на бойню в Пэдстоу и видел, как коров расстреливали по одной и как они в ожидании своей очереди от ужаса исходили мочой и дерьмом. А теперь и я был такой коровой. Что-то во мне так и рвалось в комнату, но в то же время я куда больше страшился этого, как живым и полагается страшиться мертвых. Это такой жизненный закон, который сидит в нас глубоко-глубоко. Мы сжигаем или зарываем наших мертвецов, потому что хотим отделить их телесность от наших воспоминаний и нашей любви. Мы не хотим, чтобы они и после смерти лежали у себя в кроватях, мы хотим и дальше хранить их в памяти живыми, полными жизни.

И вдруг так же внезапно во мне, будто первое дуновение штормового ветра, всколыхнулось желание увидеть ее там, увидеть ее. Я толкнул дверь и ворвался в комнату, желая, чтобы Бет ока-

залась там, желая обнять ее так нежно, как я не обнимал ее уже много-много лет, и рассмеяться, и объяснить ей все, объяснить ей, какую я чушь выдумал, как я вдруг решил, что она умерла, и пусть она, пожалуйста, пожалуйста, простит мне этот дурацкий Бандоран, и, может, мы начнем все сначала, поедем куда-нибудь в отпуск, да хотя бы в Пэдстоу, навестим старый дом, и будем есть во всех этих дорогих новомодных ресторанах, и отлично отдохнем…

Пусто. Конечно, там было пусто.

Наверное, если б кто меня тогда увидел, то он решил бы, что увидел призрака — призраком был я сам. Шестидесятипятилетний старик с обезумевшим взглядом стоит в спальне умершей жены, совсем тронулся от горя, хотел узнать, нет ли тут для него спасения и прощения, как нормальные люди обычно хотят узнать, сколько времени. Обычный путь, который проделывает каждая мысль о Бет. Бет — спасение, спаси меня, прости меня. А гаденькая правда-то в том, что ей давно надо было меня вышвырнуть вон.

Я сидел в палате Розанны, обдумывал это все.

Ничего из этого я ей не мог рассказать. Я находился в палате пациента, предположительно — проводил диагностическую беседу с целью вы-

яснить возможность ее «возвращения в социум». Вот еще одна примета режима миссис Тэтчер, можно даже сказать, тэтчеровская мода, которая до сих пор сохранилась в Англии. Розанна сидела на кровати, в этой своей белой шали, которая в полумраке выглядит будто измятые крылья, будто юные крылья бабочки до того, как в них заструится кровь и она вдруг, несомненно, дивясь сама на себя, расправит их и взлетит. Диагностическая беседа. Внезапно все это представилось мне таким абсурдным, что я расхохотался. Диагностировать в этой комнате надо было как раз меня.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Мы поженились в Дублине, в саттонской[46] церкви, так было проще всего. Священник был приятелем Тома, они в Дублине в одно и то же время учились в колледже, и неважно, что колледжи были разные. Том всего-то пару месяцев продержался на юридическом в Тринити-колледже, но успел за это время обзавестись друзьями в столице. Том мог выудить закадычного дружка даже из толпы, собравшейся на ипподроме в день

[46] Примечания: 46
Саттон — один из районов Дублина.

забега. Все, что было нужно — разрешение на брак, церковное оглашение и что уж там требуется, чтобы жениться на пресвитерианке, — все было сделано. Вряд ли наша свадьба произвела фурор в Саттоне, но пусть там и не было никакого шику-блеску, а все-таки к нам приехали несколько дублинских друзей Тома, а потом мы на целых две ночи сняли номер в отеле «Барри»[47] и на второй вечер пошли танцевать в «Метрополь», потому что у Тома там в бэнде играл какой-то дружок, и мы вместе танцевали почти что первый раз в жизни. Странно, но в его собственном танцевальном зале мы с ним и не танцевали никогда. Да и вправду странно, наверное. Том, казалось, был всем доволен и даже не заговаривал о том, что на свадьбе не было никого из его семьи. Джек приехал бы, но он тогда был в Африке, зато сделал брату подарок к свадьбе — оплатил торжественный обед. За обедом Том выпил столько виски, что вечером в отеле немного что сумел, но полностью оправдал себя на вторую ночь, после танцев. Он был нежнейшим любовником. Именно так.

Мы лежали в нашем номере в отеле, в темноте.

---

[47] Примечания: 47

Дорогой отель, один из старейших в Дублине, расположен в историческом центре города.

На Колледж-Грин, прямо возле своего старого колледжа, он купил пачку русских овальных папирос и теперь курил их. По-моему, мне тогда было лет двадцать пять, а Тому — немногим больше.

— Знаешь, — сказал он, — а тут ведь очень неплохо. Интересно, смог бы я прижиться в Дублине?

— И что, не скучал бы по западу?

— Наверное, скучал бы, — ответил он, выпустив кольцо русского дыма в полумрак комнаты.

— Том? — говорю я.

— Ага?

— Ты меня любишь?

— Еще бы! Конечно, люблю.

— Это хорошо, — сказала я. — Потому что я люблю тебя.

— Вот как? — отозвался он. — У тебя хороший вкус. Это значит, ты очень умная, точно.

И тут он рассмеялся.

— А ведь знаешь, — сказал он, — я тоже.

— Что — тоже? — спросила я.

— Ну, то есть я не просто так языком болтаю. Я тоже. Тоже люблю тебя.

И думаю, он говорил святую правду.

* * *

Человек он был наипорядочнейший. Очень важно про это упомянуть.

* * *

Последствия знаменитой торговой войны мистера де Валеры были видны из окна поезда. Поженились мы весной, и поскольку овец тогда никто не покупал,[48] фермеры резали ягнят прямо в поле. Поэтому, когда поезд проезжал эти поля, то там, то тут виднелись гниющие тушки. Тома все это очень огорчало. К власти пришли люди де Валеры, а для него это было все равно, как если бы страну захватили вооруженные головорезы, захватили ту самую страну, которую они же всеми силами старались стереть с лица земли после заключения Договора. Парням вроде Тома это было как острый нож по сердцу. Том был молод, только-только оперился и уж, наверное, хотел заполучить себе эту страну, превратить ее во что-то достойное. Он был совершенно уверен

[48] Примечания: 48

Во время Англо-ирландской торговой войны (1932–1938) фермеров называли «солдатами торговой войны» — цены на скот и другую их продукцию упали настолько, что они даже не могли ничего продать.

в том, что де Валера, который и без того пытался придушить новое государство во младенчестве, теперь и от детства его камня на камне не оставит, а следовательно, и в люди ему не даст выбиться. И у самых крепких фермеров тогда сердца кровью обливались, когда им приходилось забивать ягнят, а овец и вовсе девать было некуда — тогда передушили все их мечты.

— Ну прямо что твой гребаный дурдом, — сказал сидевший рядом Том, глядя на разоренные фермы. И уж он-то знал, о чем говорил, потому что у него мать с отцом работали в дурдоме. — Да вся Ирландия сейчас — один дурдом.

Поэтому-то отцу Тома пришлось скроить и сшить ему голубую рубашку,[49] и Том принялся ходить на всякие собрания и демонстрации в Слайго, чтобы понять — можно ли как-то переменить ход вещей. Был там такой, О'Даффи его звали, он там верховодил, раньше он управлял полицией, но потом почему-то этой должности лишился и теперь был кем-то навроде тех типов, Муссолини и Франко. Том им очень восхищался, потому что тот, когда был министром, пытался провести разные законы о защите детей в Ирлан-

[49] Примечания: 49

«Голубые рубашки» (1932–1933) — оппозиционная политическая партия.

дии. Это ему не удалось, но все-таки! И говорил он всегда так пылко, красноречиво, а Том-то думал, что всех великих людей поубивали во время гражданской войны, это он, конечно, Коллинза имел в виду. А О'Даффи всегда выступал на стороне Коллинза. Так что для Тома все в любом случае было яснее ясного. В жизни не встречала никого, кто потел бы сильнее Тома — после каждой демонстрации его рубашку выжимать можно было. Пару раз мне приходилось ее даже подкрашивать, потому что подмышками ткань становилась такой блеклой, что это было уж очень заметно. Я ни разу не видела, как Том маршировал на демонстрациях, но, как и положено жене, мне всегда хотелось, чтобы он выглядел прилично.

Меж тем мы выстроили себе дом на маленьком холмистом пятачке земли, на задворках Странд-хилла. Не дом даже, а так, хибарку, но зато рядом с танцевальным залом и подальше от Слайго. С другой стороны, если Тому нужно было в город, то ехать было всего ничего. Наша спальня окнами выходила на Нокнари, оттуда была даже видна гробница королевы Медб на самой ее верхушке; странно это было — мы, молодая пара, лежим тут на кровати, на дворе современность, тридца-

тые, а она лежит там — в своей постели, в своей *leaba*,[50] как говорили, и спит себе там вот уже четыре тысячи лет. Еще с нашего шаткого крылечка открывался неплохой вид на остров Кони, и хотя высь острова его закрывала, я-то знала, что там, за ним, стоит Металлический человек, вечный, незыблемый — и я мысленным взором видела, как он все так же стойко и преданно указывает на глубокие воды.

«Полет в Рио». «Цилиндр».[51] Перед глазами всей страны стояло не узкое и беспокойное лицо де Валеры, а узкое и беспокойное лицо Фреда Астера.

* * *

Самые важные шишки — и те ходили в кино. Была бы это церковь, им бы, наверное, поставили именные скамьи. Но в кинозале все их меха в основном занимали балкон. Весь прочий Слайго теснился внизу. Тут был бы настоящий бедлам, но мистер Клэнси и его братья служили в армии,

---

[50] Примечания: 50

Постель *(староирланд.)*, позднее значение — гробница, могила.

[51] Примечания: 51

«Полет в Рио» (1933), «Цилиндр» (1935) — фильмы с участием Фреда Астера (1899–1987).

а потому строили местных завсегдатаев, как непослушных новобранцев. Едва какой парень начинал хулиганить, как его тотчас же за ухо выводили в темную дождливую ночь, а этого мало кому хотелось. О, против поцелуев мистер Клэнси ничего не имел, он ведь был не священник, да и что он мог поделать, когда выключали свет. Нет, то была не церковь, там было лучше, чем в церкви, гораздо, гораздо лучше. Только в кино можно было оглядеться и увидеть вокруг такие просветленные взгляды, какие священники да пасторы только мечтают, наверное, увидеть на лицах своих прихожан. Весь Слайго, стиснутый в потную толпу, самые разные люди из самых разных слоев, принцы и нищие — всех их объединили эти чары. Можно было сказать: вот она, Ирландия, свободная и единая, и в кино так оно всегда и было. Хотя Том и держал меня в Странхилле в карантине, ждал, пока мать совладает со своей неприязнью ко мне, но по субботам он все-таки выпускал меня на волю. Мы с грохотом въезжали в город на его маленьком автомобильчике и занимали свои места в кинотеатре, будто бы опасаясь, что если не пойдем, то пропали наши души.

В кино все так и отпускали шуточки в адрес

соседей, а многие парни так и вовсе костерили друг друга на чем свет стоит. Намеки делали и насчет разных политических пристрастий, которые когда воспринимались совершенно беззлобно, а когда и вполне серьезно, и в тридцатые стало заметно, как мало-помалу ситуация накаляется. О состоянии страны можно было судить по тому, какая ругань стояла в кинотеатре субботним вечером. Мистер Клэнси, разумеется, соблюдал нейтралитет, да и в целом, по-моему, не очень-то интересовался политикой. За сквернословие отсюда могли и навсегда выставить, так что, если верить Тому, тут все было строже, чем в самом парламенте.

— За то, что можно безнаказанно произнести в Дойл-Эрен, тебя вон вышвырнут из «Карнавала», — говаривал Том.

Перед фильмом всегда крутили кинохронику, и если, например, показывали новости о гражданской войне в Испании, тут же начинались смешки и шуточки в адрес «голубых рубашек». И мистеру Клэнси с братьями приходилось немало потрудиться, чтобы выщепить из толпы всех шутников.

— Тупая деревенщина, — обычно говорил Том.

— Хитрожопый народец, — говорил Джек, ко-

гда не был в Африке. Хотя он и не поддерживал «голубые рубашки».

— Хитрожопый он, этот твой дружок О'Даффи, — бывало, говорил он Тому.

Но Том только хохотал в ответ, потому что любил своего брата Джека и не обращал внимания на то, что тот говорил. В этом-то и заключалось самое большое очарование Тома — как друга и как брата. Добродушие у него было в крови. И еще он считал Джека гением, потому что тот получил аж два диплома в Голвее — по геологии и инженерному делу, в то время как сам Том всего лишь пару месяцев проучился на юридическом. Все словечки Джека Том подхватывал сразу, так повелось с давних времен, когда они были еще совсем мальчишками. Не знаю, как в эту их дружбу вписывался их брат Энус. Хотя тогда я, конечно, про бедного Энуса ничего толком и не знала.

Однажды вечером, на показе «Цилиндра», я шла в дамскую комнату, как вдруг у меня на пути выросла знакомая темная фигура. Холостые мужчины, как правило, нечасто позволяли себе заговаривать с замужними женщинами, но Джон Лавелл был не из тех, кто соблюдает правила. Теперь, когда его партия надежно укрепилась у власти, он, казалось, процветал, хоть и всего-

навсего косил на муниципальном жалованье чертополох по обочинам. Но все ж это лучше, чем быть в бегах или хлебать арестантскую тюрю в Куррахе. Ему, верно, нравился черный цвет, потому что одевался он только в черное и потому здорово походил на ковбоя — с этим своим бледным лицом и волной темных волос. Для обычного дворника он недурно разбирался в жилетах. Сама я была одета в свое выходное лиловое платье, что само по себе вместо меня говорило о многом. Хотя Джону Лавеллу всегда было наплевать на то, как следует поступать, а как не следует.

— Привет, Розанна. Эх, до чего же ты хороша!

Вот уж не ожидала услышать от него такое. Да и ни от кого не ожидала. Он ведь никогда даже не пытался за мной приударить. Если б не та ужасная трагедия, мы и не познакомились бы вовсе. Быть может, он все еще считал, что это я тогда привела к ним тех солдат-фристейтеров. Быть может, эти его слова — своего рода изощренная месть. Но что бы там ни было, а всерьез я их не восприняла, протиснулась мимо него и пошла себе дальше. Да и мочевой пузырь у меня чуть ли не лопался.

— По воскресеньям я обычно в Нокнари, — сказал он мне вслед. — По воскресеньям, в три часа

я всегда возле Медб.

Я вся зарделась от смущения. Рядом выстроилась небольшая очередь из женщин и девушек, которым тоже понадобилось в туалет, но все они молчали, потому что позади нас шел фильм. На самом деле трудно было разобрать, что там сказал Джон Лавелл, но я все расслышала. И надеялась, что слышала его только я одна. Быть может, он просто старался быть со мной повежливее. Быть может, он просто хотел сказать что-то вроде: эй, я знаю, ты там живешь неподалеку, ну и частенько бываю в тех местах.

На танцах я его ни разу не видела. Вы учтите, что теперь я бывала в «Плазе» не так часто, как раньше, когда была незамужней девчонкой и могла играть на пианино сколько влезет. Но в те времена замужние женщины не работали. В те времена мы были что твои мусульманки, мужчины так и старались упрятать нас по домам, выпуская только тогда, когда показывали отличный фильм.

Но Джон Лавелл был не просто прохожий. Не какой-нибудь там мужлан, который пройдет мимо тебя на улице да отпустит у тебя за спиной какую-нибудь сальность, нет, Джон Лавелл был важный человек, потому что он знал моего отца

и знал кое-что про моего отца. Можно сказать, нас связывали две смерти — смерть его брата и смерть моего отца. Нам бы быть врагами, но отчего-то мы с ним совсем не враждовали. Против него я ничего не имела, даже если и за него не была. Все это мне по сей день непонятно. Видела я его редко, а в снах моих он то и дело появлялся. В моих снах он всегда погибал от пули, как это случилось с его братом в реальной жизни. Во сне я часто видела, как он умирает. Держала его за руку, ну и все такое. Как сестра.

Но с Томом я про это никогда не говорила. Не хотела. Да и что бы я сказала? Том меня любил, ну или любил меня такой, какой знал или какой видел. Не хочу показаться развязной, но Том всегда нахваливал мой зад. Вот клянусь.

— Стоит мне загрустить, — как-то раз сказал он мне, — и я сразу думаю о твоей заднице.

Не слишком романтично, но в то же время очень, очень романтично. Мужчины ведь не совсем люди, ну, то есть для них всегда главнее другие вещи. Хотя, если честно, я не знаю, что там главнее для женщин, ну или знать-то знаю, но сама того не чувствую. И самой мне вечно ужас как хотелось Тома. Всего, с ног до головы. Не знаю даже. У меня от него голова так и шла кругом.

Бывает в жизни такое, чего вечно хочется еще и еще. Шоколада вот иногда не хочется. Но вот кое-чего другого! Я любила быть с Томом, любила быть с ним по-всякому. Обожала вместе с ним распивать чай. Уши его целовать любила. Я, наверное, никогда не была нормальной женщиной. Господи, помилуй. Наверное, самая моя большая ошибка была в том, что я вечно ощущала себя его ровней. Чувствовала, что вот есть он, а вот есть я, и мы с ним вроде Бонни и Клайда, которые как раз в то время колесили по Америке, убивая людей и выражая любовь друг к другу всякими удивительными способами.

Ну так и что же тогда меня дернуло пойти к гробнице Медб в следующее же воскресенье? Сама не знаю. Потому что меня о том просил Джон Лавелл? Нет. Я знала, что поступаю очень дурно, что совершаю ошибку. Ну а с чего лосось возвращается к себе, в Гарравог, хотя перед ним открыты все моря?

Записи доктора Грена

Вначале семейной жизни мы каждый год неизменно проводили отпуск в Бандоране. Теперь над Бандораном принято подсмеиваться, люди думают: вот, мол, типичный старомодный

ирландский курорт — насквозь отсыревшие гостиницы, вечный дождь, отвратительная еда и все такое прочее. Но нам все это нравилось, нам с Бет. Мы тоже все время над ним подсмеивались, но добродушно, как над безумной двоюродной бабушкой. Мы обожали туда ездить — можно сказать, что мы туда сбегали, чтобы припасть к священному источнику молодости Бандорана.

Нет лучшего физиономиста, чем солнечный свет. Наши ежегодные поездки туда превратили лицо Бет в своего рода календарь. Каждый год — новая история, новая картинка — на каждый год. Мне следовало бы каждый раз фотографировать ее на одном и том же месте, в одно и то же время. Она всегда так ворчала и переживала из-за того, что стареет, подмечала, едва та появлялась, каждую морщинку, будто бы сторожевой пес, который спит-спит, но тотчас же вскакивает, стоит ему заслышать, как к дому приближается кто-то чужой. Она и тратилась-то только на баночки ночного крема, вкладывалась в войну против морщин. Она была очень умная, могла наизусть цитировать огромными отрывками Шекспира, которые знала еще со школы, когда она попалась в руки одному из тех безвестных учителей с горящими глазами, и он пытался и из

нее сделать учителя. Но когда дело доходило до морщин, ум ее не спасал, тут включался какой-то древний, первобытный инстинкт. Я, если честно, этих ее морщин и не замечал никогда. Это одно из чудес брака: каким-то волшебным образом мы друг для друга навсегда остаемся молодыми. Да и наши друзья, кажется, вовсе не стареют. И это такой дар судьбы, о котором в молодости даже и не думаешь. Но, с другой стороны, а как же иначе? Всякий старик, попав в дом престарелых, с удивлением оглядывает других его жителей. Там же одни старики, кому охота вступать в этот клуб. Но для самих себя мы навеки остаемся молодыми. Потому что уплываем к закату на ладье нашей души, а не тела.

Надо же, и это пишу я — самый закоренелый агностик во всей Ирландии. Ну, как обычно. Мне не хватает слов, чтобы выразить свои мысли. А я хочу сказать, что любил Бет, да, любил, моя душа любила ее душу, и все морщинки ее, все складочки были частью какой-то другой истории, ее невеселым прочтением собственной жизни. Я ни в коем случае не умаляю ее переживаний. Ей казалось, что внешность у нее самая простая, и ей совсем не хотелось становиться простой старухой. Но я бы поспорил насчет этой ее простоты.

Бывали случаи, когда лицо ее вдруг вспыхивало и озарялось какой-то собственной красотой. Вот тогда, когда мы с ней стояли рука об руку в церкви, я взглянул на нее, за миг до того, как она произнесла: «Согласна», услышал эти слова — и тут ее лицо просияло тем невероятным светом, и этот свет пролился на меня. Это была любовь. Никогда не думаешь, что вот так тебе доведется увидеть любовь. Уж я точно такого не ожидал.

Так почему же я предал ее именно в Бандоране?!

Повод для поездки был вполне невинный, я поехал один, но на конференцию, которая происходила в новом отеле у моря. Это и вправду была психиатрическая конференция. На повестке дня было обсуждение гериатрических психозов, старческой деменции и тому подобное. Я выступал с докладом о различных типах памяти: об абсолютной фашистской безжалостности памяти, о том, как память может держать человека в постоянном страхе. Полагаю, что нес обычную для человека средних лет чушь, но тогда эти идеи казались мне радикальными, чуть ли не революционными. На конференции мое выступление сочли неосторожным. Вроде как я не сумел обуздать собственный ум. Поэтому, наверное,

нет ничего удивительного в том, что после всего этого я не сумел обуздать и тело.

Бедная Марта. Дома у нее было четверо мальчишек, и муж — один из самых талантливых младших барристеров в своем поколении. Замкнутый, беспокойный человек, но наверняка достойный. Все получилось до ужаса просто. Мы с ней слишком много выпили, вместе добрели до коридора из одинаковых гостиничных комнат, внезапно потянулись друг к другу, я поцеловал ее, мы побарахтались в темноте, она даже трусиков не сняла, Боже правый, я запустил туда руку, она кончила, да вот и все, что было. Это был регресс, слабость, откат назад, в подростковый период, когда такое барахтанье казалось героическим, поэтичным.

Марта приехала домой и поведала все доброму своему супругу. Думаю, она не собиралась этого делать, сама того не хотела. Думаю, она по-настоящему хотела только одного — чтобы этого вовсе не случалось. Мир отнюдь не полон предателей, он полон людей, у которых самые честные намерения и самое искреннее желание поступить по совести с теми, кто их знает и любит. Это не самая известная истина, но истина тем не менее. Я это установил опытным путем, за годы работы. Знаю,

мысль невероятная, но уж какая есть. Мы любим говорить о людях как о жестоких, похотливых, примитивных созданиях, но лишь затем, чтобы отстраниться от них. Но мы не волки, мы агнцы, которых лето и солнце застали врасплох на краю поля. У Марты, у нее весь мир рухнул. И у меня тоже. Я это заслужил, не сомневаюсь. Но ее муж не заслужил того, через что ему пришлось пройти, и Бет своих страданий не заслужила тоже.

Потому что не людям судить о верности, а Богу.

Ну вот, опять я за свое.

* * *

Интересно, что сказал бы об этом отец Гонт? Неутомимый отец Гонт, который с таким рвением разоблачает Розанну, саму ее натуру, ее позорное прошлое.

Отчет лежит в другом кабинете, и я так устал, что неохота за ним идти. Посмотрим, что удастся воспроизвести по памяти. Так, про события на кладбище я написал.

Тут провозгласили независимость, королевскую полицию распустили, от чего, я подозреваю, отцу Розанны пришлось жить еще в большем страхе, а затем… наверное, прошло какое-то

время. Они стали меньше бояться или больше? Тут отец Розанны получил работу все на том же кладбище. Должность эта находилась в ведении муниципалитета, и сложно понять, как это человек с такой дурной репутацией смог устроиться на такую синекуру, разве что место это было настолько незавидное, что работать там считалось унизительным. И действительно, через какое-то время его оттуда уволили и назначили крысоловом, что уж точно унизило его дальше некуда. Отец Гонт пишет, довольно пристрастно: «И поскольку он, как крыс, ловил своих соотечественников, то можно сказать, это ремесло было ему знакомо». (Ну или что-то в этом роде.) Но в Ирландии забывчивость соседствует со злопамятностью, как это всегда бывает там, где войны. Начавшаяся вслед за этим гражданская война еще более смешала все самые добрые устремления парней Слайго. Наконец вспомнили и об отце Розанны, и его настигла загадочная и мучительная смерть.

Как-то вечером его схватили на углу, когда он возвращался домой. Он, как обычно, был пьян, и дочь, как обычно, ждала его. И мне кажется, да и отец Гонт пишет об этом с полной уверенностью, что Розанна боготворила своего странного папа-

шу. В общем, какие-то молодчики скрутили его и потащили на кладбище. Розанна побежала за ними. Отец Гонт полагает, что они хотели затащить его на верхушку башни, которая стояла на кладбище, и сбросить оттуда вниз, что-то в этом роде.

В рот ему напихали белых перьев — несомненно, в знак о его предыдущей работе, хотя я никак не вижу тут трусости, даже если он и совершил много других ошибок. А затем они его отделали молотками и попытались выкинуть в маленькое окошко на самом верху башни. Розанна стояла внизу и смотрела на это. Сверху, несомненно, раздавались ужасающие вопли. Им удалось наполовину просунуть его в окно, да только его живот, округлившийся от выпитого им за все эти годы пива, не давал ему вывалиться в ночь. Забить его молотками им тоже не удалось, и когда он кричал, из его рта летели перья. Отчаявшись, они яростно втащили его обратно, и кто-то из парней швырнул эти проклятые молотки из окна. Перья полетели вверх, молотки — вниз, один из них угодил Розанне в голову, и она упала без чувств.

Его решили казнить по-другому, не так театрально, просто повесили в заброшенном доме неподалеку. Времена тогда были такие, что вряд ли кто-то стал по нему убиваться. Он ведь вы-

ступил против своих же соотечественников. Его казнили молодые парни, которые хотели отомстить ему за великое злодеяние, а молодежь легко заводится и зачастую действует неуклюже, напролом. Нет, никто не стал бы убиваться по такому, как он.

Никто, кроме Розанны.

И вот как я ей все это выложу? А я ведь пересказал только первую часть отчета, а там есть еще продолжение, где речь идет о дальнейшей жизни самой Розанны. И против нее там выдвинуты невероятно тяжелые, ужасающие обвинения. Одно дело — грехи отца, а вот грехи матери… Ладно. Нужно снова напомнить себе, зачем я взялся ее диагностировать. Нужен профессиональный подход. Нужно держаться отстраненно. В конце концов, хоть я и был в какой-то степени ирландским ребенком, но рос в Англии, а потому эти странные периоды в ошеломляющей истории Ирландии все же мне не слишком близки.

Да и разве не все наши истории так перепутаны, что почти чужды нам, точнее, нашему воображению? Когда умерла моя мать — как же несправедливо это было, совсем несправедливо, и в голову мне приходит только один положительный результат всего этого — именно ее смерть

«вдохновила» меня на изучение психиатрии в Даремском университете, будто бы я в безнадежном, посттравматическом порыве решил застраховаться от подобных происшествий.

Она жила в райском уголке, через реку от Пэдстоу, в доме, который всегда вызывал зависть и восхищение у тех, кто бывал там летом, — он стоял на самом берегу реки, в окружении деревьев.

Конечно, она была не моей «настоящей» матерью, как и отец.

Выйдя на пенсию, они каждый год вместе ездили в Озерный край. Однажды утром отец решил прогуляться в горы без нее. Добравшись до вершины, он поглядел вниз, на расстилавшуюся перед ним долину и озеро, и увидел, как крохотная фигурка заходит все дальше и дальше в воду. Он был слишком далеко, его криков не было слышно. Он сразу понял, кто это там.

Года через три после того, как они меня усыновили, отчаявшись завести собственного ребенка, собственный ребенок у них все же появился — мой брат Джон. Он обожал меня. Когда мы с ним в детстве рыбачили в местной речке, он мог часами, подвернув брюки, торчать в воде, пытаясь наловить в банку из-под варенья всякую мелюзгу мне на приманку.

Когда мне было четырнадцать, мы с ним каждое утро на велосипедах огибали устье реки, чтобы поспеть к автобусам: я ехал в католическую среднюю школу, а он — в приготовительную, куда я и сам ходил, когда был поменьше. Остановки были рядом, но стояли через дорогу друг от друга, так как его школа находилась в другой стороне. Дорога была тихая, проселочная, начиналась сразу за деревней, а автобусы тогда были такие блестящие, коренастые.

Однажды утром — как же быстро все сворачивается в историю, хоть пиши прямо «давным-давно, предавно», — мы с ним, как всегда, закинули велосипеды за изгородь, и я увидел, что наши с ним автобусы подъезжают к остановкам с противоположных сторон дороги.

Джон, которому тогда было около десяти, чмокнул меня в щеку, обнял и побежал через дорогу. Я заметил, что у меня в руках так и остался его плащ, поэтому крикнул: «Эй, парень!»

Джон остановился и обернулся.

— Плащ забыл! — сказал я, и размахнулся, чтобы бросить ему плащ, а Джон улыбнулся и сделал пару шагов в мою сторону. Но тут с нами поравнялись оба автобуса, и даже если водители и видели заранее мальчонку, который переходит

дорогу, то мой окрик сыграл тут злую роль — мой автобус переехал Джона, пока я все протягивал ему плащ.

Вот таким оно было, горе моей матери. Величайшее горе. Невообразимое. От самого ее сердца ничего не осталось. И все же, чего-то в нем я так до сих пор и не могу ухватить. Не могу понять по-настоящему.

Во всех других смыслах жизнь ее удалась. Она жила в раю. Да ведь и отца моего она в раю оставила. А я разве на нее не злился? Не злился на то, что меня одного ей было недостаточно? Или отца? На то, что она не вытерпела. Это все очень нечестно, я знаю. Но есть такая вещь, как терпение, качество такое. Кажется, я тут пытаюсь написать, никоим образом, конечно, не желая как-то неуважительно отозваться о матери, что Розанна ведь все стерпела, хотя ее жизнь едва тянет на медный грош.

Написал это, и самому от себя стало немного тошно.

И что это я вдруг плачу?

С изумлением перечитал все, что сейчас написал. Сделал какую-то побасенку из трагической смерти брата, в которой — и это видно по сдержанному синтаксису — я явно виню себя.

Даже в Дареме, когда мы студентами упражнялись друг на друге в психоанализе, я это никогда не обсуждал. Я об этом даже не думал никогда, за последние пятьдесят лет я к этим воспоминаниям ни одной ниточки не протянул. Вот какую постыдную тайну я в себе укрывал. Глядя на голые факты, я так ясно это понимаю. Ну и как же мне начать снова думать об этом, как же мне себя вылечить? Это мне не под силу. Амурдат Сингх, единственный человек, с которым я мог бы об этом поговорить, уже давно в могиле. И мой отец тоже. Как он, должно быть, страдал, в своей прекрасной английской сдержанности.

Но это все к делу не относится. Судя по всему, я вполне доволен своей неизлечимостью. Это отвратительно. Для записи: я не только сейчас плачу, меня еще и трясет.

Жизнь Розанны, конечно, охватывает все на свете, она — это самое большее, что мы сейчас можем узнать о мире, о последней его сотне лет. Ей бы быть символом нации, местом паломничества. Но она никто и живет нигде. У нее нет семьи и нации почти нет. Она пресвитерианка. Многие подчас забывают, сколько усилий было вложено в то, чтобы собрать в первом ирландском парламенте сторонников самых различных

мировоззрений, но усилия эти быстро прогорели. Наш первый президент был протестантом — то, что выбрали его, было красивым, поэтическим жестом. Но факт остается фактом: в нашей истории не хватает стольких нитей, что всему полотну ирландской жизни только и остается, что рассыпаться в прах. Нет ничего, что могло бы связать его воедино. Первый порыв ветра, любая крупная война — и нас разметает до самых Азорских островов. Розанна — всего лишь клочок бумаги, который ветром унесло на самый край пустыря.

Понимаю, что как-то уж слишком ей увлекся. Может быть, у меня это стало навязчивой идеей. И я не только не могу перестать думать о ней, у меня в руках еще находится версия ее жизни, от которой она, наверное, откажется. А мне еще надо опросить с десяток пациентов, выслушать их, понять, можно ли их вернуть в «социум». Господи, тут такая разруха, такая разобщенность, у меня столько дел, столько дел.

Но каждый день меня так и тянет к ней в комнату, часто я чуть ли не бегом туда лечу, будто там что-то срочное, как в конце того старого

фильма «Короткая встреча».[52] Как будто, стоит мне задержаться, и ее там уже не будет. Впрочем, так оно может и оказаться.

Без Бет мне жить невозможно. Но теперь придется научиться.

Быть может, я и пытаюсь научиться этому через Розанну, человека, которым я восхищаюсь и который в то же время зависит от меня? Именно сейчас мне необходимо очень хорошо понимать, что мной движет, потому что, боюсь я, в прошлом с Розанной мало кто поступал по справедливости, не говоря уже о серьезности того проступка, а точнее, наверное, слухов о проступке, в котором ее обвиняют. И хоть она до какой-то степени похоронена здесь, она все же не Саддам, который прячется в какой-то жуткой дыре, ее нельзя вытащить оттуда, проверить ей зубы, как лошади (на заметку: зубами ее, кстати, следует заняться, я заметил, что у нее во рту сплошная чернота). Проверить ей зубы, а тело освидетельствовать, обезглавить, обесчестить.

---

[52] Примечания: 52

Мелодрама по пьесе Ноэля Кауарда (1945), о любви врача и замужней женщины.

Глава шестнадцатая

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Только что ненадолго заходил доктор Грен. Войдя, он наступил на расшатанную половицу, под которой я прячу эти страницы, и она прямо взвизгнула, будто мышь, когда ее пришпиливает мышеловкой, я аж вздрогнула. Но нет, доктор Грен не обратил внимания, он не обратил внимания даже на меня. Уселся в мое старое кресло и сидел молча. Слабый свет из окошка едва освещал его лицо. Со своего места на кровати я один только его профиль и видела. Он вел себя так, будто и впрямь был тут один, то и дело громко вздыхал, хотя, думаю, сам того не понимая. Это были бессознательные вздохи. Я ему не мешала. Хорошо, что он там просто сидел и никаких вопросов. Да меня и без того «занимали» собственные мысли. Хорошо тоже, что наши мысли у нас беззвучные, скрытые, непроницаемые.

И зачем я только пишу все это?

Наконец, когда я уже было решила, что он собрался уходить, у самой двери он, как сыщик в старом фильме, обернулся, поглядел на меня и

улыбнулся.

— Вы помните отца Гарви? — спросил он.

— Отца Гарви?

— Да, он был тут капелланом. Лет двадцать назад.

— Такой маленький человечек, у которого волосы из носа торчали?

— Ну, про волосы я не помню. Я тут сидел и вдруг вспомнил, что вам не нравилось, когда он к вам приходил. Не знаю, с чего я вдруг это вспомнил. У вас на то была какая-то причина?

— А, — сказала я. — Да нет. Просто не люблю религиозных.

— Религиозных? В смысле, верующих?

— Нет-нет, священников, монашек, я про это.

— И тому есть какая-то причина?

— Они во всем так уверены, а я нет. Это вовсе не потому, что я пресвитерианка. Просто не люблю духовенство. Отец Гарви был человек добрый. Сказал, что прекрасно все понимает, — ответила я, потому что он и вправду все понимал.

Он все топтался у двери. Хотел еще что-то добавить? Наверное. Но он промолчал, только пару раз кивнул.

— Но против врачей, надеюсь, вы ничего не имеете? — спросил он.

— Нет, — сказала я. — Против врачей я ничего не имею.

Он рассмеялся и вышел.

* * *

Фред Астер. Не красавец. Он сам говорил, что петь не умеет. Всю жизнь он лысел. Но в танце он двигался как гепард, с грацией первого человека на земле. Это я про ту, первую неделю творения. В один из этих дней Господь сотворил Фреда Астера. В субботу, наверное, кино ведь по субботам крутили. Стоило увидеть Фреда Астера, и все сразу налаживалось. Он был как лекарство. Его закупоривали в фильмы, и по всему миру, от Каслбара до Каира, он исцелял хромых и слепых. Это святая правда. Святой Фред. Фред Спаситель.

Я могла бы тогда ему молиться.

* * *

У подножия горы, на мокрой от дождя тропинке, я подобрала миленький гладкий камушек. Был такой старинный обычай — принести на вершину камень, чтобы положить его на гробницу. И ох да, беспокоилась я сильно. Не из-за подъема на гору, тогда мне это было нипочем. Нет, просто

у меня голова «шла кругом», как писали в дешевых любовных романчиках. И не могу сказать, от чего именно, а знала только, что делаю что-то дурное. День выдался совершенно благостный, совершенно спокойный, облачное небо было вспорото лазурными шрамами, но у меня настроение было совсем под другую погоду. Когда бури обрушивались на Нокнари, проливались на Страндхилл невидимыми армиями и невероятными летучими змеями, которые сражались между деревенскими домами и морем. Я подняла камень голыми руками — даже несмотря на всю свою тревогу, постаралась выбрать камешек получше — и пришла туда с голыми руками, с оголенным сердцем.

Своя судьба была у моего отца, значит, и у меня она, наверное, была тоже.

Дорогой читатель, я прошу твоей защиты, потому что теперь мне страшно. По моему старому телу даже дрожь пробегает. Все это было так давно, а мне по-прежнему страшно. Все это было так давно, а я все наклоняюсь и чувствую камень у себя в руке, совсем как тогда. Как такое может быть? И могу ли я вновь ощутить ту энергию, с какой я так неутомимо взбиралась в гору? Вверх, вверх, без устали, без устали. Быть может, я и

сейчас чувствую это, так, самую малость. Ноги и руки так и горят огнем, кожа гладкая, как металл, и молодость во мне — незамеченная, неоцененная. Отчего же я так мало знала тогда? И отчего так мало знаю сейчас? Розанна, Розанна, если бы теперь мне позвать тебя, мне самой крикнуть себе самой, услышишь ли ты меня? А если услышишь, то послушаешь ли?

* * *

На полпути в гору я повстречала людей, которые спускались вниз — сначала был слышен их смех, да то и дело вниз скатывался какой-нибудь камешек. И вот они поравнялись со мной, все сплошь габардиновые пальто, фетровые шляпы, шарфы и еще больше смеха. То были жители Слайго, из приличных, и я даже знала там одну женщину, потому что она частенько захаживала в кафе «Каир». Я даже припомнила, что она обычно заказывала, и, кажется, ей это тоже пришло в голову.

— Привет-привет! — крикнула она. — Какао и вишневую булочку, пожалуйста!

Я рассмеялась. В ее словах, конечно, не было ничего уничижительного. Ее спутники взглянули на меня с легким интересом, готовясь тоже вести

себя со мной по-дружески, если она того захочет. Но она им толком меня и не представила. Но зато тихонько прибавила:

— Слышала, вы замуж вышли за нашего замечательного музыканта из «Плазы». Мои поздравления!

Это было очень мило с ее стороны, потому что наша свадьба не вызвала в городе особой сенсации, а вызвала разве что сплетни. На самом деле я уверена, что наша свадьба произвела небольшой скандальчик, как и все в Слайго, что было из ряда вон. Это было очень маленькое место под дождем.

— Ну, рада была повидаться. Легкого подъема! Хэллоу!

И с этим прощальным американизмом она пошла дальше, и тропинка быстро утянула ее вниз, шляпы и шарфы быстро ушли под гору. И смех вместе с ними. Я слышала, как женщина говорит что-то своим приятным голосом: быть может, объясняя им, кто я такая, быть может, удивляясь тому, что я тут без Тома, уж не знаю что. Но меня в моем деле это не слишком поддержало.

А что у меня было за дело? Я и не знала. Почему я взбиралась на Нокнари по просьбе человека, который в прошлой гражданской войне был

ополченцем, и на жизнь, наверное, ополчился тоже? Арестант, который в Слайго роет канавы. И который, насколько я знала, не был женат и ни с кем не гулял. Я понимала, что это такое и на что все это похоже, но я не понимала, что же тащит меня в эту гору.

Быть может, то было безмерное любопытство, истоки которого крылись в моей любви к отцу. Мне нужно было снова очутиться подле его памяти или подле любого о нем воспоминания, которое сделало бы его более осязаемым, даже если это были воспоминания о той ужасной ночи на кладбище, о тех двух ужасных ночах.

На первый взгляд казалось, что на вершине никого нет, кроме разве что древних костей королевы Медб под гнетом миллиона камешков. Издалека, с низины, с побережья Страндхилла, ее гробница была отчетливо видна, но виделась маленькой.

И только когда я на своих гудящих ногах добралась до нее, то поняла, какая она громадная — труд сотен человек, которые давным-давно собрали с гор странный урожай камней размером с кулак, когда королева еще возлегала под несколькими тщательно подогнанными плитами, и постепенно, добавляя будто по травинке к

огромному пласту дерна, по событию в огромное эпическое полотно, воздвигли великий курган над ее вечным сном.

Спит она, говорю я, но подразумеваю — рассыпается в прах, истончается, исчезает в недрах холма, сползает во влажную землю, подкармливая мельчайшие алмазы и проблески вереска и мха. На мгновение мне почудилось, будто я слышу музыку, взвизг старого американского джаза, но то лишь притомившийся ветер шатался по вершине горы. И вдруг в музыке я расслышала свое имя.

— Розанна!

Я огляделась, но никого не увидела.

— Розанна, Розанна!

Тут меня взял старинный детский страх — а вдруг я слышу голос из другого мира, а вдруг там, на вершине кургана, сидит сама баньши — щеки у нее ввалились, на голове только пара седых прядок и осталась — и хочет утащить меня к себе в подземное царство. Но нет, то был не женский голос, а мужской, и тут я увидела, что из-за небольшого каменного заграждения поднялся человек, черноволосый, в черной одежде и с белым лицом.

— Ну вот и ты, — сказал Джон Лавелл.

Я узнала время, глянув на часы в галантерейном магазине в Страндхилле, но до сих пор считаю, что мне повезло встретить его, располагая столь скудной информацией. В воскресенье, в три часа. Если бы в том была великая нужда, если бы это была встреча тайных отрядов армии, которые решили одолеть врага хитростью, то вряд ли бы тогда все так ловко вышло. Но судьба, как оказалось, — превосходный стратег, и уж знает, как подгадать со временем, чтобы подтолкнуть нас к погибели.

Я подошла к нему. Думаю, мне было очень жаль его, думаю, все дело было в том, что он потерял брата при столь страшных обстоятельствах. Он будто был частью истории моего детства, от которой я не могла себя оторвать. Он имел для меня какое-то значение, природы которого я никак не могла постигнуть.

Что-то вроде гибельного уважения к человеку, который, может, и был простым землекопом, но для меня все равно был героем, принцем в лохмотьях нищего.

Он стоял на невысокой каменной насыпи. Когда-то, наверное, над ним возвышалась каменная плита, которая давным-давно или сползла набок, или вовсе обрушилась.

— А я тут лежал, — сказал он. — Солнышко здесь отлично припекает. Вот, потрогай мою рубашку.

Он вздернул полу своей рубашки. Я легонько коснулась ее — рубашка была теплая.

— Вот что может сотворить ирландское солнце, — сказал он, — если ему дать волю.

Затем нам обоим было нечего сказать, и мы какое-то время молчали. Сердце у меня так и колотилось о ребра, я даже боялась, что он услышит. Нет, то не была любовь к нему. То была любовь к моему несчастному отцу. Я стояла рядом с человеком, который стоял рядом с моим отцом. Вот такая жуткая, опасная, необъяснимая глупость.

Внезапно до меня дошло. Внезапно я подумала: Том женился на сумасшедшей. С тех пор эта мысль посещала меня много, много раз. Но я почти горжусь тем, что была первой, кто такое подумал.

Я не могла противиться чарам реки. Открытое море меня так не притягивало. Лосось мечет икру на узкой полосе гальки в своей родной речке, где вода только-только вытекает из земли. Таинственный мир, тайна на тайне, королевы в камнях и подземные реки вокруг.

— Знаешь что, Розанна, — сказал он немного погодя, — ты как две капли воды похожа на мою

жену.

— На твою жену, Джон Лавелл? — сказала я с внезапной злостью.

— На мою жену. Да, ты на нее похожа, или, быть может, у меня в памяти ее лицо сменилось твоим.

— И где же тогда твоя жена?

— На Инишке, на Северном острове. В двадцать первом несколько ребят с острова сожгли полицейские казармы. Не знаю зачем, ведь полиции там не было. Поэтому «черно-пегие» приплыли на остров, чтобы поглядеть, как тут можно отомстить. Мои близняшки тогда только-только родились. Китти, моя жена, стояла у двери нашего дома, и в каждой руке держала по мальчишке, чтобы, как мы говорим, «проветрить» их. «Черно-пегие» были далеко, но решили пострелять в нее. Ей прострелили голову, второй пулей убило Майкла а'Билли, а Шонин выпал из рук матери и ударился головой о порог.

Он говорил очень тихо, и еще как будто бы боязливо. Я схватилась за его рукав.

— Сочувствую, — сказала я.

— Ну, все-таки у меня есть Шонин, ему сейчас пятнадцать. У него с головой только не в порядке, ну, понимаешь, после падения. Странноватый он

немного. Он такой, старается держаться с края, только поглядывает тихонько. Его воспитывает родня матери, поэтому и фамилия у него материнская — Кин, на островах это славное, старое имя. Но со мной он разговаривать обожает. В прошлый раз, когда я был дома, рассказал ему о тебе, и он задал мне миллион вопросов. А я ему сказал, что если со мной что случится, то он должен разыскать тебя, и он сказал, что разыщет, хотя не думаю, что он понял и половины из того, что я говорил, не говоря уже о том, где вообще находится Слайго.

— Зачем ты велел ему так сделать, Джон Лавелл? — спросила я.

— Не знаю. Разве только…

— Разве только — что?

— Разве только потому, что я не знаю, что со мной будет. Наверное, пора снова браться за оружие. Что-то не выходит у меня канавы копать. Это одна причина, и она пугает меня до смерти. А еще, видно, дело в том, что я никогда не видал никого краше тебя, только Китти.

— Ты мне чужой почти. Ненормально это все как-то.

— Ну вот да, — сказал он. — Чужой. Тогда в нашей стране все друг другу чужие. Ты права. И

все-таки, что люди говорят, когда чувствуют то же, что и я? Я люблю тебя, наверное, говорят.

Мы стояли там уже довольно долго, и тут я услыхала другие голоса, новые голоса, подымавшиеся снизу. Я взяла себя в руки, вернула голову на место и прямо-таки метнулась к тропинке.

Другого пути вниз не было, только этот, хотя первой моей мыслью было рвануть через вереск, на восток по каменистой осыпи, но я помнила, что там, ниже Нокнари, скала обрывается вниз утесом и мне придется идти много часов, чтобы обогнуть его и выйти на дорогу.

Так много часов, что Том может наконец забеспокоиться, куда это я запропастилась, и даже поднять весь город на ноги, чтобы найти меня. Вот о чем я думала, когда ветер, вроде бы притихший к вечеру, хлестнул меня по лицу моими же волосами и снизу показалась небольшая группа людей.

Это были мужчины в черных плащах и сутанах. Маленькая компания священников на воскресной прогулке. Разве не было тут какого святотатства? Лучше бы их благочестие, их молитвы и их правила держали их поближе к городу. Но они принесли сюда свой другой смех, свои журчащие голоса. Я бешено заозиралась в

поисках Джона Лавелла. А он стоял прямо позади меня, будто бы сам он был — часть ветра.

— Уйди! — крикнула я. — Спрячься! Нельзя, чтобы нас тут вместе видели!

— Почему нельзя? — спросил он.

— Почему? Ты что, рехнулся? Рехнулся, как и я? Давай, прячься там, за камнями!

Но уже было слишком поздно. Еще бы.

Компания священников уже шла прямо к нам, и все сплошь улыбки да «здрасте — добрый день!», все шляпы приподнимают. Все, кроме одного, которому ветер и дорога в гору докрасна отлупили лицо, откуда на меня глянул непроницаемый, бьющий в сердце взгляд. Это был отец Гонт.

* * *

Когда я вернулась в Страндхилл и пришла в наш домишко, Тома там не было, так как он, готовясь к демонстрации, которая должна была прошествовать по Вайн-стрит, отправился на железнодорожную станцию в Слайго — поприветствовать Генерала, чтобы подчеркнуть, как сам он выразился, с каким энтузиазмом движение генерала О'Даффи встречают в городе. Он упрашивал меня надеть ту синюю блузку, которую он хитростью заставил Старого Тома пошить

для меня, но, по правде говоря, эта сторона Тома меня пугала. Думаю, в настоящем кафе «Каир» — в самом Каире, где и сама миссис Пранти уж точно не бывала — в каждом углу курили опий, не говоря уже о знаменитых танцовщицах «хучи-кучи»,[53] которые крутили животами. Я в жизни не видела ни одного курильщика опиума, но все мне казалось, что лицо Тома озарялось каким-то прямо сиянием Востока, когда он заводил все эти речи о Генерале, корпоративизме (думаю, и сам Том не знал точно, что это такое), и потом переходил к «этому предателю де Валера», «славному началу новой Ирландии» и прочей дребедени того времени. Пройдя маршем по Слайго, все они потом отправлялись в Страндхилл, на собрание в «Плазу». Страх, который осел во мне после встречи с Джоном Лавеллом, был во многом вызван тем, что вообще-то такие, как он, были врагами для движения Генерала. Не знаю, отчего меня это так беспокоило, но беспокоило. Я стояла в нашей крохотной гостиной, в которой было пусто, как на съемной квартире, но все же чисто и опрятно, и дрожала в своем летнем платье. Я дрожала все сильнее и сильнее, как вдруг вдали раздались

[53] Примечания: 53

Псевдоарабский танец, похожий на танец живота. Предполагается, что он появился в Цинциннати в 1876 году.

звуки моторов, еле слышный рев, который все нарастал и нарастал, и тут я наконец бросилась к окну и увидела, как мимо проносится целый поток «фордов» и прочих машин — впереди на собственном автомобиле едет Том, с ним рядом сидит человек очень важного вида, на голове у него кепка с козырьком, а нос крючком почти как у его брата Джека. Мимо ехали десятки и десятки авто, издавая эту свою железную музыку, и от их колес подымалась белая пыль прибрежной дороги, словно они ехали по самой Сахаре. И все лица мужчин и женщин так и горели над синими блузками и рубашками тем странным сиянием, и до счастья на Востоке всего пара лугов[54] — такая картина невозможного оптимизма, будто рекламный проспект из какого-нибудь американского журнала, которые иногда посылали сюда, родственникам, вместе со столь желанными американскими долларами.

И у меня возникло странное ощущение, что я гляжу на чей-то чужой мир, на чужого Тома, на чужой Слайго. Как будто сама я тут не задержусь, и была-то тут всего ничего или даже и не была вовсе. Я была сама перед собой как призрак, и

[54] Примечания: 54

Имеется в виду, что совсем неподалеку от Слайго начинался Атлантический океан — путь в Америку.

такое со мной было не впервые.

Я пошла в спальню, улеглась на прохладные простыни и постаралась успокоиться, пыталась вновь стать собой, и все никак не могла отыскать ее. Розанну. Наверное, она от меня ускользала. Быть может, она ускользнула от меня еще давным-давно. В этой войне за независимость помирать пришлось не только солдатам и полицейским, и еще тем дуракам, которые, даже не подумав хорошенько, отправились на Великую войну, но и бродячим ремесленникам, и всяким побродягам. Люди, которые марали самые края всех вещей, люди, что теснились на самых краешках фотографий с изображениями красивых мест, отчего, по мнению некоторых, сами эти места начинали смердеть. Когда во время следующей войны немцы бомбили Белфаст, десятки тысяч бежали в провинцию, тысячи — из белфастских трущоб, и никто не хотел размещать их у себя, потому что они все были представителями позабытой дикарской расы и были так бедны, что в жизни не видали уборной и никакой другой еды, кроме хлеба и чая. В приличных домах они мочились прямо на пол. Никто их и не видел до тех пор, пока немцы своими бомбежками не выгнали их на поверхность, не выжгли их наружу.

Будто несчастных крыс моего отца. Я лежала в своей кровати на чистых простынях, но чувствовала себя одной из них. Как и они, я оказалась недостаточно благодарной и осквернила свое собственное гнездо. Я знала, что, если бы все эти друзья Тома, которые сейчас собрались там, в «Плазе», узнали про меня всю правду, они бы захотели — ну, не знаю, уничтожить меня, осудить меня, вырезать меня с фотографического снимка жизни. С прелестного пейзажика обычной жизни. Конечно, тогда я ничего не знала про немцев, кроме того, что такие Генералы были еще в Италии, Германии и Финляндии — могущественные, шумные мужчины, которые хотели очистить, оздоровить и уравнять всех своим пламенем, чтобы потом выступить огромной толпой против тех, кто был гадок, грязен и убог. У меня где-то в сердце, где-то в паспорте моего сердца запечатлено мое настоящее лицо — немытое, обожженное, перепуганное, неблагодарное, больное и глупое.

Я проснулась уже после полуночи, от того, что Том тихонько ходил по комнате. Над Нокнари висела огромная луна, гробницу было видно будто ясным днем. На мгновение в полусне мне почудилось, будто на вершине гробницы кто-то сидит: фигура в темном одеянии, за спиной у

которой были распростерты сияющие крылья. Но, разумеется, отсюда я не могла ничего такого увидеть.

— Не спишь, лапонька? — спросил Том, выпутываясь из подтяжек.

— У тебя лицо в крови, — сказала я, приподнявшись.

— Да вся моя ненаглядная рубашка в крови, — сказал он, — хотя на синем не очень-то это и видно.

— Господи боже, — сказала я, — да что случилось, Том?

— Ничего такого. Полицейские в Слайго немного посопротивлялись. Мы себе маршируем, чинно-мирно, как тут с Квей-стрит нам навстречу отряд парней, их было немного, но все на взводе, их, наверное, прислали из Коллуни, потому как они точно не из Слайго. Один из них так огрел меня палкой — больно-то было как, господи! И тут Генерал как начнет на них орать, а они ему в ответ орут: «Нет у вас разрешения тут маршировать!» А ведь всего пару лет назад Генерал всеми ими управлял. Ну да ладно. В общем, все больше орали да кипятились. Поэтому уж как мы были рады наконец добраться до «Плазы»! И вот там-то все было просто отлично. Ты столько народу и в

жизни не видела.

Рассказывая, он переоделся в свою опрятную полосатую пижаму, затем подошел к умывальнику, с шумом поплескал себе в лицо водой, утерся полотенцем и завалился на кровать рядом со мной.

— А ты что делала? — спросил он. — Надо было тебе со мной пойти. Было здорово!

— Я гулять ходила, — ответила я.

— А-а, — сказал он, — вот как? Ну, тоже неплохо.

Левой рукой он обхватил меня, притянул к себе, и спустя какое-то время мы уснули, в крови и лунном свете.

Записи доктора Грена

Какая паника поднялась вчера в клинике! Нужно заметить, что такой уровень реакции меня чуть ли не приободрил, потому что в прошлом мне часто казалось, что над этой старой крышей будто нависло какое-то облако апатии. Та юная леди, которую обнаружили в смятении и пятнах крови, теперь пропала. Палатная медсестра была в ужасе, потому что к пациентке только что приходила сестра и принесла ей в подарок симпатичный новый халат. Сестра заметила, что

поясок у халата сделан из того же светлого материала, что и халат, но у нее не хватило духу сразу отобрать этот поясок. Поэтому она металась по всем палатам, у каждого встречного спрашивала, не видели ли они эту бедняжку, отчего зашевелились даже самые древние пациенты — в первый раз за много лет. В конце концов обнаружилось, что она вовсе не повесилась, а в этом своем халате прошла в администрацию и выписалась из больницы, на что, согласно новому законодательству, имела полное право. Затем она вышла на шоссе, поймала попутку до города, там села на автобус до Лейтрима — и все в этом халате. Как будто это был волшебный наряд, вернувший ее обратно в Лейтрим. Вчера вечером нам позвонил ее муж, чтобы сообщить о ее возвращении, и голос у него был очень сердитый. Сказал, что лечебница должна служить прибежищем для слабых. Старшая сестра говорила с ним очень кротко, не то что старые матроны, которые работали тут раньше. Не знаю, какие у этого всего будут последствия, но мне все это очень напоминает побег на волю. Я желаю этой несчастной женщине всего самого наилучшего и сожалею, что мы принесли ей так мало пользы, даже наоборот. И еще я очень рад, что опасения медсестры не подтвердились.

Утром я поднялся в комнату миссис Макналти — нет-нет, в комнату Розанны — почти что в приподнятых чувствах. Конечно, положение той юной дамы по-прежнему не совсем стабильное, но я уже достаточно пожил на свете, чтобы знать, как ценна жизнь сама по себе.

В комнату бочком протиснулось немного весеннего солнца, свет будто бы прокрался через окно, почти что извиняясь за вторжение. Маленький квадратик солнца перечертил лицо Розанны. Да, она очень старая. Солнечный свет — самый жестокий проявитель возраста и самый правдивый художник. Мне на ум пришли строки из Т. С. Элиота, которые мы учили в английской школе:

> *Невесомая жизнь ждет смертоносного ветра,*
> *Как перо на ладони моей.*[55]

Это слова Симеона, человека, который хотел прожить на свете столько лет, чтобы успеть увидеть народившегося Мессию. Не думаю, что Розанна ждет того же самого. Еще я вспомнил автопортреты Рембрандта ван Рейна, столь точно разрушающие наши представления о собствен-

---

[55] Примечания: 55
Т. С. Элиот, «Песнь Симеона» *(пер. К. С. Фарая).*

ной внешности, которые мы держим при себе будто противоядие от жалости. Как мы решаем не допускать того факта, что кожа обмякает у нас на челюсти и провисает под подбородком, будто побелка, которая отходит от дранки на старом потолке.

Кожа у нее такая тонкая, что видны вены и все остальное, будто дороги, реки, города и памятники, отмеченные на карте. Будто бы эту кожу растянули, чтобы писать на ней. Однако же ни один монах не рискнет провести пером по столь тонкому пергаменту. И я вновь подумал, какой же она была красавицей, если даже сейчас, в столетнем возрасте она столь причудливо прекрасна. Добрая кость, как говаривал мой отец, словно бы, пока старел он сам и старели все вокруг него, он понял этому настоящую цену.

Но у нее сыпь на одной стороне лица, очень красная и, как говорится, «горящая», и еще мне показалось, что ей тяжело ворочать языком, он как будто слегка распух у самого корня. Нужно, чтобы мистер Уинн, врач, ее осмотрел. Ей могут понадобиться антибиотики.

Уж уловила ли она мое настроение или еще что, но она охотно шла на контакт, даже откровенничала. Была в ней какая-то странная

непринужденность. Быть может, то было счастье. Знаю, что она невероятно радуется перемене погоды, ходу года. Самые большие ее надежды связаны с нарциссами, что растут по обеим сторонам аллеи, которые там приказала высадить еще какая-нибудь знатная дама, когда этот дом был огромным величественным поместьем, еще в старые, а ныне навсегда ушедшие времена. С боязливой деликатностью, стараясь брать пример с солнечного света, я наконец затронул тему ее ребенка. Говорю «наконец», будто бы я до того успешно затронул сотню других тем или старался аккуратно подвести ее к разговору о ребенке. Но этого я не делал. Конечно, я много думал обо всем этом, ведь, если правда то, что написал отец Гонт, тогда весь вопрос о ее состоянии и долгом пребывании и здесь, и в Слайго уж точно навсегда останется спорным. Кстати о Слайго, я им снова написал, попросил разрешения как-нибудь приехать туда и переговорить с администратором, который оказался моим старым знакомым — его зовут Персиваль Квинн, и думаю, это единственный Перси, о котором я слышал в наше время. Скорее всего, он как раз и потрудился раскопать отчет отца Гонта, и, может быть, там есть и другие документы, о которых даже Перси

не решился мне сообщить, хотя не знаю. Мы, психиатры, иногда ведем себя как агенты МИ-5. Любая информация кажется хрупкой, уязвимой, тревожной — как мне кажется иногда, даже если речь идет о том, который сейчас час. Но все-таки я последую своему наитию.

Дома сегодня полнейший покой. Это почти так же жутко, как и то перестукивание. Но я благодарен. Я человек, я одинок, я старик, и я благодарен. Не будет ли неуместным написать прямо тут тебе, Бет, чтобы сказать: я по-прежнему люблю тебя, и я благодарен тебе?

Розанна была такой беззащитной, такой великолепной, такой открытой во время нашей с ней беседы. Я знал, что могу спросить у нее что угодно, задать любой вопрос и, вероятно, получить правдивый ответ, ну или тот, который ей кажется правдивым. Но я осознавал это свое преимущество и, если бы поднажал на нее, то, быть может, получил бы куда больше информации, но, скорее всего, что-нибудь и утратил. Сегодня она могла бы рассказать мне все, и именно сегодня я сделал выбор в пользу ее молчания, ее приватности. Потому мне кажется, что есть кое-что превыше справедливости. Кажется, это зовется милосердием.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Приходил доктор Грен, очень бодрый, придвинул ко мне стул так, что сразу стало понятно — намерения у него серьезные. Меня это так поразило, что у нас с ним получилось даже нечто вроде беседы.

— Такой прекрасный весенний день, — сказал он, — что я набрался храбрости снова задать вам все те же утомительные вопросы, которые вам бы, наверное, хотелось и не слышать от меня вовсе. Но мне все же кажется, что от них будет польза. Вот только вчера я узнал нечто, заставившее меня поверить в то, что на свете нет ничего невозможного. Все, что поначалу кажется нам непроглядной, непролазной тьмой, может вдруг озариться светом, неожиданным светом.

Так он говорил какое-то время, а потом наконец задал вопрос. Снова про моего отца, и я с радостью повторила, что мой отец никогда не служил в полиции. Хотя, сказала я, полицейские были в семействе Макналти.

— Брат моего мужа, Энусом его звали, служил в полиции. Он устроился туда где-то в 1919-м, не самое удачное время для того, чтобы искать там работу, — так сказала я, ну или что-то в этом

роде.

— Ага, — сказал доктор Грен, — так вы полагаете, что тут произошла какая-то путаница?

— Не знаю, — ответила я. — А что, нарциссы на старой аллее уже зацвели?

— Вот-вот распустятся, скоро грозятся зацвести, — сказал он. — Но, может, они боятся последних заморозков.

— Мороз нарциссам нипочем, — сказала я. — Они как вереск, хоть в снегу цвести могут.

— Да, — ответил он, — думаю, вы правы. Теперь, Розанна, я бы хотел перейти к другой теме — к разговору о вашем ребенке. В том отчете, о котором я говорил вам, упоминается и о ребенке. В какой-то момент.

— Да, да, был ребенок.

И больше я ничего не сказала — ну что тут скажешь. Боюсь, что расплакалась — так тихонько, как только сумела.

— Я не хотел вас огорчить, — очень-очень мягко произнес он.

— Я и не думаю, что хотели, — сказала я. — Просто, когда я вспоминаю прошлое, все это так…

— Трагично? — спросил он.

— Это слишком важное слово. В любом случае — печально, наверное, так.

Он сунул руку в карман пиджака и вытащил маленький бумажный платочек.

— Не беспокойтесь, — сказал он, — я им не пользовался.

Я с благодарностью взяла эту маленькую бесполезную вещицу. А почему же он им не пользовался, хотя у него самого горе еще свежо? Я попыталась представить его дома, в месте, о котором я, конечно, ничего не знаю. Вот он сидит дома, а жены его больше нет. Смерть, безжалостная, как и все любовники, забрала ее.

Я промокнула слезы. Я чувствовала себя Барбарой Стэнвик в какой-нибудь дурацкой мелодраме, ну или по меньшей мере Барбарой Стэнвик, которой исполнилась сотня. Доктор Грен глядел на меня с таким несчастным видом, что я рассмеялась. Тогда он приободрился и тоже рассмеялся. Мы смеялись вдвоем, только очень мягко и тихо, словно не хотели, чтобы нас кто-нибудь услышал.

* * *

Должна признать, что мои «воспоминания» любопытны даже мне самой. Доктору Грену мне бы этого говорить не хотелось. Мне кажется, что память, если ей пренебрегать, становится похо-

жей на кладовую или чулан, как в старых домах: все там вверх дном, быть может, не столько из-за небрежения, сколько из-за беспорядочных поисков да ненужных вещей, которые просто туда сваливают на хранение. И я точно подозреваю, что… нет, не знаю, что я там точно подозреваю. У меня голова кругом идет при одной мысли о том, что все мои воспоминания могут оказаться… ненастоящими, наверное. Столько всяких бед случилось тогда, и я… и я что? Укрылась в других невозможных историях, в мечтах, в фантазиях? Не знаю даже.

Но если я крепко уверую в определенные воспоминания, то, возможно, они послужат мне мостиком, по которому я перейду поток «былого», и он не накроет меня с головой.

Говорят, мол, у стариков, по крайней мере, остаются воспоминания. Не думаю, что это всегда так уж хорошо. Я пытаюсь быть верной тому, что у меня в голове. Я надеюсь, что таким образом, я еще пытаюсь быть верной себе.

Все было проще не придумаешь. Он просто не вернулся домой. Я прождала целый день. Я приготовила рагу, как и пообещала ему утром, потому что Том питал слабость ко всякой разогретой мешанине, хотя моряком-то был не он, а его брат

Джек. Моряки и солдаты обычно очень любят такое, мой собственный отец тому подтверждение. Но еда так и стыла под крышкой. Ночь поглотила Нокнари, залив Слайго и Бен Бульбен, где убили Вилли, брата Джона Лавелла. Там, на верхних склонах, в тишине редеющего воздуха и вереска. Убит выстрелом в сердце, верно ведь, или в голову, уже после того, как он сдался. Джон Лавелл видел это из своего укрытия. Его собственный брат. Ирландские братья. Джон и Вилли, Джек, Том и Энус.

Я сразу поняла, случилось что-то страшное, но можно знать это и не позволять этим мыслям забраться тебе в голову, забиться в висках. Вот они и крутятся где-то там, на задворках сознания, где с ними можно справиться. Зато в висках начинает ломить от боли.

Признаюсь, я сидела там, изнемогая от любви к мужу. От любви к его невероятной расторопности, даже к его решительному шагу по мостовым Слайго. К его жилетам, его габардиновому пальто и к его тренчу на четырехслойной подкладке, к его ботинкам на патентованной двойной подошве, которую никогда не нужно чинить (конечно, мы их чинили). К его сияющему лицу и румяному здоровью на щеках, к его сигарете в уголку рта,

той же марки, что курил его брат, — *Army Club Sandhurst*. К его уверенности и к его музыкальности, к тому, как он все стремился добиться чего-то в этом мире. И не только добиться, он собирался завоевать весь мир, завоевать Слайго и все земли к востоку и западу, «От Португалии до самого моря», как говорится в старой пословице, хотя это и нонсенс, по правде-то говоря. Том Макналти, человек, который имел полное право на жизнь, потому что так почитал само наслаждение ею.

Господи, господи, вот так я там и сидела. И сижу там по сей день.

Я достаточно стара и понимаю, что течение времени — это всего лишь удобный трюк. Все всегда незыблемо и не перестает происходить, не перестает случаться. Прошлое, настоящее и будущее, они в голове навечно, будто щетки, гребни и ленты в сумочке.

Он просто не вернулся домой.

В Страндхилле по вечерам не было танцев, а когда изредка по деревне проезжала машина, начинала ухать сова. Думаю, она жила где-то под Нокнари, где земля обрывается и превращается в своего рода морской дол. Сова обитала достаточно близко, и это ее вечное уханье на одной ноте отчетливо долетало до меня через чахлые поля и

пустоши. Она все ухала и ухала, будто бы хотела что-то сказать, а что — я и не знаю. Создания, что бодрствуют и охотятся по ночам, зовут ли они в ночи свою пару? Наверное, зовут. И я звала своим сердцем, посылала сигналы в этот сложный мир людей. Звала Тома домой, домой.

Глава семнадцатая

Две ночи прошло, а я, кажется, и с места не двинулась. Хотя это вряд ли возможно. Неужели я ничего не поела, не сходила в уборную за домом, не размяла ноги? Не помню. Или помню только, как все сидела там, а затем, стоило только сумеркам сгуститься над Страндхиллом, угомонившим все — даже яркость травы, даже ночной бриз, который несся с залива, шуршал о подоконник моими розами или их бутонами, — бум-бум-бум, будто сам Джин Крупа[56] легонько прошелся по барабанам. И сразу же, будто по сигналу, пришли другие звуки — примчались по дороге, свернули за угол, и вот уже в дверь постучала мелодия «Цветка жимолости», сначала всего пара нот, но вот уже Гарри Б. ударил по барабанам, а затем вступил кларнет, на котором, как я предположила, выводил Том, и кто-то уселся за пианино — уж не я точно, но по хриплому стуку клавиш я догадалась, что, скорее всего, играл сам Старый Том, а вот и, наверное, Дикси Килти взял ритм-гитару, которую он любил как собственного

---

[56] Примечания: 56
Джин Крупа (1909–1973) — известный американский барабанщик.

ребенка, и вот они уже развертывали песенку, стебелек за стебельком, цветок за цветком, будто саму жимолость, хотя в этих краях она зацветала куда позже.

Тогда я и поняла, что была суббота. Теперь у меня был хоть какой-то ориентир.

Господи, до чего же то была прекрасная мелодия для гитары.

«Цветок жимолости». Пум-пум-пум — гудят барабаны, вверх-вниз, вверх-вниз — ходуном ходят гитарные струны. Даже самые прожженные парни в Слайго от этой песни чуть с ума не сходили. Мертвец бы и тот под нее затанцевал. Немой бы подпевал гитарному соло.

Говорили, ну, по крайней мере Том мне говорил, что Бенни Гудман на танцах отводил этой песне добрых двадцать минут. И я легко могла в это поверить. Ее можно целый день играть и все равно не высказать всего, что в ней есть. Ведь то была говорящая песня. Даже если петь ее без слов.

И вот.

И вот, я туда пошла. Пошла — с чернейшим, неизъяснимым чувством. Надела все самое лучшее, натянула выходное платье, «навела марафет» на скорую руку, причесалась, уложила

волосы, сунула ноги в туфли для танцев — и только дышалось все как-то трудно, а затем вышла на ветер, и от холода у меня даже грудь будто сжалась на мгновение. Но мне было все равно.

Потому что я думала, что все еще может закончиться хорошо. Почему я так думала? Потому что плохих новостей я еще не слышала. Я столкнулась с какой-то загадкой.

Для танцев было еще рановато, но из Слайго уже ехали машины, а лучи их фар, будто огромными лопатами, вскапывали изъезженную дорогу. Лица в машинах так и светились предвкушением, а иногда парни даже стояли на подножках. Счастливое зрелище, самое счастливое зрелище в Слайго.

Чем ближе я подходила к «Плазе», тем больше мне казалось, что я призрак. Потом-то «Плаза» стала самым обычным домом отдыха, к ней сзади пристроили зал, так что фасадом она стала походить на самое обычное здание, только какое-то выровненное, как будто затертое. На крыше развевался красивый флаг с буквами П-Л-А-З-А на полотнище. Освещение там было никудышное, но кому нужно это ваше освещение, когда само здание виделось каждому в его повседневных мечтах и мыслях Меккой. Можно было всю неде-

лю горбатиться на опостылевшей работе в городе, но пока на свете была «Плаза»… Посильнее любой религии, скажу я вам, были танцы. Они сами и были религией. Запрет танцевать стал бы чем-то вроде отлучения от церкви, недопущения к причастию, как не допускали до него солдат ИРА во время гражданской войны.

Солдат вроде Джона Лавелла, разумеется.

«Цветок жимолости». Теперь бэнд закончил с этой песней и начал другую — «Тот, кого я люблю», которая, как всем известно, куда медленнее, и я подумала, что для самого начала вечера это не лучший выбор. Играть в бэнде — это навсегда. Каждая мелодия хороша в свое время. Иногда такое время наступает редко — для старых рождественских песен, например, или промозглых старинных баллад, когда посреди зимы всем охота погрустить. «Тот, кого я люблю» — это для предпоследнего танца или около того, когда все уже еле ноги передвигают, но такие зато счастливые, и кругом все сияет — лица, руки, инструменты, сердца.

Когда я вошла, на танцполе было всего несколько пар. Я была права, для танцев было еще рановато. Но у всего бэнда вид был уже заполночный. Старый Том только завел соло на пианино, а

сын перебивал его кларнетом. Мне аж не по себе стало. Быть может, люди видели и то, что Том, мой Том, казался немного навеселе. Его, конечно, качало из стороны в сторону, но мелодию он выводил ровно, до тех пор пока его будто заклинило, и он вытащил мундштук изо рта. Бэнд дотянул мелодию до конца последней музыкальной фразы и тоже умолк. Все повернулись к Тому, чтобы поглядеть, как он поступит. Том, как всегда аккуратно, положил кларнет на пол, сошел со сцены и шатающейся походкой направился за кулисы, где располагалась гримерка. Не знаю даже, видел ли он меня.

Я тоже направилась туда. Меня и старый занавес, за которым скрывалась дверь, разделял только танцпол. Я рванулась вперед, но внезапно путь мне преградил Джек, и лицо его в мерцающем полумраке было очень суровым.

— Чего тебе надо, Розанна? — спросил он таким ледяным тоном, какого я от него никогда не слышала, а уж он иногда мог быть прямо айсбергом.

— Чего мне надо?

Так забавно, я промолчала два или три дня, и теперь голос у меня был надтреснутый — их-х-х-х, будто игла скользнула по пластинке.

На меня, наверное, и не посмотрел никто. Со

стороны, должно быть, казалось, будто мы стоим тут и болтаем, как пара старых друзей, как и все те тысячи старых друзей, которые останавливались тут поболтать каждую субботу. Да и что это была бы за дружба, если б не было «Плазы», не говоря уже о любви?

В желудке у меня, наверное, ничего и не было, но он все равно сжался в рвотном позыве. Так я отозвалась на ледяные слова Джека. Этот лед поведал мне больше любых его слов, слов, которые я, несомненно, вот-вот должна была услышать. Это не был голос палача, вроде того англичанина, Пьерпойнта, которого фристейтерское правительство привозило сюда в сороковых вешать членов ИРА, но то был голос судьи, который только что приговорил меня к смерти. И сколько убийц и уголовников уже видели — по одному лицу судьи, не говоря уже о черной шапочке, которую им надевали на головы, — какая судьба им уготована, хоть бы и каждая клеточка их тела протестовала против этого знания, и надежда теснилась у самого выдоха неотвратимых слов. Так пациент глядит в лицо хирургу. Смертный приговор. Вот что получил Энус Макналти за свою службу в полиции. Смертный приговор.

— Чего тебе надо, Розанна?

— Чего мне надо?

И снова эта сухая рвота. Люди начали поглядывать на меня.

Думали, наверное, что я махом вылакала полбутылки джина, что-нибудь в этом роде, как это обычно делали нервничавшие танцоры — «скользкие клиенты», как их звал Том. Меня так ничем и не стошнило, но мне все равно стало мучительно стыдно. И к этому стыду примешивалось еще какое-то глубокое, очень глубокое чувство — может, раскаяние, может, отвращение к себе самой, которое меня так и буравило.

Джек отшатнулся от меня, будто бы я была обрывистым утесом, чем-то опасным, что может раскрошиться у него под ногами и обрушить в гибельную пропасть. Как Мохерские утесы, как Дун-Энгус.

— Джек, Джек, — сказала я, но что хотела сказать — не знала.

— Да что с тобой такое? — спросил он. — Что с тобой такое?

— Со мной? Не знаю. Меня тошнит.

— Да не сейчас, твою мать. Розанна, что ты натворила?

— Что, что говорят, что я натворила?

Ну вот, теперь это даже на нормальную речь

было не похоже. Что, что, что. Будто какой южный напев, старая негритянская песня. Но Джек ничего не ответил.

— Могу я пройти к Тому за кулисы? — спросила я.

— Том не хочет тебя видеть.

— Конечно, хочет, Джек, он ведь мой муж.

— Ну, Розанна, с этим-то мы разберемся.

— Это ты о чем, Джек?

И вдруг внезапно весь его лед сошел. Быть может, он припомнил старые времена, уж не знаю. Может, припомнил, что я всегда к нему относилась по-дружески и ценила всего его достижения. Видит Бог, мне всегда нравился Джек. Мне нравились его строгость и странная, иногда прорывавшаяся веселость, когда он вдруг принимался дрыгать ногами и выделывать то, что он называл африканским танцем. Иногда на вечеринках его вдруг ни с того, ни с сего могло охватить безудержное веселье, которое уносило его до самой Нигерии. Мне нравились его шикарные пальто и еще более шикарные шляпы, его тонкая золотая цепочка для часов, его авто, которое всегда было самым лучшим авто в Слайго, за исключением огромных крытых автомобилей, на которых ездили только богатенькие.

— Послушай-ка, Розанна, — сказал он. — Тут дело запутанное. В Страндхилле на твое имя открыт счет в лавке. С голоду не помрешь.

— Что?

— С голоду не помрешь, — повторил он.

— Слушай, — сказала я, — почему же мне нельзя поговорить с Томом? Всего пару слов. За этим я и пришла. Ради всего святого, я ведь не собираюсь снова играть в бэнде.

Это было не слишком логично, и, кажется, последнюю фразу я даже прокричала. Не лучший способ вести себя с Джеком, который легко смущался и превыше всего на свете ненавидел истерики. Не думаю, что его драгоценная голвейская подружка хоть раз в жизни закатила ему истерику. Однако Джек по-прежнему оставался невозмутимым, только придвинулся ко мне поближе.

— Розанна, я всегда был тебе другом. Поверь мне и теперь и возвращайся домой. Будут новости, я скажу. Может, все еще обойдется. Просто успокойся и иди домой. Давай-ка, иди, Розанна. Но мать уже про все это высказалась, а против нее не попрешь.

— Мать?

— Да, да, мать.

— Господи боже, и что же она сказала?

— Розанна, — тихо, яростно прошептал он, — есть в нашей матери такое, чего тебе никогда не понять. Есть в ней такое, чего и я никогда не пойму. В детстве с ней приключилось достаточно бед. Поэтому теперь ее ни в чем не переубедить.

— Бед? Каких бед?

Теперь он почти шипел, вроде бы опасаясь, как бы нас не подслушали, но в то же время он словно хотел убедить меня в чем-то, в чем убедить, наверное, ну никак было нельзя.

— Это все давняя история. Она решила, что у Тома все должно быть в жизни куда как лучше, потому что, потому что… а, это все ее прошлое, ее прошлое.

— Ты говоришь как чокнутый! — крикнула я.

Я словно прижгла его горящей палкой.

— Ну, послушай, послушай, может, все еще обойдется, — сказал он.

Где-то в глубине души я понимала, что если сейчас развернусь и уйду из этого зала, то все точно никак не «обойдется». Всякому разговору — свое время, как и каждой песне, и неважно, если это время выпадает крайне редко. И тут была та редкая минута, когда я знала, что если бы мне только увидеть Тома или, скорее, Тому

увидеть меня, женщину, которую он любил так сильно, желал, почитал и любил, то все наконец наладилось бы.

Но Джек меня не пустил бы. Совершенно точно. Он стоял ко мне чуть бочком, будто рыбак, который забрасывает сеть, собираясь ловить лосося, и переносит всю тяжесть своего тела на левую ногу.

Джек не был подонком, он не был жесток. Просто сейчас родной брат был ему важнее свояченицы.

И еще он был чертовски огромным препятствием. Я попыталась рвануться вперед, проскочить мимо него одним усилием воли, но воля оказалась куда мягче его самого. Поездки в Африку сделали его железным, я будто в дерево врезалась, и он ухватил меня, а я все пыталась вырваться и все кричала, кричала, пытаясь докричаться до Тома, до милосердия, до Бога. Его руки сомкнулись на моей талии, крепко, так крепко — хамма-хамма крепко, если говорить на его африканском языке, на пиджине, который он так любил изображать и передразнивать, он притянул меня к себе, так что мой зад уперся ему в бедро, пришвартовался там намертво, и держал меня крепко, цепко, не размыкая рук, будто в жутком любовном объятии.

— Розанна, Розанна, — сказал он. — Тихо, женщина, ш-ш-ш!

А я все орала и выла.

Вот как я любила Тома и свою жизнь с ним. И вот как я отбрыкивалась от ненавистного будущего.

* * *

Вернувшись в свою хибарку, я места себе не находила. Улеглась было спать, но сон не шел. В голове царил какой-то холод, аж до боли, словно кто-то вскрывал мне заднюю стенку черепа острым-преострым консервным ножом. Хамма-хамма острым.

Есть такие страдания, позабыть о которых может любое живое существо, иначе нам бы никак не выжить среди других таких же существ. Так, мол, бывает с болью при родах, но с этим я не соглашусь. И ту боль, что я тогда испытала, позабыть тоже было невозможно. Даже сейчас я, усохшая старая карга, сижу тут и все равно помню эту боль. Все равно чувствую ее отголоски.

Эта боль, которая отнимает все, кроме себя самой, и потому молодая женщина, которая лежит там, на своем брачном ложе, — это одна сплошная боль, одно сплошное страдание. Вся я была в

каком-то поту. Боль же в основном была вызвана невероятной боязнью того, что никто-никто — никакой цирк, никакие гарцующие янки на лошадях, ни одна живая душа не появится, чтобы избавить меня от нее. Что я так и буду вечно в ней плавать. И все же, я думаю, боль эта была такой незначительной. Мир не принимал меня в расчет во времена мрачных страданий, куда как горше моих, если, конечно, верить традиционной истории мира. Занятно, что теперь эта мысль меня даже утешает, но тогда мне это не помогло. Да и что может утешить женщину, которая корчится от боли на забытой кровати, на забытой земле Страндхилла — даже и не знаю. Была бы я лошадью, так меня пристрелили бы из жалости.

Не такой уж это пустяк — пристрелить человека, но в те дни это считалось сущей мелочью.

Во всем мире считалось. Я знаю, что вскоре после этого Том вместе с Генералом уехал в Испанию, сражаться за Франко, а там ведь стреляли только так. Они подводили мужчин и женщин к краям живописных пропастей, стреляли в них, и те у них на глазах падали в бездонные глубины. Пропасть тогда была сразу и историей, и будущим. Они выстрелами укладывали людей в самые развалины их страны, в разруху и руины,

точь-в-точь как в Ирландии. На гражданской войне мы перестреляли достаточно народу, чтобы умертвить новую страну еще в колыбели. И даже больше, чем достаточно.

Это я за себя говорю, так мне теперь это видится. Тогда я мало что знала обо всем этом. Убийство, правда, я видела собственными глазами. И видела, как убийство на своем пути может сделать крюк и прихватить и другие жизни, безо всякого предупреждения. Вот она, смышленость, всеохватность убийства.

Следующее утро выдалось до абсурдного прекрасным. В дом залетел воробей и страшно разволновался и огорчился, когда я вышла из спальни в пустую гостиную. Я зашла в угол, взяла в руки это дикое трепыхание, которое напоминало летучее сердце, пошла к двери, которую, будучи во власти своего странного горя, позабыла закрыть накануне, вышла на крыльцо, вскинула руки и выпустила маленькую, бесполезную серую птичку назад, к солнцу.

И едва я разомкнула руки, как на тропинке, ведущей к дому, показались Джек Макналти и отец Гонт.

В те времена священники считали себя хозяевами страны, и, наверное, отец Гонт тоже считал,

что он хозяин моей хибарки, потому что он, не говоря ни слова, прошел прямо в дом и уселся на колченогий стул, Джек проследовал за ним, а я чуть было не забилась в угол, как тот воробей. Но что-то я не думала, что они возьмут меня в руки и выпустят на волю.

— Розанна, — сказал отец Гонт.

— Да, отец.

— С нашего последнего разговора прошло много времени.

— Да, много.

— Не погрешу против истины, если скажу, что в твоей жизни с тех пор произошли кое-какие перемены. А как поживает твоя мать, я ведь и ее все это время не видел?

Что ж, не думаю, что он ждал ответа на свой вопрос, ведь это он хотел упечь ее в сумасшедший дом, да я бы и не смогла ему ответить, даже если бы захотела. Я не знала, как там поживает моя мать. Наверное, дурно с моей стороны было не знать этого. Но я не знала. Я надеялась, что с ней все хорошо, но не знала — хорошо ли. Кажется, я знала, где она, но не знала, как она там.

Моя несчастная, прекрасная, безумная, пропащая мать.

Конечно же, я начала плакать. Странно, но не

по себе, хотя и могла бы наплакать целое море и реку в придачу, но нет, плакала я не по себе. По своей матери? А может ли кто вообще вычленить причину наших слез?

Но отца Гонта мои дурацкие слезы вовсе не интересовали.

— Э-э-э… Тут Джек хочет представить семейную точку зрения по одному вопросу, верно, Джек?

— Ну, — ответил Джек. — Мы хотим, чтобы все прибрали за собой. Мы хотим вести себя как белые люди. Решение всегда найти можно, даже если дело очень запутанное. Я в это верю. Вот в Нигерии бывали такие проблемы, которые казались совершенно неразрешимыми, но стоило приложить немного смекалки… Всякие там мосты через реки, которые каждый год меняли направление. Вроде того. Инженерам приходится решать такие проблемы.

Я стояла и терпеливо слушала Джека. Вообще-то это, наверное, была самая длинная речь, которую Джек произнес, обращаясь ко мне, по крайней мере в моем присутствии ну или хотя бы в некоторой близости от меня. Он был весь такой свежевыбритый, подтянутый, чистый, воротник кожаного плаща поднят вверх, шляпа сидит на голове идеально косо. От Тома я знала, что по-

следние несколько недель он беспробудно пил, но этого по нему было незаметно. Он обручился с этой своей голвейской девчонкой, и от этого, как сказал Том, типично по-мужски запаниковал. Он собирался жениться на ней и увезти ее в Африку. Том показывал мне фотографии бунгало Джека в Нигерии и самого Джека с разными людьми, белыми и черными. И впрямь я была заинтригована, зачарована даже видом Джека в элегантной рубашке с расстегнутым воротом, в белых брюках и с тросточкой; на одной из фотографий был снят черный мужчина, быть может, тоже чиновник, но только тут не было никакого расстегнутого ворота, напротив, на нем был строгий черный костюм, жилет, галстук, и уж не знаю, какая там жара стояла, но с фотографии он глядел холодно и спокойно. Был еще снимок Джека в толпе полуголых людей, черно-черно-черно-черных, то, наверное, были рабочие, копавшие каналы, которые там строил Джек, ровные, прямые каналы эти, как рассказывал Том, прорывали в самое захолустье, чтобы доставить столь желанную воду на самые отдаленные фермы. Джек, спаситель Нигерии, повелитель вод, строитель мостов.

— Да, — сказал отец Гонт. — Думаю, все это можно поправить. Уверен, что можно. У всех же

есть голова на плечах.

Я вдруг с легким трепетом представила свою голову вместо безжалостно остриженной головы отца Гонта или головы Джека под элегантной шляпой, но видение мое тотчас же рассеялось в парящих пылинках солнечного света, который пронзал комнату.

— Я люблю своего мужа, — произнесла я так внезапно, что сама чуть не вздрогнула от неожиданности.

До сих пор не пойму, с чего бы мне тогда говорить такое этим двум вестникам будущего. Я и представить не могла, на кого бы эта фраза могла подействовать еще меньше. То же самое, что пожимать руки двум несчастным солдатам, которым приказано меня расстрелять. Вот что я почувствовала, едва эти слова вырвались наружу.

— Ну что же, — почти с охотой подхватил отец Гонт, раз уж я сама коснулась этой темы, — теперь это все в прошлом.

Я отозвалась только какими-то всхлипами, набором гласных и согласных звуков, потому что мозг не понимал, какие слова выбрать, но наконец он выудил одно слово:

— Что?

— Мне понадобится некоторое время, чтобы понять масштабы этой проблемы, — сказал отец Гонт. — А до тех пор, Розанна, я бы хотел, чтобы ты оставалась тут, в этом доме, и когда я доведу это дело до конца, то смогу куда подробнее разъяснить тебе твое положение и предпринять некоторые шаги касательно твоего будущего.

— Том передал дело в руки отца Гонта, Розанна, — сказал Джек. — Он имеет право говорить от его лица.

— Да, — подтвердил отец Гонт. — Это так.

— Я хочу быть с мужем, — сказала я, потому что это было правдой и еще потому, что я только это и могла выговорить спокойно. Затмевая собой бескрайнее горе, во мне росло новое чувство — гнева, ненасытного дикого гнева, будто бы волк заворочался под овечьей шкурой.

— Раньше надо было об этом думать, — тон отца Гонта был таким же сухим, как и его слова. — Замужняя женщина…

Но тут он умолк. Или не знал, что говорить дальше, или знал, но решил промолчать, или ему не хотелось ничего говорить, или он не мог заставить себя произнести что-нибудь. Джек даже прочистил горло, как во время киносеанса в «Карнавале», и тряхнул головой так, будто у него

волосы были мокрые. Отец Гонт вдруг внезапно смутился — страшно, мучительно, как и той ночью, когда тело Вилли Лавелла лежало — так неприкрыто, так мертво — в часовенке отца. Кажется, я догадывалась, о чем думал отец Гонт. Во второй раз он из-за меня оказался в ситуации, которая вызвала у него — что? Недовольство, негодование. Негодование и недовольство самой женской природой? Кто знает. Но вот я уже глядела на него с внезапным презрением. Будь мой взгляд пламенем, отца Гонта испепелило бы на месте. Я понимала его власть, которая сейчас была безграничной, и еще казалось, что именно сейчас я поняла самую его суть. Мелкую, до самых краев, куда ни глянь — на север, запад, юг или восток, — заполненную самоуверенностью и еще — смертоносную.

— Что же, — сказал отец Гонт, — думаю, Джек, тут мы закончили. Розанна, тебе надлежит остаться тут, каждую неделю забирать из лавки продукты и довольствоваться только собственным обществом. Кроме себя самой, бояться тебе некого.

Я все стояла на одном месте. Рада заметить, что тогда — захваченная врасплох, безо всякой надежды на подмогу — я ощущала, как во мне

вздымается лютая, темная ярость, накатывает волнами, будто море, и чувство это было до странного утешительным. Лицо мое, наверное, отразило лишь малую тень этого чувства, как это вечно бывает с лицами.

Двое мужчин в темных костюмах вышли на солнечный свет. Темные костюмы, темные плащи, темные шляпы тянутся стать светлее в потоке прибрежной лазури, золота и зелени.

Ярость, темная ярость так и остается во тьме.

* * *

Но одинокая разъяренная женщина в жестяной хижине — величина невеликая, как я уже сказала.

Настоящим утешением служит то, что история мира вмещает в себя столько горя, что оно вытесняет все мои мелкие беды и они лишь тлеют угольками по краям костра. Я повторяю это снова и снова, потому что хочу, чтобы это оказалось правдой.

Хотя разум одного человека, дойдя до наивысшей точки страдания, кажется, охватывает собой весь мир. Но это иллюзия.

Я своими собственными глазами видела беды пострашнее тех, что выпали на мою долю. Свои-

ми собственными глазами. И несмотря на это, той ночью в хибарке, я в одиночестве, в бездонной ярости все кричала и кричала так, будто была единственным болящим существом на всем белом свете, вне всякого сомнения вызывая ужас и беспокойство у каждого прохожего. Я кричала и вопила. Я колотила себя в грудь, пока синяки не выступили, так что наутро казалось, что на груди у меня карта ада, карта богом забытого места или что слова Джека Макналти и отца Гонта и впрямь обожгли меня.

И какой бы ни была моя жизнь до того дня, после него началась совсем другая.

И это святая правда.

Часть третья

Глава восемнадцатая

Бездонная ярость. Без дна. Не оттого ли мне так трудно, что воспоминания мои и мои фантазии глубоко запрятаны в одном и том же месте? Или они громоздятся друг на друге, будто слои песка и ракушек в куске известняка, что слились в единое целое, и мне нелегко отличить одно от другого, разве что вглядеться, вглядеться как следует?

Потому-то я так и боюсь разговаривать с доктором Греном, чтобы не поведать ему одни лишь фантазии.

Фантазии. Какое милое слово для трагедий и безумств.

* * *

На годы, на многие годы они оставили меня, потому что годы требовались для того, чтобы уладить то, что они там пытались уладить — Джек и отец Гонт, и, несомненно, множество других людей, — ради спасения Тома Макналти. Сколько прошло — шесть лет, семь, может, восемь? Нет, не припомню.

Написав эти слова пару минут назад, я отло-

жила ручку и закрыла лицо руками, пытаясь нащупать самое дно этих лет. Трудно, как трудно… Что правда, что неправда? Каким путем я пошла, с какого пути свернула? Тонкий лед, зыбкая почва. Исповедуясь перед Богом, я думаю, надо говорить правду, одну правду. Это не перед людьми ужом вертеться. Господь будет знать всю правду, еще до того, как я запишу ее, так что легко сможет поймать меня на вранье. Нужно тщательно отделить одно от другого. Если осталась у меня еще душа — хотя, может, и нет ее уже, — то ее спасение зависит от этого. Ведь может такое быть, что в особо тяжелых случаях души аннулируют, списывают их в какой-нибудь небесной конторе. Приходишь к небесным вратам, и не успел Святой Петр и слова сказать, а ты уже понимаешь, что не по адресу.

Но все так темно, так трудно. И я напугана только потому, что не знаю, как мне продолжить. Придется тебе, Розанна, сейчас перепрыгнуть пару канав. Придется тебе отыскать в своем дряхлом теле силы для прыжка.

* * *

Ведь могло быть и так, что я провела все эти годы в своей хибарке без единого события — заби-

рала продукты из лавки каждую неделю, ни с кем и словом не перемолвилась? Кажется, так оно и было. Я пытаюсь быть точной. Говорю, событий не было, и в то же время я знала, что в Европе началась война, совсем как тогда, когда я была маленькой. Только теперь я не видела ни одного солдатского мундира. Моя хибарка была будто центр огромного циферблата: вот в Страндхилле меняются времена года, вот субботним вечером мимо с ревом проносятся машины, дети с ведерками, скворцы всю зиму, гора то темнеет, то светлеет, вереск, как снегом, усыпан крохотными цветочками — такое утешение, и я сама пытаюсь растить розы у крыльца, ухаживаю за ними, подрезаю к зиме, жду весеннего цвета и день за днем наблюдаю, как крепнет год и набухают их бутоны — кажется, это был сорт «Сувенир де Сент-Анна», выведенный в Дублине из той знаменитой розы, что Жозефина вывела в память о любви к ней Наполеона — «Сувенир де Мальмезон».

А теперь, дорогой читатель, я на мгновение нареку тебя Богом — Боже, милый, милый Боже, я пытаюсь все припомнить. Прости, прости меня, если я что-то вспомню неправильно.

А ведь лучше мне вспомнить все, как оно было, чем так, чтобы обернуть все в свою пользу. Для

меня это недозволенная роскошь.

* * *

Когда отец Гонт наконец вернулся, вернулся он один. В каком-то смысле священники ведь всегда одни. Место подле него всегда пусто. Вдруг показалось, что он постарел и выглядит уже не такой важной фигурой, и еще волосы у него на висках начали редеть, они отхлынули назад — и прилива уже никогда не будет.

Лето было в самом разгаре, и ему, похоже, жарковато пришлось в шерстяном костюме. Одежду он заказывал в Дублине, из лавки на Мальборо-стрит, торговавшей церковным облачением — теперь уж и не упомню, откуда я это знала. Наряд его выглядел новым и до странного щегольским: такую сутану и женщина в случае чего могла надеть на бал — ну, разве что покороче и другого цвета. Я возилась с розами, когда он открыл калитку, удивив меня, даже перепугав до смерти, потому что вот уже много-много времени одна я и звякала задвижкой, выбираясь по ночам в дюны, чтобы пройтись по топкой земле, которая теперь, после нескольких относительно жарких недель, была сухой и пружинила у меня под ногами. По-моему, тогда я выглядела пристойно — не

то что потом, — волосы я подравнивала, глядясь в зеркальце, перед которым раньше брился Том, да и платье на мне было чистое, приятно жесткое, каким становится хлопок, когда сушишь его на кусте.

В руке у него был маленький кожаный чемоданчик, кое-где потертый и поцарапанный после долгих лет усердной службы. Вот уж правда, человек этот мог сойти за старого друга, ведь я так долго знала его, так долго с ним общалась. И уж он точно мог написать весьма откровенную историю моей жизни, раз уж ему довелось стать свидетелем некоторых ее занятных моментов.

— Розанна, — начал он тем же тоном, каким говорил со мной все эти годы, как будто это было всего лишь продолжением наших с ним бесед. И никаких тебе здравствуй-как поживаешь, никаких заминок. Вообще он держался как врач, который вот-вот сообщит тебе что-то серьезное, не то что дружеская осторожность доктора Грена, когда он в очередной раз аккуратно пытается пробиться к моим «секретам».

Можно ли сказать, что я испытывала к нему неприязнь? Нет, не думаю. Но и понять его я не могла. Что дарило ему радость в жизни, что его поддерживало? Правда, на розы мои он взглянул,

поднимаясь по ступенькам в темную хибарку.

Я обтерла пальцы о деревянный порог, так, чтоб хотя бы сок зеленый сошел, и пошла за ним.

Не было ли то невероятной покорностью — остаться в этом доме, как он повелел? Стыдно, но я почти готова думать, что так оно и было. Быть может, мне следовало наброситься на него тогда, вцепиться ему в горло и в горло Джеку, вонзить зубы в его выпирающий кадык и вырвать этот его голос? Обругать их, накричать на них? Но что бы это дало? Только ярость, бесполезная ярость рассыпалась бы в белую пыль страндхилльской дороги.

— Мне нечем угостить вас, отец, — сказала я. — Могу только развести в стакане бичемовского порошка.

— С чего бы мне пить желудочный порошок, Розанна?

— Ну, на пакетике написано, что это освежающий летний напиток. Потому я его и купила.

— Это для тех, кто позволил себе лишнего, — сказал он. — Но спасибо.

— Пожалуйста, отец.

Тут он уселся ровно на то место, где сидел и в прошлый раз, да и мне казалось, что двигать куда-то стул было совершенно незачем. Солнеч-

ный свет проследовал за нами в комнату и улегся вокруг пыльными мерами.

— Дела твои идут неплохо, как я погляжу, — сказал он.

— Да.

— Конечно, за тобой приглядывали мои шпионы, — в его голосе не было ни тени стыда. Шпионы.

— Вот как, — сказала я. — А я их не заметила.

— Естественно, — ответил он.

Тут он раскрыл чемоданчик, лежавший у него на коленях, — поднятая крышка скрывала его содержимое. Из чемоданчика он вытащил аккуратную чистенькую стопку бумаг, на самой верхней я углядела какой-то внушительный герб или печать.

— Мне удалось, — сказал он, — освободить Тома.

— То есть? — спросила я.

— Если бы несколько лет тому назад ты последовала моему совету, Розанна, и обратилась бы к истинной религии, если бы вела себя благопристойно, как и подобает жене католика, то теперь этих трудностей не возникло бы. Однако я готов признать, что виновата ты лишь отчасти. Ведь нимфомания — это по сути своей помешатель-

ство. Это, конечно, можно назвать заболеванием, но по большей части это помешательство, вызванное определенными физическими причинами. В Риме согласились с подобной оценкой, и, по правде сказать, в комитете, который рассматривает подобные случаи — по счастью они довольно редки, — с этим не только согласились, но и выдвинули сходные предположения. А посему можешь быть уверена в том, что твоим делом занимались беспристрастные и хорошо осведомленные лица, которые подошли к нему честно и старательно, не имея каких-либо дурных намерений.

Я поглядела на него. Опрятный, черный, чистый, чужой. Один человек в берлоге другого человека. Говорит серьезно, взвешенно, легко. Никаких следов волнения, триумфа — ничего, кроме обычного осторожного, сдержанного тона.

— Я не понимаю, — сказала я, хотя, кажется, все поняла.

— Твой брак аннулирован, Розанна.

Поскольку я не вымолвила ни слова, он где-то через полминуты добавил:

— Этого брака никогда не было. Его не существует. Том волен жениться на ком угодно, как если бы он никогда не был женат. Впрочем, по-

вторяю, он и не был.

— И вот чем вы занимались все эти годы?

— Да, да, — отозвался он с легким нетерпением. — Это огромное и сложное предприятие. Подобное разрешение не так-то просто получить. В Риме все тщательно, тщательно обдумали — так же как и мой епископ, разумеется. Они все взвесили, все измерили: и мой собственный отчет, и слова Тома, и старшей миссис Макналти, которой по работе доводилось неоднократно сталкиваться с женскими проблемами. Джек, конечно, сейчас воюет в Индии, иначе он тоже бы смог внести свой вклад в это дело. Суд очень осторожно подошел к принятию решения. Белых пятен не осталось.

Я по-прежнему не сводила с него взгляда.

— Можешь быть уверена — с тобой поступили по всей справедливости.

— Я хочу, чтобы сюда пришел мой муж.

— У тебя нет мужа, Розанна. Ты не состоишь в браке.

— Я разведена?

— Это не развод! — вдруг вспыхнул он, будто бы само это слово осквернило мне рот. — В католической церкви разводов не бывает. Этого брака никогда не было. Причина тому — помеша-

тельство одной из сторон на момент заключения брачного договора.

— Помешательство?

— Да.

— И отчего вы так думаете? — спросила я после паузы, говоря с большим трудом — слова у меня во рту были неуклюжими, неповоротливыми.

— Мы не верим в то, что твоя распущенность свелась лишь к одному проступку — проступку, которому, как ты сама помнишь, я был свидетелем. Невозможно, чтобы проступок этот не имел под собой никаких прошлых отношений, особенно если припомнить твое собственное прошлое, не говоря уже о состоянии твоей матери, которое, судя по всему, передалось тебе по наследству. На стебле безумия, Розанна, могут распускаться самые разные цветы. Побеги безумия, пущенные из одного корня, могут вытянуться в разные растения. В случае твоей матери — это глубокий уход в себя, в твоем — тяжелая, хроническая нимфомания.

— Я не понимаю, что это слово означает.

— Оно означает, — сказал он, и да, теперь у него в глазах промелькнул страх, потому что он уже раз употребил это слово и думал, что я его поняла. Но он знал, что я говорю правду, и вдруг внезапно

перепугался, — оно означает помешательство, которое проявляется в желании иметь беспорядочные отношения с другими людьми.

— Что? — переспросила я.

Объяснение было таким же темным, как и само слово.

— Ты знаешь, что это такое.

— Не знаю, — сказала я, потому что не знала.

Последние слова я прокричала — в ответ на его же крик. Он поспешно сунул бумаги обратно в чемоданчик, хлопнул крышкой и вскочил с места. Отчего-то я вдруг заметила, какие у него начищенные ботинки, с небольшой каемкой придорожной пыли, которая появилась, когда он, конечно, с явной неохотой вылез из машины и направился к моему дому.

— Больше я ничего объяснять не стану, — его чуть ли не распирало от гнева и раздражения. — Я попытался доходчиво объяснить тебе твое положение. Думаю, мне это удалось. Тебе ясно, в каком положении ты находишься?

— Что это было за слово? — закричала я.

— Отношения! — прокричал он в ответ. — Отношения! Соитие, половое соитие!

— Но, — произнесла я, и, видит Бог, то была правда, — у меня никогда не было отношений ни

с кем, кроме Тома.

— Разумеется, можешь прикрываться мерзкой ложью, как пожелаешь.

— Спросите Джона Лавелла. Он не будет врать.

— А ты не следишь за судьбой своих дружков, — сказал он с заметной издевкой. — Джон Лавелл умер.

— Как это — умер?

— Он вернулся в ряды ИРА, думая, что эта немецкая война нас ослабит, застрелил полицейского, за что и был справедливо вздернут. Ирландское правительство специально для этого выписало самого Альберта Пьерпойнта из Англии, так что уж будь уверена — работа была выполнена на совесть.

Ох, Джон, Джон, глупый Джон Лавелл. Упокой и прости Господь его душу. Признаюсь, я часто гадала, что с ним сталось, куда он делся, чем занимается. Вернулся ли он в Америку? Стал ли ковбоем, грабителем поездов, Джесси Джеймсом? А он застрелил полицейского. Ирландского полицейского в ирландском государстве. Ужасное деяние. И все же он оказал мне великую милость, убравшись подальше, не преследуя меня, хоть я того опасалась, — он держался на расстоянии и ни разу не побеспокоил меня, без сомнения

понимая, в какую беду он втянул меня тогда, на Нокнари. Так он пообещал мне и слово свое сдержал. После того как священники ушли, он схватил меня за руку и пообещал мне это. Он с честью выполнил свое обещание. Честь. Не думаю, что мужчина, стоявший передо мной, вообще знал, что это такое.

Отец Гонт хотел обойти меня, чтобы выйти на улицу через узенькую дверь. На мгновение я преградила ему путь. Преградила путь. Знаю, что захоти я — и у меня хватило бы сил убить его, тогда я это почувствовала. Я знала, что могу схватить что-нибудь — стул, да что под руку попадется, и обрушить ему на голову. И это было тоже правдой, такой же правдой, как и то, что я ему сказала. Я бы — если не с легкостью, то уж точно с радостью, со всей душой, с яростью, с изяществом — убила бы его. Не знаю, почему я этого не сделала.

— Ты угрожаешь мне, Розанна. Отойди от двери, будь добра.

— Добра? И это говорите вы?

— Это всего лишь выражение, — сказал он.

Но я отошла от двери. Я понимала, понимала, что любая нормальная приличная жизнь для меня окончилась. Слово такого человека все равно

что смертный приговор. Я всей кожей чувствовала, как меня обсуждает весь Страндхилл, весь Слайго перешептывается за моей спиной. Я и так давно это знала, но одно дело — знать свой приговор, и другое — услышать, как его произносит судья. Быть может, они все придут сюда и спалят меня в моей хибарке как ведьму. И вернее всего было то, что никто мне не поможет, никто не встанет на мою защиту.

Отец Гонт аккуратно убрался из мерзкого дома. Падшая женщина. Безумная женщина. Мой Том, мой прекрасный Том получил свободу. А что получила я?

Записи доктора Грена

Вчера вечером в доме было снова совершенно тихо. Будто бы ей, после того последнего звонка, больше не надо звать меня. Мысль эта заставила меня сменить страх на совершенно иное чувство. На что-то вроде гордости за то, что любовь во мне все-таки была, хоть и погребенная во внутреннем хаосе. И что, быть может, у нее эта любовь была тоже. Я снова прислушался, но не в страхе, а скорее в безрадостном томлении. Зная при этом, что мне никто ничего не ответит и ничего не спросит. Странное состояние. Наверное, это

счастье. Длилось оно недолго, но я, словно сломленному пациенту, терзаемому горем, велел себе отметить это счастье, запомнить его, поверить в него изо всех сил, когда тьма снова навалится на меня. Трудно очень быть героем без зрителей, хотя в каком-то смысле все мы герои занятного, наполовину провального фильма под названием жизнь. Нет, боюсь, это замечание не выдерживает никакой критики.

Что там говорится в Библии про ангела, который живет в каждом из нас? Или что-то в этом роде. Никак не припомню. Думаю, что ангел этот — та незапятнанность, что есть в нас, — вот он является большим знатоком счастья. Уж ему захочется им стать, ведь он немного его отведал. И все же… Хватит.

Ангелы. Для психиатра это печальный предмет. Но я уже стар и отведал горя, которое, как мне казалось поначалу, убьет меня, освежует, вздернет, так что — хотя бы в личных записях — почему бы и не поговорить о них? Я смертельно устал мыслить рационально. Что это за существо получается? Небесный педант?

Я снова принялся перечитывать отчет отца Гонта. Интересно, остались ли еще на свете такие всезнающие, суровые и совершенно беспощад-

ные священники? Наверное, остались, но, как и прежде, стараются не слишком этого показывать. Быть может, потому что происхождение де Валеры было столь неясным и загадочным, он находил особенное утешение в несгибаемости церковников.

Конечно, он закрепил их права в своей конституции, но верно и то, что он отказал тогдашнему архиепископу в самой значимой его просьбе — сделать католическую религию государственной. Слава богу, до этого он не дошел, хотя и зашел достаточно далеко, возможно, куда дальше, чем следовало бы. Он был вождем, который боролся с ангелами и бесами — иногда в одном и том же теле. Во время войны за независимость он состоял в ИРА, которую в те годы представляли противники Договора, и после гражданской войны даже попал в тюрьму, но, придя к власти в тридцатых, он обнаружил, что все силы надо бросить на подавление своих бывших соратников, которые для ровного счета отринули и Договор, и его самого.

Должно быть, он страшно горевал, не спал ночами — как и любой бы на его месте. Отец Гонт описывает также судьбу некоего Джона Лавелла, фигурировавшего в истории Розанны, которого безо всякого снисхождения повесили

в самом начале Второй мировой. Остальных его товарищей высекли плетьми, а я и не знал, что порка была узаконена в Ирландии, не говоря уже о повешении. Отец Гонт пишет о тридцати шести ударах плетью, но это уже как-то чересчур сурово. Но для де Валеры это, наверное, было как вешать и пороть собственных сыновей или сыновей и наследников тех, с кем прошла его молодость. И от этого что-то еще в нем надломилось. Чудо, что страна вообще оправилась от тех ранних бед и потрясений, и де Валеру, которому пришлось столкнуться с этими необходимыми ужасами, остается только пожалеть.

Возможно, где-то здесь и кроется причина необычайной преступности последнего поколения ирландских чиновников, не говоря уже о том, сколько священников прошлись по невинности наших детей плугом и бороной растления. Абсолютная власть таких людей, как отец Гонт, ведет к абсолютной развращенности, так же как день ведет к ночи. У меня возникла недостойная мысль о том, что, быть может, де Валера так страстно стремился избежать участия во Второй мировой вовсе не потому, что опасался внутреннего врага, опасался расколоть надвое юную страну, а потому, что это, по сути, стало дальнейшей попыткой

выхолостить всякую сексуальность. Что-то вроде распространения намерений церкви. И, если эта мысль не слишком примитивна и очевидна, тогда это было направлено на мужскую сексуальность.

Я так устал, что даже не знаю — не банально ли все, что я тут написал. Позже вырву, если что.

Этот Лавелл, хоть и много лет назад мог сидеть в одной тюрьме с Девом, а позже был повешен у него на глазах, ангелом, как говорится, все же не был. По словам отца Гонта, он привел пойманного им полицейского на взгорье, начинавшееся сразу за Слайго, надел ему мешок на голову и приставил пистолет к виску. И затем снова и снова крутил барабан и взводил курок. Надо думать, несчастный гарда[57] вскоре был вне себя от ужаса. Лавелл пытался выпытать у него, когда в казармы приносили жалованье, потому что хотел украсть у полицейских само их содержание. Довольно мудреный преступный замысел, как мне кажется. Но гарда то ли был слишком смел, то ли ничего не знал, поэтому не хотел или не мог дать ему никакого ответа. Лавелл все щелкал курком. Несколько его сообщников похитили жену

[57] Примечания: 57

Название служащих в ирландской полиции Гарда (*An Garda Siochana*) — «Гвардии мира».

и дочь гарды, и держали их в заброшенном доме в Слайго, и Лавелл грозил ему, что их убьют, если он будет молчать. Но по правде сказать, бедняга вряд ли что-то знал. В конце концов Лавелл застрелил его. Информация об этом преступлении выплыла наружу, потому что один из его подельников стал свидетелем обвинения и отделался вышеупомянутой поркой. Но тут началась война, и де Валера очень боялся того, что ИРА вновь наберет силу, так как знал — связь с немцами у них уже налажена. А у Дева нейтралитет был второй религией, которую он защищал до последнего. И потому он никак не мог пощадить Лавелла. И, честно говоря, невелика была потеря.

Пишу это все так, будто бы я какой-нибудь монах, что сидит себе в каменной хижине на Скеллиге. Конечно, это не так. Думаю, нужно признать, что для нынешних грехов все мы одинаковы. И гражданская война — это зло, которого каждому выпадает поровну.

Хотя не было ничего такого в моем обучении, что вообще позволяло бы мне рассуждать о грехах.

Думаю, все, что отец Гонт пишет в этом отчете, — это своего рода титаническое цицероново усилие, цель которого впутать — хотя нет, это не

совсем верное слово — скорее вплести Розанну в это узловатое полотно, заловить ее туда. И на это отец Гонт чернил не пожалел. Это поистине примечательный документ, иерейский, подробный, убедительный. Он, как лесной пожар, уничтожил все ее следы, прошелся по ее истории и обратил все в пепел и золу. Крошечная, безвестная, позабытая Хиросима. Во всем документе ощущается какое-то беспокойство, которое иногда прорывается избыточными и, я бы даже сказал, неожиданными подробностями. Отец Гонт будто под микроскопом анализирует сексуальность Розанны. Необычайно странно, конечно, читать такое про ту Розанну из прошлого, когда женщина с этим именем уже достигла столетнего возраста и находится под моим наблюдением. Уж и не знаю, большая ли честь — получить доступ к такой информации. Иногда это чтение — какое-то очень вуайеристическое, морально сомнительное занятие. Отчасти потому, что мораль самого отца Гонта очень старомодного сорта. Каждый взмах его пера выдает густую ненависть если не к женщинам, то к их сексуальности или сексуальности в целом. Для него это бесовские рога и копыта, в то время как для меня — это спасительный дар жизни. Я не противник Зигмунда Фрейда. И еще

кристально ясно то, что протестантизм Розанны для отца Гонта — очевидное, хрестоматийное зло. Он безмерно разгневан из-за отказа Розанны перейти в католичество по его приказу — еще до того, как она вышла за своего мужа-католика, не переменив веры и тогда. Для отца Гонта это было по-настоящему противоестественно.

Поэтому он с самого начала твердо верит в то, что она, если и не зло во плоти, то особа упрямая, сложная, непонятная, быть может. Даже не стараясь сделать вид, что понимает ее, он, тем не менее, утверждает, что ему известна вся ее подноготная. Она позволяла всему городу себя разглядывать, выставляла напоказ свою красоту, просто потому, нужно заметить, что была красива. Такое впечатление, будто она, совратив все мужское население Слайго и поймав в свои сети Тома Макналти, этого подающего надежды гражданина новой страны, вдруг опустилась до дикаря вроде Джона Лавелла, которого отец Гонт называет «варваром из самого глухого уголка Майо».

И вот, учинив такое и немедленно получив предложение помощи от отца Гонта, она эту помощь отвергает. Так и чувствуешь, как его гнев вспыхивает с новой силой. Гнев. Ей велено

оставаться в Страндхилле, в развалюхе с железными стенами, где она снова будто магнитом притягивает к себе похоть всего Слайго. Ужаснее всего то, что стараниями отца Гонта ее брак в Риме признали недействительным, после чего Розанна таинственным образом забеременела и родила ребенка. Родила ребенка, пишет отец Гонт и добавляет к этому лишь три слова с присущей ему жесткостью: «И убила его».

Если бы много лет назад я прочел эти слова, подкрепленные к тому же авторитетом священника, то мне и самому бы ничего не оставалось, кроме как упечь ее в психушку.

Глава девятнадцатая

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Джон Кейн с каждым днем становится все загадочнее. Теперь он и вовсе перестал разговаривать, однако же сегодня утром выдал нечто, что я сочла улыбкой. Это, конечно, было довольно странное, одностороннее движение. Кажется, левая сторона лица у него немного обвисла. Уходя, он снова ухитрился со звонким щелчком наступить на расшатанную половицу. Не пытается ли он намекнуть, что знает — там что-то спрятано? Но, если и знает, ему это не кажется достаточно ценным или у него нет привычки заглядывать под половицы. Стоя у окна и наблюдая за ним, я все пыталась припомнить, сколько же лет я его знаю. Кажется, что моя память о нем тянется еще из простывшего пепла моего детства, хотя это, конечно, не так. Но все равно уже очень-очень долго. И надо сказать, что уже лет тридцать, как он носит все один и тот же денимовый халат. Он хорошо сочетается с моим ветхим гардеробом. Подойдя к окну, я устыдилась своей ночной сорочки — до того стало заметно, как она вся спереди

заляпана и забрызгана. Первым моим порывом было отойти, но раз уж я забралась так далеко от кровати, то не решилась снова отступать. Мне хотелось расспросить его о том, как там снаружи обстоят дела с весной, если уж он показал себя таким ботаником — ну или какого ботаника, кроме него, я тут еще могу найти. Белый, желтый, голубой — такой порядок. Подснежники, нарциссы, колокольчики, и едва распускаются нарциссы, как начинают отцветать подснежники. Интересно, почему это так. Интересно, почему все так.

Тут подле окна голова у меня закружилась, а в руках и ногах возник какой-то крен, будто самые мои конечности решили сложиться пополам. Я подняла руки и попыталась опереться о стену. Джон Кейн, надо отдать ему должное, еще не успел выйти в коридор, вернулся и помог мне дойти до кровати, хотя это и не его работа. Действовал он довольно аккуратно и все улыбался. Я взглянула ему в лицо. У него на лице волосы растут, но бородой это не назовешь, они скорее будто островки вереска на болотах. Глаза у него отчетливо голубые. И тут я поняла, что он вовсе не улыбается, просто рот у него как будто заело, и он не может особо двигать губами. Мне захотелось спросить его об этом, но я побоялась смутить или

огорчить его. Глупо, наверное, с моей стороны.

Вскоре после «визита» отца Гонта, хрусткой лунной ночью я бродила по дальним дюнам Страндхилла. С тех пор как он побывал у меня, я чувствовала себя в хибарке как под арестом, как будто он так никуда и не ушел. Каждый день я с превеликим нетерпением ждала темноты, которая по крайней мере дарила мне просторы дюн и болот.

У меня не было никакого желания кого-либо видеть или с кем-либо общаться. Иногда, во время таких прогулок с головой у меня становилось до того чудно, что я опрометью неслась домой, едва мне казалось, будто я вижу какого-то человека. И впрямь иногда мне мерещилось, что я на самом деле вижу людей, которых там вовсе не было — тростник со мной какую шутку сыграет, птица вспорхнет с болота, — и в особенности меня «преследовала» фигура человека, который иногда появлялся, как будто появлялся всегда вдалеке, одетый во что-то вроде темного костюма и вроде как в коричневой шляпе, но несколько раз, стоило мне набраться храбрости и пойти ему навстречу, как он тотчас же исчезал. Но в те дни такое случалось сплошь и рядом.

Одну ночь я особенно запомнила, потому что

мне довелось увидеть, наверное, самую необычную вещь в своей жизни, а уж кое-что необычное мне в жизни пришлось повидать.

Мне нужно быть очень осторожной с этими «воспоминаниями», я ведь понимаю прекрасно — кое-каких сцен из того беспокойного времени, что так живо встают у меня в памяти, попросту быть не могло. Но та ночь, уж какой бы невероятной она ни казалась, а все же, думаю я, не из их числа.

Судить, насколько велик был мой позор, можно было по тому, что я не стала, как любила бывало, карабкаться на песчаный холм (хоть тут и всегда был риск натолкнуться, а точнее — споткнуться о влюбленные парочки), а вместо этого дошла до конца всего, где в море проливалась глубокая узенькая речушка и днем столовались чайки.

Я стояла на песке. Прилив схлынул, вокруг было безупречно тихо. Вдалеке, справа от Нокнари, какая-то извилистая тропинка забавлялась с огнями невидимого автомобиля — вот они исчезнут, вот вновь появятся. Но никаких звуков до меня не доносилось, я была слишком далеко.

Ветра не было, небо было огромным, эмалево-синим от лунного света. Несложно было представить, что одно-единственное человеческое

существо занимало тут самое незначительное место. Море убегало вдаль, акр за акром укрытой, сонной воды.

И вдруг откуда-то — еле слышное рычанье. Я даже оглянулась, думая, вдруг какой бешеный пес забрел на пляж. Но нет, звук раздавался откуда-то очень издалека, по правую сторону. Я взглянула туда, через весь пустой берег, до самых огоньков прибрежных домов, что стояли футах в двухстах от меня. И тут я увидела, как линия горизонта — наполовину суша, наполовину море — стала пронзительно желтой.

Я подумала, что Господь явился, чтобы, как и отец Гонт, отречься от меня. Не знаю, с чего я это взяла, разве что и впрямь чувствовала себя такой виноватой.

Тоненькая мерцающая линия все ширилась и ширилась. И шум все нарастал, а я босыми ногами ощущала, как дрожит песок, дрожит внизу, глубоко подо мной, будто что-то подымается из самых недр земли. Свет разросся, расширился, затем взревел, все сгущаясь и сгущаясь, пока не стал похож на край чудовищного ковра-самолета, а шум превратился в грохот огромного водопада, и я глядела наверх, и вправду как помешанная — и уж точно чувствовала себя безумной, что твой

шляпник, а шум и огни становились все гуще и гуще, больше и больше, и вот я уже различала отдельные круглые брюшки, и металлические носы, и гигантские вертушки — самолетов, десятков самолетов, даже, может быть, сотен, которые в лунном свете все были будто звери какие-то, но чудные, с маленькими прорезями окошек спереди, и, наверное, во мне и впрямь говорило безумие, потому что мне казалось, что я различаю крошечные головы и лица, и все они, как говорится, шли клином — мрачно, гибельно, будто неся с собой конец света.

И оттого, что все самолеты летели вместе, шум их вырос до истинно библейских размеров, чего-то из Книги Откровения, и небо над моей головой полнилось ими — их металлом, светом, ревом, они так и хлынули на меня, летя над морем так низко, что мощь их двигателей втягивала воду, рвала воду на лоскуты, которые падали обратно со змеиным свистом. И я чувствовала, как эти самолеты вцепились в меня, вцепились в сам берег, пытаясь сдернуть нас с наших мест, выдернуть мозги у меня из черепа, глаза — из глазниц. И они все лились и лились на меня сверху, ряд за рядом, сколько их было там — пятьдесят, сто, сто пятьдесят? — минута за минутой они все

лились на меня, а затем стали удаляться, оставив в небе после себя будто огромный вакуум, оставив тишину, которая ранила чуть ли не сильнее их грохота, словно эти таинственные самолеты высосали весь кислород из неба над Слайго. И улетели дальше, расшатав и разбив все побережье Ирландии.

* * *

Несколько дней спустя я возилась с розами у крыльца. При всех моих бедах занятие это приносило мне капельку утешения. Но ведь ясно, что эти потуги на садовничество, даже столь случайные и хаотичные, как мои, всего лишь попытка притянуть к земле небесные цвета и ценности. День выдался холодным, и мои голые руки покрылись гусиной кожей. От самого присутствия роз, еще невидимых, спеленутых так плотно и тайно в зеленых бутонах, у меня голова чуть ли не шла кругом.

Услышав, что кто-то идет по дороге, я оглянулась. Идет или едет — судя по звукам, там мог плестись и старый осел. А я, хоть и так покойно мне было с моими розами, не желала, чтобы меня видели — ни люди, ни животные. Может, в этом году цветы будут другими — не расцветут совсем

в «Сент-Анну» или «Мальмезон», а потихоньку превратятся в «Сувенир де Слайго», память о Слайго.

Но то был не осел, то был человек, и очень странным он мне показался, потому что его коротко остриженные волосы курчавились, будто у негритянского джазмена, а костюм на нем был цвета пепла. Нет, это даже не костюм был, а что-то вроде форменной одежды. Даже лицо его казалось до странного сизым. И тут, к своему удивлению, я увидала, что это Джек. Конечно, потому и форма, ведь он же в Индии, сражается во имя короны, но если он в Индии, тогда что же он делает в Страндхилле, на этой ничейной земле?

И тут вдруг сделалось куда холоднее обычного холода изменчивого дня на ирландском побережье, и на гусиную кожу моих рук будто наросла еще одна гусиная кожа. Разве этот странный призрак не враг мне теперь?

— Джек? — все равно крикнула я, отбросив всякую осторожность. У меня мелькнула безумная мысль — вдруг он помочь мне пришел. Но что с ним такое случилось? Чем ближе он был, тем чуднее казался, и, если б это не было так неправдоподобно, то я бы даже сказала, его будто подпалили — точно, подпалили.

Мужчина остановился, может, удивившись, что я с ним заговорила. По правде сказать, выглядел он напуганным.

— Джек Макналти? — спросила я, будто это могло как-то помочь. Ведь знает же он, как его зовут. Теперь, уж точно, я растерялась не хуже него.

Он заговорил так, будто не открывал рта несколько дней, слова спотыкались о его губы.

— Что? — выговорил он. — Что, что?

Он был так искренне перепуган, что я спустилась к калитке и подошла к нему поближе. Мне показалось, что он вот-вот прянет дальше, и вправду как осел. Но я была всего-навсего маленькой женщиной в хлопковом платье.

— Вы ведь не Джек Макналти, верно? — спросила я. — Вы очень на него похожи.

— Кто вы? — спросил он и оглянулся назад, на море, будто опасаясь засады.

— Никто, — сказала я, имея в виду — никто, чтоб меня бояться. — Я Розанна, жена Тома — была его женой, наверное.

— А, я про вас слыхал, — сказал он, но без ожидаемого упрека в голосе. Внезапно показалось, будто он рад тому, что может поговорить со мной, рад, что повстречал меня. На мгновение он вскинул правую руку, словно хотел протянуть ее мне

для рукопожатия, но тотчас же ее опустил. — Да.

Мне так легко стало, так радостно, что он так говорит со мной, и мне захотелось сказать ему что-то шутливое, что-то приятное, рассказать ему обо всем, что случилось — даже всякие пустяки, про двух крыс, например, что вчера вечером пытались стянуть у меня яйцо, протащив его через дырку в стене, такую маленькую, что одна крыса прижимала яйцо к брюху, а вторая в это время пыталась ее в эту дыру протолкнуть! Чушь какая. Но это все дружелюбие, которое прозвучало в его голосе, простое, обычное дружелюбие, которого я так долго не слышала, даже не понимая, как мне его не хватало.

— Я Энус, — сказал он. — Брат Тома.

— Энус? — спросила я. — Что ты здесь делаешь?

— Я не то чтобы здесь, — ответил он. — Меня тут быть не должно, и скоро мне нужно будет уйти.

— А в чем это ты весь?

— В чем? — спросил он.

— Ты весь черный, — сказала я. — И серый, будто в пепле.

— Святая правда, — ответил он. — Я был в Белфасте. Знаешь, я во Францию возвращаюсь. Я солдат.

— Как Джек, — заметила я.

— Как Джек, только он офицер. Я был в Белфасте, Розанна, ждал своего корабля, спал в одной гостиничке, как вдруг взвыла пара их паршивых дряхлых сирен, и через несколько минут — бомбардировщики, их десятки, десятки, десятки, и они преспокойно сбрасывают бомбы, и ни одной нашей зенитки не слышно, а вокруг взрываются дома, улицы. И как я только выбрался оттуда, мчался по коридорам что твой черт, вопил, уж точно, яростно молясь за всех жителей Белфаста, и вскоре сотни людей высыпали на улицу, и все, как я — орут да молятся, люди в пижамах и нагишом, будто младенцы, бегут, кричат, и мы уж на окраине города, и все бежим, а самолеты волнами идут за нами, сбрасывают бомбы безо всякой жалости. И через час или около того я залез на самый верх огромной черной горы, оглянулся, а Белфаст — огромное огненное озеро, горит, полыхает, языки пламени прыгают, будто какие-то красные твари, тигры какие-то, допрыгивают до самого неба, и все, кто со мной бежал, тоже глядят туда и плачут, и звуки такие, будто плачет пророк Иеремия. Тут я вспомнил про библии, которые

обычно раздают в моряцких миссиях,[58] куда я до войны часто захаживал, скитаясь туда-сюда, — и те, кто записан в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное, и я дрожал, дрожал перед гневом Господним, только то был не Господь, то были немцы там, возле самых звезд, глядели на свою работу и, наверное, думали, что это хорошо, — глядели, как и мы.

Тут этот Энус умолк. Он дрожал снова. Ему было очень худо. Отсвет того огненного озера все еще полыхал у него в глазах.

— Зайди, — сказала я, — зайди на минутку, отдохни.

Не знаю, проснулся ли во мне материнский инстинкт или сестринский. Но вдруг меня накрыло огромной волной нежности к нему. Я подумала — мы ведь с ним чем-то схожи. Мир тоже отрекся от него, мир Слайго. И я бы не сказала, что он походил на преступника. Не сказала бы, что он похож на кровожадного полицейского из той стародавней истории, хотя тогда я той истории еще не знала. Вот ведь, вот же ведь, как мало я о нем знала, как редко братья говорили о нем — одними вздохами да многозначительными взглядами.

---

[58] Примечания: 58

Центры досуга моряков в портах, обычно организованные религиозными учреждениями.

— Нет, не могу, — сказал он. — Ты меня не знаешь. Такого гостя ты вряд ли захочешь в дом пустить. Еще попадешь в беду из-за меня. Тебе что, не говорили, что на мне смертный приговор? Мне нельзя быть здесь, в Слайго. Я ушел из Белфаста, прошел весь Иннишкиллен, и вот оказался здесь, как голубь, который против воли все равно летит домой.

— Входи, — сказала я, — и не беспокойся ни о чем. Я ведь тебе невестка все-таки. Входи.

И он вошел. Пока он шел, с него летели крошечные хлопья сажи. Он прошагал пешком весь путь из Белфаста, вернувшись в Слайго, будто голубь — будто лосось в устье Гарравога. Он показался мне самым печальным человеком на свете.

Я завела его в дом и показала, чтоб безо всяких церемоний снимал свою форму. Первым делом я принесла ему попить воды в чашке, на которую он совершил небольшую атаку, выпив воду так, будто ему нужно было затушить пожар внутри. У меня было старое жестяное корыто, мне пришлось пару раз сходить к колодцу, чтобы наполнить его доверху, пока на плите грелся чайник. Затем я не согрела, а только немного разбавила студеность воды кипятком. Все это время маленький серый мужчина стоял в длин-

ных кальсонах посреди комнаты, и я поразилась тому, каким чистым было его белье.

Он был узкокостный, ладно скроенный, никаких округлостей, как у Тома, нет, с ним и не сравнить.

— Пойду в кладовку, возьму сыра для сэндвича, — сказала я.

Ради приличия я оставила его одного и слышала, как он чуть запнулся, стягивая кальсоны, залез в корыто и принялся мыться. Уж, наверное, будучи солдатом, он привык мыться в холодной воде — я надеялась. Но, как бы там ни было, а он ни звука не издал. Когда я сочла, что прошло достаточно времени, то зашла обратно. Уж оттер он себя как следует, корыто пенилось серыми мыльными пузырями, а сам он опять стоял посреди комнаты и застегивал кальсоны. Теперь было видно, что волосы у него цвета ржавчины, хоть и обгорели до самого скальпа. Кожа у него была мечена солнцем дочерна, а руки были загрубевшие, толстопалые. Я ему кивнула, будто говоря: ну как, ты в порядке, а он кивнул в ответ: в порядке, мол. Я протянула ему толстый кусок хлеба с сыром, и он тихонько заглотил его, прямо не сходя с места.

— Ну что ж, — сказал он, улыбнувшись, — хоро-

шо, когда есть семья.

И я тоже рассмеялась:

— Уж я тебя понимаю, — говорю.

За окном начало смеркаться, и сова — мой старый товарищ — уже начинала прогревать мотор. А я теперь и не знала, что мне с ним делать. Вроде бы я его так хорошо знала — то есть лицо его знала и фигуру, — и в то же время я о нем не имела ни малейшего представления. Однако же никогда я еще не встречала такого мягкого и такого странного человека. Он стоял совершенно неподвижно, будто горная лань, которая застыла на месте, услышав, как хрустнула ветка.

— Спасибо тебе, — сказал он очень просто и очень искренне.

И так на меня это подействовало — то, что другой человек меня поблагодарил. Так на меня подействовало то, что другой человек заговорил со мной по-доброму и с уважением. И тут я тоже застыла на месте и глядела на него, чуть ли не потеряв дар речи.

— Давай-ка я выбью твою форму на улице, — сказала я, — а то иначе она не просохнет до завтра.

— Нет, — ответил он, — оставь как есть. Мне ее не полагается носить среди фристейтеров. Сойдет

и такая, вся перепачканная. Доберусь до Дублина и там уж попытаюсь отыскать свою часть. Сержант будет за меня беспокоиться.

— Будет, уж точно, — сказала я.

— Знаешь, я ведь хороший солдат, — сказал он.

— Хороший, уж точно, — сказала я.

— Я не дезертир какой-нибудь, — прибавил он зачем-то. А мне это и так было понятно.

— Знаешь, — продолжил он, — я ничего такого не имею в виду, ну, то есть я вот тут стою в одних кальсонах и тебя впервые в жизни вижу, но вообще я вернулся в Страндхилл потому, что у меня была тут девчонка, мы с ней сюда ходили — на танцы, конечно, — Вив ее звали, а потом ей наговорили про меня всякого, мол, не стоит со мной водиться, ну и с тех пор я ее не видел. Но мне охота было постоять на берегу, там, где мы с ней, бывало, стояли вместе и глядели на залив. Вот так все просто. А Вив была прехорошенькая, вот правда. И вот я хочу сказать, не имея в виду ничего такого, что красивее тебя я никого не видал на свете, красивее тебя и ее.

Ну что ж, очень милая у него речь вышла. И ничего такого он не имел в виду, разве что только и хотел правду сказать. Внезапно во мне вспыхнула даже какая-то гордость, которой я не чувствовала

уж очень давно. Этот мужчина, сам того не зная, говорил как мой отец, когда отец хотел сказать что-то важное.

Была в его словах какая-то чудная старинная пышность, будто бы слова эти взялись из книги, из той самой книги, что я до сих пор хранила и лелеяла, из старого сочинения Томаса Брауна *Religio Medici*. А ведь этот мальчишка жил в семнадцатом веке, так что я даже не знаю, как такое наречие добралось до Энуса Макналти.

— Я знаю, ты замужем, — сказал он, — а потому прости меня, и ты ведь замужем за моим братом.

— Нет, — ответила я ради самой правды и чтобы потом не передумать, — я не замужем. Или так мне сказали.

— Вот как? — спросил он.

— Нет, — повторила я. — Вот видишь, свой смертный приговор есть и у меня.

И вот он стоит там, и я стою там. Тогда я стала приближаться к нему, тихо-тихо, как мышка, чтобы не спугнуть ненароком, а потом взяла его загрубевшую руку и отвела его в соседнюю комнату, где сову было лучше слышно, а Нокнари лучше видно с убогой пуховой перины.

Потом, позже, мы лежали вдвоем, будто два каменных изваяния на надгробной плите, счаст-

ливые, как каждый миг из детства.

— Джек, кажется, говорил мне, что твой отец был в Торговом флоте, — сказал он спустя какое-то время.

— Да, был, — ответила я.

— Как и я, ну и как Джек тоже.

— Вот как?

— Вот так. А еще он говорил, что твой отец служил в старой полиции, верно?

— Это Джек так сказал? — спросила я.

— Да, кажется, он. Любопытно было услышать такое, ведь я и сам там служил. Что в конце концов мне вышло боком. Но тогда-то мы ни о чем не подозревали. Мы, парни Макналти, вроде как подписывались на серьезные дела. Джек вон сейчас в Королевских инженерах. И даже сам малыш Том отправился в Испанию вместе с этим Даффи, вон как.

— С О'Даффи. В Испанию? А я и не знала.

— Верно, с О'Даффи. А ведь я должен был его знать, ведь новую полицию потом он возглавил. Да, Том уехал, как мне сказали.

— И как там у него дела?

— Джек сказал, он вернулся через две недели. Не очень-то Джек верил в то, что Том бросится воевать за Франко. Нет. Ну и, как бы то ни было,

а Том вернулся. В полном возмущении. Насовсем распрощался с О'Даффи. Они там сидели в окопах, крысы им ноги жрали, а сам О'Даффи где-то прохлаждался — в Саламанке, наверное. Веселился на всю катушку. Это уж точно.

— Бедняга Том, — сказала я. — Такой у него красивый мундир был и пропал зазря.

— Верно, — сказал Энус. — Так что, получается, отец твой не был в полиции? — спросил он.

— Это что, любовные речи такие? — сказала я, не желая огорчать такого невинного человека. А он все равно засмеялся.

— Ирландские любовные речи, — сказал он. — Одни войны, да на чьей ты стороне и все такое.

И снова засмеялся.

— А когда это все было, ну Испания и прочее? — спросила я.

— Ой, в тридцать седьмом, по-моему. Давненько уж, не правда ли? Кажется так.

— А еще какие-нибудь новости про Тома ты слышал, поновее?

— Ну, он-то процветает. Новое поколение, все дела. Тут он поглядел на меня — боясь, может, что огорчил. Но нет, вовсе нет. Хорошо, что он тут был. Его нога была прижата к моей — такая теплая. Нет, ничего я против него не имела.

* * *

Недавно приходил врач. Ему не понравилась сыпь у меня на лице, и еще оказалось, что у меня и на спине такая же. По правде говоря, я что-то немного утомилась, и так ему и сказала.

Это как-то странно, потому что с приходом весны я сама обычно оживляюсь. Так и вижу, как вдоль аллеи полыхают нарциссы, и так мне хочется выйти наружу, поглядеть на них, помахать им приветственно старой своей рукой. Так долго они таятся в сырой, холодной земле, и затем вдруг — такая ослепительная радость. Так что странно это все как-то, я ему так и сказала.

А он еще сказал, что ему не нравится, как я дышу, а я говорю: ну, меня-то все устраивает, а он засмеялся и сказал:

— Нет, мне не нравятся какие-то непонятные хрипы у вас в груди, пропишу-ка я вам, пожалуй, антибиотики.

И тут он мне доложил настоящие новости. Сказал, что весь главный корпус уже расселили, и всего-то пациентов осталось — два крыла в моей части здания. Я спросила, расселили ли всех старушек, и он ответил: да, мол, расселили. Сказал, что им тяжко с ними пришлось, из-за пролежней

и болей. Сказал, что я молодец, потому что все время двигаюсь и потому у меня нет пролежней. Я ответила, что, когда только поступила в Слайго, они у меня были и мне это не особо понравилось. Он ответил:

— Я знаю.

— А доктор Грен про эти перемены знает? — спросила я.

— Конечно, — ответил он. — Он всем и руководит.

— И что станется со старым зданием?

— Снесут со временем, — ответил он. — Ну, а вас, конечно, переведут в другое место, получше.

— Вот как, — сказала я.

Я вдруг так распереживалась, потому что все думала про эти страницы под полом. Как же мне незаметно забрать их и оставить при себе, если меня будут перевозить? И куда это меня повезут? Мысли так и крутились, будто вода, которую прилив обрушивал в промоину утеса на дальнем краю залива Слайго.

— Я думал, что доктор Грен вам обо всем рассказал, иначе я бы не стал ничего говорить. Волноваться вам не о чем.

— А что будет с деревом под окном и с нарциссами?

— С чем? — переспросил он. — Ой, я не знаю. Слушайте, давайте-ка с вами обо всем этом доктор Грен поговорит. Сами понимаете. Это его работа, а я тут, боюсь, немного не в свое дело вклинился, миссис Макналти.

Я слишком устала, чтобы снова объяснять, в миллионный раз за все эти шестьдесят с лишним лет, что никакая я не миссис Макналти. Что я никто и никому на самом деле не жена. Я всего-навсего Розанна Клир.

Глава двадцатая

Записи доктора Грена

Катастрофа. Мистер Уинн, врач, которого я попросил осмотреть Розанну, случайно выронил шило из мешка — проболтался насчет новой больницы. То есть я-то думал, что она все знает, что ей кто-то рассказал. Но если и рассказали, то в голове у нее это никак не отложилось. Надо было быть умнее, надо было ее подготовить. Тут надо учесть, что я и сам не знаю, смог бы я преподнести ей это все как-то по-другому. Больше всего она, кажется, расстроилась из-за того, что увезли всех лежачих старушек. Вообще-то мне и самому кажется, что переехали мы куда как быстрее, чем нам самим хотелось, но новое здание в Роскоммоне было практически сдано, и в газетах пошли жалобы, что оно, мол, так и будет простаивать без дела. Поэтому нам пришлось поднапрячься для финального рывка. Остались только отделение, где находится Розанна, и мужчины в западном крыле. Эти в основном разномастные стариканы в черных больничных костюмах. Грядущий переезд их тоже здорово

расстраивает и, собственно, задерживается все как раз из-за того, что податься им некуда. Не можем же мы вывести их на дорогу и сказать: ну все, ребята, в добрый путь. Они обступают меня, будто стайка грачей, когда я выхожу во двор, куда они выходят покурить и потоптаться. Некоторые здорово помогли нам той ночью, когда был пожар, — они взваливали старушек на спины, тащили их вниз по бесконечным лестницам, просто чудеса творили, а потом шутили еще, что давненько не гуляли с девчонками и как, мол, здорово еще разок пройтись в фокстроте, и тому подобное. У большинства из них с головой все в порядке, они просто «осколки системы» — так их называют. Одного из них я хорошо знаю, он воевал в Конго в составе ирландской армии. На самом деле тут много бывших солдат. Наверное, нам бы пригодилось местечко вроде казарм Челси или Дома инвалидов в Париже. Кто захочет быть старым солдатом в Ирландии?

Розанна лежала вся в поту, когда я зашел к ней. Может, это и реакция на антибиотики, но мне думается, что это просто-напросто страх. Тут, может, и ужасное место в ужасном состоянии, но она такой же человек, как и все мы, и тут ее дом, храни ее Господь. Удивительно, но я застал

там Джона Кейна, который все лопотал что-то — бол-бол-бол, как индюк, — бедняга, хоть я и настороженно к нему отношусь, но он, казалось, и вправду переживал, хоть он и старый разбойник, а то и похуже.

По правде говоря, меня и самого все это очень беспокоит, я замотался и вымотался, хотя все-таки очень хорошо, что у нас будет новое помещение, без дождевых разводов на стенах и прорех в крыше, которые никто так и не рискнул залатать, потому что, как мне сказали, там рушатся сами балки. Да, да, все здание — настоящая западня, но на его обветшание все бесстыдно закрывали глаза и не выделяли никаких средств, поэтому все, что нужно было ремонтировать, просто послали к черту. И неискушенному взгляду место это скорее всего и представляется обиталищем чертей. Но не взгляду Розанны.

Розанна немножко ожила, завидев меня, и попросила подать ей одну книгу со стола. Книга называлась *Religio Medici* — старый потрепанный томик, на который я частенько обращал внимание. Она сказала, что это была любимая книга ее отца — говорила ли она мне об этом? И я сказал, да, говорила вроде бы. Сказал, что вроде припоминаю, как она однажды показала мне, что там

написано имя ее отца.

— Мне сто лет, — затем сказала она, — и я хочу, чтобы вы для меня кое-что сделали.

— Что же? — спросил я, дивясь тому, как храбро она справилась со своей паникой, если то была паника — ее голос снова звучал ровно, несмотря на то что дряхлое ее лицо так и пылало от этой чертовой сыпи. Казалось, будто она прыгнула через огромный костер и окунула голову в его жар.

— Я хочу, чтобы вы отдали ее моему ребенку, — сказала она. — Моему сыну.

— Вашему сыну? — спросил я. — А где ваш сын, Розанна?

— Не знаю, — ответила она, и взгляд у нее резко помутнел, будто вот-вот погаснет, но тут она снова будто рывком привела себя в сознание. — Не знаю. В Назарете.

— Назарет далеко отсюда, — сказал я, подыгрывая ей.

— Отдадите, доктор Грен?

— Отдам, отдам, — сказал я, точно зная, что не отдам, не смогу никому ее отдать, если учитывать то, что безжалостно сообщает отец Гонт в своем отчете.

Да и столько воды с тех пор утекло. Даже если ее ребенок и жив, то уж в любом случае давно

состарился. Наверное, я мог бы ее спросить: вы убили своего ребенка? Наверное, я мог бы спросить ее об этом, если б и сам был столь же безумен. Нет, такой вопрос не задашь любезным тоном, даже профессиональным тоном его не задашь. Впрочем, она так и не дала мне никаких ответов. Ответов, которые могли бы переменить мое мнение о ее состоянии — с медицинской точки зрения.

Ох, вдруг такая усталость навалилась, такая усталость, будто все ее годы и даже больше того теперь были моими. Я устал от того, что не смог вытащить ее обратно к «жизни». Не смог. Я себя даже вытащить не смог.

— Я уверена, отдадите, — сказала она, пристально глядя на меня. — Надеюсь, по крайней мере.

И тут, довольно невпопад, она забрала у меня книгу, а затем снова вложила мне ее в руки, кивнув, будто бы говоря: уж постарайтесь отдать, постарайтесь.

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Что-то мне не очень хорошо, худо мне, но надо продолжать, потому что я как раз подошла к той части истории, которую мне непременно надо вам поведать.

Дорогой читатель, Боженька, доктор Грен, кем бы вы ни были.

Где бы вы ни были, я вручаю вам мою любовь.

Я ж теперь ангел. Шучу.

Бью на небесах тяжелыми крылами.

Быть может. Как думаете?

* * *

Мне вспоминается страшная, мутная, темная февральская погода и самые тяжкие, самые ужасающие дни в моей жизни.

Тогда я была, наверное, месяце на седьмом. Но точно сказать не могу.

Я так располнела, что старое пальто уже могло скрыть моего «положения», когда я приходила в лавку в Страндхилле, хотя я выбиралась туда только по будням, в сумерках, перед самым закрытием, и тут зима была для меня спасением, темнело уже к четырем.

Из зеркала на дверце шкафа на меня смотрел белесый призрак женщины со странно удлинившимся лицом, словно бы под тяжестью живота я постепенно сползала вниз, как тающая статуя. Пупок торчал наружу, будто маленький нос, а волосы внизу живота, казалось, стали длиннее раза в два.

Что-то сидело во мне, как что-то там есть в речных водах, когда у лосося начинается весенний ход. Если только в несчастной Гарравог еще остался лосось. Иногда в лавке говорили о реке, что она, мол, вся помутнела из-за войны, потому что все верфи и пристани вверх по реке позакрывались на неопределенное время и землечерпалки больше не тащат наружу огромные ковши ила и песка. Еще судачили о подводных лодках в заливе Слайго, о нехватке продуктов, о том, что чая стало недоставать, зато товаров вроде порошков Бичема до странного вдоволь. Можно еще было упомянуть, что милосердия стало недоставать тоже. На дорогах почти не стало машин, и по вечерам возле моего домика почти всегда было тихо, хотя люди на велосипедах, телегах и пешком все равно собирались на танцы. У кого-то в Слайго был шарабан, и он приползал по песку, груженный гуляками, будто какая залетная машина из прошлого столетия. «Плаза» испускала лучи света, которые могли бы стать сигналом для какого-нибудь немецкого самолета, вроде тех, что я видела, когда они летели после своих трудов в Белфасте, но на головы танцоров обрушивалось только время.

Я была всего лишь наблюдателем. Интересно,

какая слава обо мне ходила тогда: женщина в проржавевшей хибаре, падшая женщина, ведьма, женщина, «опустившаяся на самое дно». Будто на границе их мира был какой-то водопад, куда женщину могло смыть, вроде невидимой Ниагары на каждый день.

Безбрежная, высоченная стена кипящей, мутной воды.

Хорошенькая женщина, одетая в пальто с горностаевым воротником, как-то взглянула на меня, проходя мимо. Она была весьма обеспеченная — ботинки у нее были черные и блестящие, а тщательно уложенные каштановые волосы говорили о многих часах, проведенных у парикмахера. Через дорогу от моей хибарки стоял старый дом, окруженный высоким забором, и она как раз шла туда, а оттуда доносился шум вечеринки, граммофон играл ту песенку, которую пела Грета Гарбо. Мне показалось, что я ее знаю, поэтому я вдруг остановилась посреди дороги, сама того не желая, будто все было как-то по-другому. К своему непередаваемому удивлению, в воротах дома я увидела Джека Макналти, как обычно в шикарном пальто, но, должна сказать, лицо у него было осунувшееся, изможденное. Или, может, в те дни мне все таким казалось. Я

подумала, не та ли это знаменитая Май, важная девчонка из Голвея, на которой он женился. Наверное, она это и была. И ведь выходит, что она моя невестка.

Мне вдруг показалось, что она разозлилась, занервничала. Вид у меня, конечно, был еще тот — заношенное пальто, которое и в лучшие-то дни ничего из себя не представляло, да коричневые ботинки, которые я носила как клоги, без шнурков, потому что шнурки для них нужны были длинные, тоненькие, а в лавках Страндхилла таких не водилось. Да и, наверное, снизу было видно, что чулок на мне нету — настоящее преступление — и живот еще торчал из-под пальто.

— Что, несладко приходится? — спросила она, и это все, что она сказала. Затем она вошла в ворота. Я глядела ей вслед и дивилась этим словам, спрашивая себя, однако, что это было: жестокость, отчаяние, констатация факта? Узнать это было никак нельзя. Они вместе вошли в дом, не оглядываясь, наверное, чтобы Май ненароком не обратилась в соляной столб, взглянув еще раз на Содом.

* * *

Погода все ухудшалась, и мне делалось все тошнее. Дело было не только в утренней тошноте, когда я выскакивала на задворки, чтобы на ветру проблеваться в тростник и вереск. То была тошнота другого рода, которая, казалось, вскипала у меня в ногах и скручивала мне желудок. Я стала такой огромной, что едва могла встать со стула, и до ужаса боялась, что вдруг застряну здесь, без единого гроша, и больше всего я боялась за ребенка. Иногда я видела у себя под кожей очертания маленьких локотков и коленок, а такое разве можно подвергать опасности? Я не знала, на каком я месяце, и со страхом думала о том, что начну рожать, а рядом никого не будет и никто не сможет мне помочь. Много раз я жалела о том, что не заговорила с Май и не окликнула Джека, и не знала, почему же я этого не сделала, разве только потому, что положение мое было заметно, но никакой помощи они не предложили. Я знала, что в американских прериях дикарки уходили рожать в одиночестве, под кустом, но я не хотела, чтобы Страндхилл стал моей Америкой, не хотела решаться на что-то столь одинокое и столь опасное. Одна я быстро освоила нехитрую

тактику незаметности и выживания, но теперь я никак не могла ей обойтись. Я молилась Господу, чтобы Он помог мне, читала «Отче наш» тысячу, тысячу раз, и если не могла встать на колени, то вынуждена была это делать, сидя на стуле. Я понимала, что должна сделать что-то, не ради себя — было ясно, что мне никто не поможет и не посочувствует, — но ради ребенка. И вот в какой-то из этих февральских дней я отправилась в Слайго. Час или два я мылась. Накануне вечером я выстирала платье и всю ночь сушила его у слабенького огня.

Когда я его надела, оно было чуть сыроватым. Стоя перед зеркалом, я долго-предолго расчесывала волосы пальцами, потому что понятия не имела о том, куда подевался гребень. В единственном уцелевшем тюбике помады осталась последняя искорка красного — последний раз мазнуть по губам. Я жалела, что не было пудры, все, что мне оставалось — взять кусок известки с той стены, где был очаг и которая поэтому была сложена из камня, раскрошить его в руках и попытаться как-то поровнее замазать этим лицо. Я ведь в город собиралась, и потому нужно было до какой-то степени выглядеть респектабельно. Я трудилась над собой, как Микеланджело над

своим потолком. С пальто я ничего поделать не могла, зато придумала оторвать кусок ткани от простыни и обернуть его вокруг горла, будто шарф. Шляпы у меня не было, но ветер так неистовствовал, что долго бы она у меня на голове не продержалась. И вот я отправилась в путь, поднялась выше в гору, куда не забиралась уж долгое время, прошла мимо протестантской церкви на углу и вышла на страндхилльскую дорогу. Как же мне хотелось, чтобы меня в своем брюхе подбросил до места один из виденных мной немецких самолетов, потому что передо мной тянулся долгий, страшный путь. Справа от меня высились горы, и я все спрашивала себя, неужто я когда-то ходила тут так ловко, так легко. Как будто сто лет прошло с тех пор.

Не знаю, сколько там было часов ходу, но ход этот был долгим, тяжким. Впрочем, по пути тошнота будто бы отступилась от меня, словно в нынешнем моем состоянии ей там не было места. Во мне вдруг воспрянула, затеплилась надежда, словно бы поход мой все же мог увенчаться успехом. Я твердила себе: она мне поможет, конечно, поможет, она ведь тоже женщина, и я была замужем за ее сыном. Ну или так оно было бы, не вычеркни они этот брак в Риме. Я думала, ну и

пусть, что она тогда была очень холодна со мной, тогда, много лет назад, когда я впервые пришла к ней в дом, но ведь ее большой жизненный опыт поможет ей отбросить эту неприязнь… и так далее.

И снова, и снова, и снова я прокручивала это у себя в голове, милю за милей, пока я передвигала ноги, переваливаясь с боку на бок из-за своего огромного живота — не самое приятное зрелище, уж поверьте мне, и убеждала себя, что так все и будет.

Записи доктора Грена

Ведь даже дата сноса уже назначена, и уже довольно скоро. Должен постоянно себе об этом напоминать. И все равно как-то очень трудно вообразить, что это случится, хотя по всей клинике стоят коробки, упакованные к переезду, каждый день приезжают грузовики и фургоны, чтобы вывезти еще что-нибудь, огромные пачки писем и документов отправлены в архив, пациенты разъезжаются десятками — места для них находятся внезапно, неожиданно, из ниоткуда, как это обычно и случается, — нашлись они даже для моих черных костюмов, а кое-кого из них, в порядке эксперимента, вернули обратно — чуть

не сказал, в мир живых. Выражаясь официальным языком, их отправили в дом престарелых, и в кои-то веки это и на человеческом языке звучит пристойно. Отправили, разумеется, с моего позволения. Основная их часть все-таки переедет в новое здание. Ох, как же мне хочется принять окончательное решение насчет Розанны.

Получил очень милое письмо от Перси Квинна из Слайго, пишет, что я могу подъехать в любое удобное время. Буду, значит, готовиться к поездке. Он так отзывчиво откликнулся на мою просьбу, что в ответном письме я спросил, не знает ли он, где в Слайго хранятся архивы Королевской Ирландской полиции, и не будет ли он столь любезен, если их отыщет, проверить, нет ли там сведений о неком Джо Клире. Годы гражданской войны принесли столько разорения, разрухи, что я не знаю даже, сохранились ли все эти древние сведения и потрудился ли вообще кто-нибудь их сохранить. Армия фристейтеров, пытаясь бомбежками выбить ИРА из здания Четырех судов,[59] превратила в золу почти все свидетельства о рождениях, смертях и браках и

[59] Примечания: 59

Центр судебной власти Ирландии, построен в 1796 году, туристическая достопримечательность. С захвата здания Четырех судов началась гражданская война 1922–1923 гг.

прочие бесценные документы, уничтожив все записи о той самой нации, которой они пытались подарить новую жизнь, спалив коробки с самой памятью. А оружие им, если я правильно помню, дали или одолжили восторженные британцы, которые, без сомнения, пытались быть полезными новому правительству, с этой их пленительной британской склонностью к широкому жесту, в противовес их обычной кровожадности. Перси я, конечно, ничего такого не сказал. Когда я писал ему ответ, внезапно вспомнил, что он был на той злополучной конференции в Бандоране, хотя сам он точно про это не заговаривал, а я уж точно никогда ему об этом не напоминал.

Вчера вечером пришел домой пораньше, усталый, и, как мне думалось, бесстрашно поднялся в комнату Бет. По-моему, я все же миновал стадию самобичевания и чувства вины. Ведь теперь, когда все закончилось, я остался один на свете, и нашей истории — конец. Я прилег на ее кровать, пытаясь ощутить ее присутствие. Я уловил слабый аромат ее духов, *Eau de Rochas* — в аэропортах я вечно высматривал их в дьюти-фри, когда они еще там продавались. Я чувствовал себя как-то легко и необычно, но грустно мне не было. Я просил о присутствии там ее отсутствия как о своего

рода причудливом, извращенном утешении. На пару минут я почувствовал себя ею — я лежу на кровати, а я, другой настоящий я, сижу внизу, в нашей старой спальне — и что же я про себя думаю? Я ненадежный, я предатель, я не люблю ее? Я зачем-то нужен здесь, даже если между нами пол и потолок? Я не знал. Даже будучи Бет, я не знал Бет. Но опять же на пару минут я ощутил в себе что-то от ее силы, ее доброты и чистоты. Какое же прекрасное это было чувство!

Мой взгляд упал на любовно подобранную ей библиотечку книг о розах, я взял одну и принялся читать. Надо сказать, чтение оказалось очень интересное, поэтическое даже. Тогда я встал, аккуратно обхватил руками всю ее подборку книг, поднял их все вместе и перевернул, так чтобы удобнее было снести их вниз, будто добычу, будто награбленное. Я улегся на свою кровать и продолжил читать, и читал глубоко заполночь. Я словно бы читал письмо от нее или получил право узнать что-то, что уже давно было неотъемлемой частью ее самой. *Rosa Gallica*,[60] простенькая розочка вроде тех, что на средневековых зданиях

---

[60] Примечания: 60
Французский шиповник. Старый сорт садовых роз.

вырезали в качестве *Rosa Mundi*,[61] была самой первой. А теперь пошли огромные чайные розы, которые в садах вечно напоминают задницы танцорок в кружевных панталончиках. Что же мы за создания такие, если за века превратили простой цветок вот в это, а шелудивых псов, питавшихся падалью подле наших древних стоянок, — в борзых и пуделей. Вещь сама по себе, вещь-начало нас ни за что не устроит, нам нужно все доработать, улучшить, опоэтизировать. «Чтобы затмить мимолетность нашей жизни» — наверное, как написал Томас Браун в той книге, которую Розанна велела передать ее сыну. Я вроде как прятался под навесом, натянув его от *Religio Medici* до «Роз» Королевского садоводческого общества. И от того, что Бет хотела и стремилась узнать все эти штуки про розы, я вдруг преисполнился счастья и гордости. Любопытно, кстати, что чувство это не сменилось затем виной и раскаянием. Нет, оно открывало во мне комнату за комнатой, розу за розой — дальнейшего счастья. Вчера был не только самый лучший день с тех пор, как она умерла, но и один из самых лучших дней в моей жизни. Как будто бы какая-то часть ее сошла с небес и

[61] Примечания: 61
Круглое окно на фасаде здания в виде цветка розы.

помогла мне. И я был ей чертовски благодарен.

Да, забыл сказать (хотя кому я тут все это говорю?), что, когда я аккуратно отложил в сторону книгу Розанны, чтобы сосредоточиться на книжках Бет, оттуда почти вывалилось письмо. Очень любопытное это было письмо, потому что, кажется, конверт так и не вскрыли, разве что из-за сырости у нее в комнате он каким-то образом склеился снова. Более того, судя по штемпелю, письмо было отправлено в мае 1987 года, добрых двадцать лет тому назад. Я не знал, что и думать, да и что с этим делать не знал тоже. Отец всегда учил меня, что переписка — это святое и вскрыть чужое письмо — не только самое настоящее преступление, с чем я согласен, но и аморальный поступок. Боюсь, что испытываю огромное искушение совершить этот аморальный поступок. С другой стороны, может, письмо надо вернуть? Или сжечь? Нет, точно не стоит. Или так и оставить?

Свидетельство Розанны, записанное ей самой

Городские окраины встретили меня нелюбезно. Наверное, я была похожа на дикое создание, которое ветром принесло с болот. Маленькая девочка, сидевшая с куклой у окна — из-за непогоды

только и остается, что сидеть дома, — помахала мне рукой с милосердностью маленьких девочек. Слава богу, далеко в город мне забираться не нужно было. Шаги по мощеному тротуару так и отдавались выстрелами у меня в желудке, но я не сбавляла ходу. И вот я уже стою у ворот дома миссис Макналти.

Садик Старого Тома — акр затаившейся красоты. Отсюда были видны грядки с аккуратно вкопанными саженцами и цветами, которые вот-вот проклюнутся бутонами, и подпорками, которыми они были подвязаны против ветра. Через пару недель вид тут будет превосходный, это уж точно. Какой-то мужчина орудовал лопатой на дальнем краю участка, быть может, то был и сам Старый Том. В широком плаще и основательной зюйдвестке, он копал себе, не обращая внимания на зигзаги ветра и хлещущий дождь. Я думала было подойти к нему, но не знала, кто мне враг. Или думала, судя по угрюмому взгляду Джека, тогда в воротах, рядом с моим домом, все они были врагами.

Я решила не подходить к нему. Вместо этого решила попытать счастья у двери. Помню, как в тот миг мышцы у меня в животе натянулись, как канаты, на которых акробаты крутятся под

куполом.

Конечно, я была вся грязная и промокшая насквозь. Дорога сюда уничтожила все мои попытки выглядеть поприличнее. Зеркальца у меня с собой не было — одни темные окошки на двери, и в них отражался только упырь с диковинной прической. Уж это мне никак не поможет. Но что я могла поделать? Молча вернуться домой, признав поражение? Я была напугана, я до смерти боялась этого дома, но еще больше я боялась того, что могло случиться, если я не позвоню в дверь.

Я сижу тут, старая, высохшая, с ляжками, покрытыми сыпью, и пишу все это. И вроде как это совсем недавно, вроде как это никакая не история, вроде как ничего еще не прошло и не закончилось. Это что-то навроде ворот святого Петра, когда ты колотишься в эти ворота, просишься в рай, но с тяжелым сердцем понимаешь — слишком много грехов, слишком много. Но, может, хотя бы — милосердия!

Я вдавила плотную бакелитовую кнопку. Но звонок раздался, только когда я отпустила палец — в холле откликнулось его раздраженное дребезжание. Долгое время ничего не происходило. Я слышала, как мое беспокойное дыхание отдается в крохотной террасе. Мне казалось, я слышу,

как бьется мое сердце. Мне казалось, я слышу, как бьется сердце моего ребенка, будто подбадривая меня. Я снова вдавила толстую кнопку. Как же мне хотелось, чтобы в эту дверь звонила какая-то другая я — посыльный из мясной лавки, коммивояжер, а не это грузное, запыхавшееся недоразумение. Перед глазами у меня возникла маленькая фигурка миссис Макналти — вся такая опрятная, лицо белое, будто цветы лунника, и едва я это себе представила, как послышался какой-то шорох, дверь распахнулась, и на пороге передо мной предстала сама миссис Макналти.

Она вытаращилась на меня. Не знаю, поняла ли она сразу, кто стоит перед ней. Может, приняла меня поначалу за попрошайку, бродяжку или беглую из дурдома, где она работала. Я и впрямь была вроде как попрошайка, попрошайничала снисхождения у другой женщины. Пропащая, пропащая — вот какое слово вдруг застучало у меня в голове.

— Чего тебе надо? — спросила она, поняв, хоть, может, и не сразу, что я это, та самая недостойная женщина, на которой ее сын женился и не женился. Думаю, она строила против меня козни еще задолго до того, но сейчас меня это не волновало. Я не знала, на каком я месяце. Я почти

опасалась того, что начну рожать прямо у нее на пороге. Может, для ребенка было бы лучше, если б так оно и вышло.

Я не знала, что ей ответить. Я не знала никого в схожем со мной положении. Я не знала, что это за положение. Мне нужен, мне отчаянно нужен был кто-то, кто…

— Чего тебе надо? — повторила она, будто собираясь захлопнуть дверь, если я не отвечу.

— Я в положении, — сказала я.

— Это я вижу, дитя, — сказала она.

Я попыталась вглядеться в ее лицо. Дитя. Здесь, на террасе, это раздалось с силой, какая бывает у прекрасных слов.

— Я в отчаянном положении, — сказала я.

— Ты нам больше никто, — сказала она. — Никто.

— Я знаю, — ответила я. — Но я никак не знала, куда еще пойти. Никак.

— Никто и никак, — сказала она.

— Миссис Макналти, умоляю вас, помогите мне.

— Я тебе ничем не могу помочь. Как мне тебе помочь? Я тебя боюсь.

Это меня вдруг остановило. О таком я даже не думала. Боялась меня.

— Меня не нужно бояться, миссис Макналти. Мне нужна помощь. Я… я…

Я пыталась выговорить «беременна», но это не то слово, которое тут можно было сказать. Я понимала, что если произнесу его, то для нее оно будет значить то же самое, что «шлюха», «проститутка». Или что она расслышит эти порочащие слова в самом слове «беременна». Казалось, что во рту у меня будто кусок дерева, сидит во рту как влитой. Сильный порыв ветра налетел сзади, с тропинки, и попытался перевалить меня через порог. А она, кажется, подумала, что я хочу к ним в дом ворваться. Но у меня вдруг колени стали подгибаться, мне казалось, что я вот-вот свалюсь.

— Я знаю, что и вам в жизни нелегко пришлось, — сказала я, отчаянно пытаясь припомнить, что же тогда мне рассказывал в «Плазе» Джек. И рассказал ли он хоть что-то? Когда говоришь, лучше помалкивать.[62]

«Беды, — сказал он. В прошлом?»

— Не смей! — закричала она. И крикнула: — Том!

---

[62] Примечания: 62

Whatever you say, say nothing — своеобразное напутствие ИРА своим сторонникам, предупреждение, чтобы те ни в коем случае не сболтнули лишнего об их деятельности.

А потом прошептала, так сбивчиво, будто сбитая птица.

— Что он тебе сказал, что Джек тебе сказал?

— Ничего. Просто беды.

— Грязные сплетни, — сказала она. — И ничего больше.

Не знаю, как Старый Том ее услыхал, наверное, выработалась уже привычка вечно прислушиваться к ее голосу, но уже через пару секунд он показался из-за угла, похожий в этой своей шапке и пальто на тонущего моряка.

— Иисус, Мария, Иосиф, — сказал он. — Розанна.

— Уведи ее! — сказала миссис Макналти.

— Пойдем, Розанна, — сказал Старый Том, — пойдем-ка, пойдем назад, за ворота.

Я покорно пошла за ним. Голос у него был дружелюбный. Он все кивал головой, пока подталкивал меня в обратном направлении.

— Иди, — сказал он, — иди-иди, — будто я была теленком, который забрел, куда не следовало.

— Иди.

И вот я снова оказалась на дороге. Ветер летел по улице, словно вереница невидимых грузовиков — с ревом и жужжанием.

— Иди, — сказал Старый Том.

— Куда? — спросила я с беспредельным отчаянием.

— Обратно, — сказал он. — Обратно.

— Мне нужна ваша помощь.

— Тут тебе никто не поможет.

— Попросите Тома мне помочь, пожалуйста.

— Том тебе не поможет, девочка. Том женится. Не знала? Том тебе не поможет.

Женится. Господи боже.

— Но что же мне делать?

— Иди обратно, — сказал он. — Иди.

* * *

Я пошла обратно не потому, что он велел, а потому что другого выбора у меня не было.

Я решила: если доберусь до дома, то пообсохну, отдохну и подумаю, что еще можно сделать. Чтобы только скрыться от дождя и ветра, чтобы суметь мыслить снова.

Том снова женится. Нет, не снова, а впервые.

Окажись он тогда передо мной, я б, наверное, убила его первым, что под руку бы подвернулось. Выломала бы камень из стены, оторвала бы доску от забора и отделала бы его, и убила бы.

За то, что любовью вверг меня в такую гибельную опасность.

Кажется, я и не шла тогда, а волокла себя по дороге. Маленькая девочка все так же сидела у окна, когда я прошла мимо ее дома, все с той же куклой, все еще ждала, пока буря уляжется, чтобы можно было поиграть на улице. Но на этот раз она мне отчего-то не помахала.

Говорят, мы произошли от обезьян и, может быть, животное, которое сидит в нас, нутром чует то, что сами мы едва ли осознаем. Что-то шевельнулось у меня внутри, будто часы пошли или механизм какой запустился, и я инстинктивно постаралась ускорить шаг, ускорить шаг и отыскать где-нибудь тихое укрытие, где можно было бы понять, что это за механизм такой. Была в нем какая-то спешность и какой-то запах, из меня вырывался диковинный шум, который тотчас же уносило ветром. Я уже вышла на щебеночную дорогу к Страндхиллу, меня окружали зеленые поля да каменные стены, и крупный дождь хлестал дорогу, отскакивая от нее будто даже с яростью. Казалось, что у меня музыка в животе, мощная, тянущая, пульсирующая музыка, захлебывающийся «Блэк боттом стомп», пианист, который дубасит по клавишам все неистовее и неистовее.

Дорога плавно свернула, и внизу показался залив. Кто мог бы помочь мне? Никто. Где был весь

мир? Как же так вышло, что у меня нет никого в этом мире? Как же так получилось, что жители редких придорожных домишек не выбежали ко мне, не втащили меня к себе, не обняли? Во мне всколыхнулось дикое чувство, что я настолько мало значу для этого мира, что в помощи мне отказано, что священник, женщина и мужчина вынесли мне приговор: в помощи отказать, бросить меня на волю стихий — меня, двуногое животное, пропащую.

Тогда-то, может быть, какая-то часть меня от меня же отшатнулась, что-то покинуло мой разум, что-то вроде того. Убежище. Одинокое существо стремится в убежище. В домике у меня теплился огонь под золой, надо всего-то сбить золу с торфяного брикета да подкинуть еще торфа, и скоро огонь так и запылает. И можно будет содрать с себя старое пальто, и платье, и нижнюю юбку, и ботинки, и с наслаждением вытереться досуха в сухой комнате, хохоча, торжествуя, празднуя победу над бурями и семьями. В накрытом котелке меня ждала незатейливая похлебка, и я ее съем, а потом, сытая и сухая, улягусь в кровать, и буду лежать там, глядя на Нокнари, на старушку королеву Медб на ее каменном ложе, которой там, наверху, уж по полной достанется бури, и

буду, как я это люблю, разглядывать свой живот, смотреть, как локотки и коленки появляются и исчезают, пока мое дитя там ворочается и потягивается. И до этого столь желанного укрытия идти мне еще было миль шесть. Сверху мне было видно, что если пойти берегом, где машины, бывало, проезжали во время отлива, то я срежу добрых две мили. Несмотря на мое состояние, я все же отметила, что был самый отлив, хотя берег было едва видно из-за армий и легионов наотмашь секущих дождевых струй. Поэтому я свернула с дороги на узкую тропку, почти не обращая внимания на острые камни, радуясь тому, что срежу путь, да и ноги у меня так онемели, что боли в них я почти и не чувствовала. Вся боль сидела у меня в животе, вся боль была в моем ребенке, и мне до смерти хотелось побыстрее добраться до дому.

Была я когда-то красива, но красоте этой пришел конец.

Внизу, на песке все будто кружилось в танце, словно сама «Плаза» раздалась и заполнила весь залив Слайго. Дождь был как широченные юбки — кружился, подскакивал, пока молотящие столбы ног обрушивались на землю, весь берег и море от Страндхилла до Россес были вымараны миллионами серых и серых мазков. Тут я подума-

ла, что, наверное, не очень разумно было пойти песчаным берегом, или что я, по меньшей мере, не угадала с переменой непогоды — буря расползлась, раззвонилась до невозможности, раздирая меня и мой живот, мое крохотное существо, мои локотки-коленки.

Тут я захлюпала по мелководью и поняла, что сбилась с пути. Песок, по которому катались машины, проносясь с ревом на танцы, был гораздо выше, и летними ночами там было сухо. Я боялась, что меня снесет к руслу Гарравог — немыслимая беда, — но теперь не знала, куда мне свернуть. Где же гора, где возвышенность? Где Страндхилл, а где Кони?

Внезапно впереди замаячило чудовище — но нет, то было не чудовище, то были бугры из тесаного камня, столбы, линия из которых указывала путь к острову и шла по мокрому песку, ровно по тому месту, до которого доставало приливом. И прилив как раз начинался, это я поняла, потому что сквозь рев бури различала галопирующий звук моря, которое неслось со всех ног, чтобы обнять пустой берег. Но я как раз добралась до столба и немножко постояла, держась за камни, пытаясь успокоиться и капельку взбодрившись от того, что нашла его. Если только я каким-то

образом не развернулась назад, то река, рассудила я, должна быть справа от меня и чуть выше, а Страндхилл — где-то слева. На верхушке столба торчала ржавая железная стрелка, указывающая на остров.

В бурю грозно будет стоять на своей скале Металлический человек, будет указывать на «глубокие воды», указывать, указывать. Не будет у него времени помогать таким, как я.

Я знала, останавливаться нельзя, замедлю шаг — тут и волны нахлынут, скроют песок у моих ног и медленно, медленно вскарабкаются по столбу. Вернуться к берегу я не осмеливалась, так как там вода могла подняться. Но в прилив почти все столбы скрывались под водой, и тут я не спасусь. Здесь будет водоворот из течений и рыб. Я встала к столбу спиной, ориентируясь на стрелку, и шагнула в бурю, молясь, чтобы мне не сбиться с прямого пути и добраться до Кони.

Тут бурю рассекло косой яростного голубого света, будто отрезали кусок безумного пирога, и я вдруг увидела очертания Бен Бульбена — он маячил впереди, будто огромный нос корабля, который вот-вот меня снесет.

Нет, нет, до него еще мили и мили. Но он был там, где я и предполагала, поэтому я сумела

добраться до следующего столба. Ох, от всего сердца благодарила я Металлического человека. Теперь нечетко, но по мне так достаточно четко, виднелась впереди верхушка острова Кони. Я поволоклась к нему. Отойдя от столба, я почувствовала, как вода на мгновение отхлынула и ногам стало тепло. Еще сотня болезненных шагов, и вот уже первые камни, и черные водоросли, и я выбралась на покатую тропку. Если б буря не унялась тогда на мгновение, не знаю, что бы мне оставалось делать — только утонуть в спешащих волнах. Потому что теперь буря снова сомкнулась надо мной, будто пространство бескрайнего безумия — стены из воды, потолок из грохочущего огня, — задыхаясь, я опустилась на ложе из валунов и почти испустила дух.

* * *

Я очнулась. Буря все завывала рядом. Я едва помнила, кто я такая. Помню, что даже слова с трудом приходили на ум. Во сне или как еще назвать это мое состояние, я, уж не знаю почему, привалилась спиной к замшелому валуну. Буря завывала, дождь поливал меня потоками воды. Я лежала так неподвижно, что была у меня даже дикая мысль, будто я умерла. Но нет, до этого

мне было еще далеко. То и дело, каждый час или каждую минуту — трудно было понять, что-то схватывало меня, будто сдавливая от макушки до самых пяток. Было так больно, больнее самой боли, я даже не знаю, как еще это описать. Я перекатилась на четвереньки, не по своему выбору, просто подчиняясь неведомой воле. Устремив вперед дикий взгляд, я вдруг будто бы увидала в водопаде дождя человека, который стоял и глядел на меня. И тут буря словно вымарала эту фигуру. Стоял там кто или нет, но я пыталась докричаться до него, я кричала и кричала. И тут меня охватил очередной удар боли, как будто мне копчик рассекли топором. Кто же там наблюдал за мной из дождя? Уж точно не тот, кто хотел бы помочь. Шли часы. Я почувствовала, как волны откатываются от острова, прямо кровью это почуяла. Буря жаром пылала с небес. Или это меня охватило огнем посреди всей этой влаги. Нутро у меня было будто хлебная печь, и она все накалялась. Нет, нет, быть такого не могло. Закончилось время человеческих часов, приливы и отливы боли были новыми секундами и минутами. Что, неужели боль теперь все ближе и ближе? Времени теперь проходит меньше? Ночь опустилась тайком, чтобы зачернить бурю? Я

ослепла? И вдруг — внезапность, натиск, кровь. Я поглядела себе между ног. Почувствовала, что руки у меня вытягиваются будто крылья, чтобы подхватить то, что падало с неба. Но оно падало не с неба, оно падало из меня. Моя кровь обрушилась на насквозь промокший вереск и воззвала к Господу, прося помочь мне, Его страждущему животному. Раздался голос моей крови. Нет, нет, то было безумие, только безумие. Между ног у меня одни угли, кольцо углей, раскалившихся докрасна, и ничто живое не сможет пройти через это кольцо. И в этот миг безумия вдруг показалась маленькая макушка, а затем — плечико, все в ошметках кожи и крови. И вот оно, личико, и вот грудка, а вот животик и две ножки, и тут даже буря, казалось, затаила дыхание и умолкла, и наступило молчание — я посмотрела, взяла маленькое существо, за которым потянулась живая нить, поднесла ребенка к лицу и снова, даже не думая, перекусила нить, а буря набухла и давай выть, выть, и мое дитя тоже набухло, будто отвердевая в секущей темноте, втянуло свой первый бриллиантик воздуха и отозвалось воем в миниатюре, тоненько взывая к острову, к Слайго, ко мне.

* * *

Когда я очнулась снова, буря миновала, будто подолом изодранного платья прошуршала вон из Слайго. Где же маленькое существо? Где кровь, кожа, пуповина и послед? Я вскочила на ноги. Меня шатало из стороны в сторону, и сама я была не сильнее новорожденного жеребенка. Где мое дитя? Какое же дикое ощущение паники и потери обрушилось на меня. Я озиралась по сторонам с безумной тоской и жаром в голове, знакомым любой матери или самке. Я раздвигала низкие веточки и побеги вереска, я искала, ползая по кругу. Я звала на помощь. Небо было огромным, голубым — до самых до небес.

Давно ли миновала буря? Я не знала.

Я свалилась обратно наземь, ударившись бедром о камень. Из меня все еще струилась кровь ровной ниточкой, темная кровь, темная и теплая. Я лежала там, уставившись на мир, будто женщина, получившая пулю в голову — мирный берег, ржанки роют и ковыряют своими длинными клювами песок рядом с отступающими волнами.

— Пожалуйста, помогите, — все повторяла и повторяла я, но, кажется, никто меня не слышал, кроме этих птиц.

Ведь были же где-то на острове какие-то дома, упрятанные подальше от ветра? Ведь мог же кто-то прийти и помочь мне отыскать моего ребенка? Ведь мог же кто-то прийти?

Пока я лежала там, в груди у меня толкнулось странное острое чувство — пришло молоко, подумала я. Вот, молоко теперь есть, готово. Где же, где же мой ребенок, которого надо им напоить?

И тут я увидала, как по извилистой прибрежной тропке съезжает белый фургон. Я сразу поняла, что это скорая помощь, потому что в такой тиши сирену было издалека слышно. Фургон съехал в песок и поплыл вперед, точно как я шла в бурю — от столба к столбу. Я снова вскочила и принялась махать руками, как потерпевший кораблекрушение моряк, который наконец увидал вдалеке корабль, спешащий ему на помощь. Но не меня надо спасать было, а крошечного человечка, пропавшего оттуда, где ему надлежало быть. Когда мужчины с носилками подошли ко мне, я просила их сказать, где мой ребенок, умоляла их сказать мне.

— Мы не знаем, мэм, — сказал один из них, чрезвычайно вежливо. — И как это вы вздумали рожать тут, на Кони? Вот уж точно не то место, где следует рожать.

— Но где же он, где мой ребенок?

— Что, мэм, прилив был сильный, и малютку, спаси его Господь, волной смыло?

— Нет, нет, он был у меня в руках, и я заснула, и я его к себе прижимала, согревала. Я знала, что ему у меня на руках тепло будет. Смотрите, вот тут, я подле груди его держала, смотрите, даже пуговицы вот расстегнуты, ему тепло было, он со мной был.

— Ладно, — сказал второй, — ладно. Успокойтесь-ка. У нее кровотечение не прекратилось, — сказал он своему коллеге. — Надо попробовать его унять.

— Можем и не унять, — ответил второй.

— Надо быстро везти ее в Слайго.

И они погрузили меня в фургон. Но что же, мы бросили моего ребенка? Я не знала. Я уцепилась за двери, когда их закрывали.

— Ищите везде, — сказала я. — Там был ребенок. Он там был.

Ох, и когда они завели мотор, то я будто сквозь землю рухнула и потеряла сознание.

* * *

Вот, теперь начались трудности. Теперь дороги будто разошлись на две стороны в лесной чаще,

и лес этот так занесло снегом, что кругом одна лишь белизна.

Кто-то забрал моего ребенка. Скорая помощь привезла меня в больницу. Знаю, что очень долго у меня не прекращалось внутреннее кровотечение, и в больнице думали, что я не выживу. Это я помню. Помню, что мне сделали операцию, потому что помню, что кровотечение прекратилось и что я выжила. Помню, что отец Гонт приходил и говорил, что обо мне позаботятся, что знает одно место, где я буду в безопасности, и что мне там понравится, и что ни о чем волноваться не нужно. Я снова и снова спрашивала про своего ребенка, и всякий раз он отвечал одним только словом: «Назарет». Я не понимала, что это значит. Я так ослабла, что, кажется, поступила как узник, который взывает к своему тюремщику, — я искала помощи у отца Гонта. Кажется, я просила его о помощи. Я точно очень много плакала и помню даже, как он держал меня на руках, пока я рыдала. Был ли там кто-то еще? Не припомню. Вскоре я увидала впереди две башни психиатрической лечебницы и была сослана в ад.

Я кричала, что хочу повидаться с матерью, но мне отвечали:

— Ты не можешь ее увидеть, никто не может ее

увидеть, никому ее не увидеть больше.

И тут моя память оступается. Именно так. Вздрагивает, будто двигатель, который пытается завестись от поворота ключа, но глохнет. Др-р-р, др-р-р, др-р-р. Ох, неужто это Старый Том и миссис Макналти там, во тьме, в темной какой-то комнате, и я там с ними, и они измеряют меня своими портновскими метрами для больничной робы, и не говорят ни слова — только замеры: грудь, талия, бедра? Так они обмеряют всех, кто к ним поступает, чтобы пошить им робы, и всех, кто уходит, чтобы пошить им саваны?

И тут память останавливается. Ее нет совсем. Я не помню даже ни страданий, ни боли. Нет их там. Помню Энуса в солдатской форме, который пришел ко мне как-то вечером, уболтав персонал, чтоб разрешили повидаться. Форма была майора, а я знала, что он всего-навсего рядовой, но он признался, что позаимствовал форму у Джека, и уж как хорошо он смотрелся в этих эполетах. Он велел мне побыстрее одеваться, сказал, что там, снаружи, меня ждет мой ребенок и он пришел меня освободить. И мы все вместе уедем в другую страну. Надеть мне было нечего, кроме тех обносок, что на мне были, я знала, что я вся грязная и завшивевшая, вся в коросте засохшей крови, и мы

с Энусом крались по темному коридору, и потом он со скрипом отворил тяжелую дверь лечебницы, и мы с ним прошли под старыми башнями по щебенке — и мне даже острые камни были нипочем. И он вынул ждавшего нас ребенка из высокой коляски — такой это прехорошенький был мальчик, взял его на руки и повел меня, с кровоточащими ногами, по лужайке, и потом нам пришлось перейти вброд чистую речушку у самого подножия холма. Он перешел ее и вышел на прекрасный зеленый луг, поросший высокой травой. Лунный свет забрызгал реку, заухала моя знакомая сова, и когда я ступила в реку, то платье мое растворилось, и вода очистила меня. Я вышла на берег из камышей, Энус посмотрел на меня, и я сердцем поняла, что снова красива, и он дал мне моего ребенка, и я почувствовала, как грудь наливается молоком. Энус, я и наш ребенок — мы стояли на том лугу в лунном свете, и там еще был ряд огромных деревьев, покрытых зеленой листвой, которую нежно ворошил теплый летний ветер. И Энус снял ненужную свою форму, так тепло было, и мы там стояли, такие счастливые, какими только могут быть люди, да мы и были первыми и последними людьми на земле.

* * *

Такое прозрачное, такое чудесное воспоминание — и такое невозможное.

Я это знаю.

Голова у меня прозрачная, как стекло.

* * *

Если вы читаете это, значит, мышь, древоточец и жук пощадили эти листки.

И что же мне еще рассказать вам? Когда-то я жила среди людей и поняла, что в целом они холодны и жестоки, однако же могу назвать троих или четверых, которые были как ангелы.

Думаю, мы измеряем вес дней наших по тому, сколько ангелов нам довелось приметить среди нас, которые при этом на ангелов и не похожи вовсе.

И если по нашим подсчетам выходит, что страданий нам выпало много, то на закате дня сам дар жизни — это что-то безмерное. Это выше старых гор Слайго, это что-то трудное, но до странного яркое, это то, что уравнивает в падении молотки и перья. И как тот порыв, что заставляет старую деву разбить свой сад, с тощими розами и трепе-

щущими нарциссами, это подсказка о какой-то грядущей благодати.

* * *

Все, что от меня нынче осталось, — это слух о красоте.

Глава двадцать первая

Записи доктора Грена

Наконец-то съездил в Слайго, выкроив время между всеми этими делами, связанными с переездом. Совсем короткая поездка получилась, но за все эти годы я туда почти и не выбирался. Прекрасный весенний день. Но даже в такой день психиатрическая лечебница Слайго выглядела так мрачно, с этими своими двумя малоутешительными башнями. Здание это огромное. В народе его зовут Постоялым двором Лейтрима, потому что, как мне объяснила Розанна, тут перебывала половина всего Лейтрима. Но то, несомненно, просто местное предубеждение.

Если учесть то, что мы когда-то очень дружили с Перси Квинном, странно, наверное, что мы по большому счету не поддерживали связь, хотя и жили в нескольких милях друг от друга. Иногда у дружбы, даже самой крепкой и интересной, быстро выходит срок годности, и продлить его никак нельзя. И все же Перси, с поредевшими волосами и откуда-то взявшейся полнотой, которой я не припомню, встретил меня невероятно

радушно, когда я отыскал его офис, занимавший одну из башен. Я толком и не знаю, что у него за репутация, из прогрессивных ли он и до какой степени позволяет себе расслабиться, а всему вокруг — идти своим чередом, в чем меня, боюсь, можно было уличить довольно часто. Конечно, я готов признаться в этом только тут, но, уверен, у святого Петра все мои прегрешения записаны.

— Соболезную твоей утрате, — сказал он. — Я собирался приехать на похороны, но именно в тот день никак не смог выбраться.

— Все в порядке, не переживай, — ответил я. — Спасибо.

Я помолчал, не зная, что еще сказать, и добавил:

— Все прошло хорошо.

— По-моему, мы с твоей женой не были знакомы, верно ведь?

— Нет, нет, точно, не были. Мы с ней уже позже познакомились.

— Ну так ты, значит, вышел на охоту? — спросил он.

— Ну, я тут пытаюсь освидетельствовать одну пациентку, я тебе про нее писал — Розанна Клир, — на то есть много причин, но она не очень идет на контакт, поэтому приходится выкручи-

ваться, как могу, заходить, знаешь, с черного хода.

— Я тут порылся, — сказал он, — и нашел кое-что для тебя. Меня, если честно, все это заинтриговало даже. У каждого, наверное, в жизни есть свои секреты. Слушай, позвонить Мэгги, чтоб принесла нам чаю?

— Нет-нет, спасибо, — ответил я. — Мне чаю не хочется. Себе если только.

— Нет-нет, — бодро отозвался он. — Во-первых, вот что может тебя заинтересовать. Сохранились архивы Королевской Ирландской полиции. Не поверишь, были в муниципалитете. Ты спрашивал про некоего Джо Клира, верно? Точно, было там такое имя, в записях за десятые-двадцатые годы, кажется.

Должен признаться, я был разочарован. Наверное, надеялся, что Розанна окажется права в своем отрицании. Но — вот оно.

— Думаю, это он и есть, — сказал Перси.

— Имя не самое распространенное.

— Не самое. А потом я снова просмотрел то, что у нас было помимо весьма своеобразного отчета этого отца Гонта, который я тоже перечитал. Ты переживал, что она убила своего ребенка, не так ли?

— Ну, не то чтобы переживал. Я пытался выяснить правду, потому что она все отрицала.

— Вот как? Это интересно. И что она говорила?

— Я спросил у нее, что сталось с ребенком, поскольку о нем написал отец Гонт и потому что эта история, без сомнения, и стала основной причиной, по которой ее поместили сюда, а она ответила, что ребенок в Назарете, что ситуацию никак не прояснило.

— Что ж, я кажется, знаю, что она пыталась сказать. Здесь, в Слайго, был сиротский приют, который назывался Дом Назарета. Теперь сирот там больше нет, сейчас там что-то вроде дома престарелых, но я обычно стараюсь отправлять людей туда, нежели… Ну, сам понимаешь.

— Да, понимаю — что ж, эта версия неплохо вписывается.

— Вписывается. И должен сказать, очень нечестно было и даже противозаконно со стороны отца Гонта писать такие страшные слова, если он знал, что это неправда. Я все пытаюсь как-то истолковать это его заявление. Разве что он имел в виду духовную смерть ребенка. Тогда, конечно, считали, что на незаконнорожденного ребенка переходят все грехи его матери. Может, это и имел в виду наш предприимчивый цер-

ковник. Постараемся великодушно поглядеть в прошлое. То есть если выяснится, конечно, что она и впрямь не убивала ребенка.

— Как думаешь, могу я пойти в Дом Назарета и спросить, не сохранилось ли у них архивных записей?

— Да можешь, наверное. Раньше из них бывало и слова не вытянешь про такие дела, если не знать к ним правильного подхода. Сейчас, я уверен, у них по-прежнему сохраняется эта тяга к секретности, но, как и многие подобные заведения, их в последнее время часто обвиняли то в одном, то в другом. Домов Назарета очень много, и говорили, что в прошлом в некоторых их заведениях творились поистине ужасные вещи. Поэтому может оказаться, что они пойдут тебе навстречу куда охотнее, чем ты сам думаешь. К тому же они уже привыкли иметь дело со мной. Мне они всегда шли навстречу. Все они монашки, конечно. Изначально это был нищенствующий орден. Благородная идея, сказать по правде.

Тут он умолк. Чтобы все «переварить», как говорила Бет.

— Было еще кое-что, — сказал он. — Думаю, что могу тебе это рассказать, чтобы доказать, что ничего не утаиваю. К сожалению, это все из наших

строго конфиденциальных документов. Всякие внутренние запросы, сам знаешь, тому подобное.

— Вот как? — спросил я достаточно осторожно.

— Да. Это касается твоей пациентки. Был у нас тут мужчина по имени Шон Кин, санитаром работал и сам был чуток не в себе, выражаясь по-дилетантски, так вот, он пожаловался на другого санитара. Было это все, конечно, очень давно, еще в конце пятидесятых. Я даже не знаю того, кто составлял все эти документы, какой-то Ричардсон. Шон Кин обвинил этого, второго, чья фамилия была Брэди, в том, что он долгое время угрожал и, боюсь, что насиловал твою пациентку. Если не возражаешь, добавлю, что ее описывают как женщину «исключительной красоты». Знаешь, Уильям, я уже по одним закорючкам почерка могу сказать, что автору этого документа очень не хотелось про все это писать. Знаю, ты сейчас скажешь, что с тех пор мало что изменилось.

Но я промолчал. Кивнул только, чтобы не перебивать.

— Ну и вот, думаю, что именно потому твою пациентку и решили перевести в Роскоммон и таким образом замять это дело.

— А что сталось с предполагаемым насильником?

— Печально, конечно, но он оставался тут до самой пенсии — по документам я смог отследить его аж до семидесятых. Но — сам понимаешь.

— Понимаю. Все очень сложно.

— Да, — сказал Перси, — наша лодка вечно в бушующем море, поэтому ее стараются не раскачивать еще сильнее.

— Да, — ответил я.

— Неудивительно, кстати, что по документам Шон Кин исчезает отсюда примерно в одно время с Розанной Клир — наверное, решили от него избавиться. Ричардсон, несомненно, пытался восстановить какой-то мир.

Какое-то время мы оба молчали, размышляя над всем этим, быть может, и вправду спрашивая себя, а много ли с тех пор изменилось.

— Ее мать умерла тут. Ты знал? В 1941 году.

— Нет, не знал.

— Да-да. Серьезное психическое расстройство.

— Это очень интересно. Я и понятия не имел.

— Забавно, что клиники наши так близки, а мы с тобой никогда не видимся, — сказал он потом.

— Я как раз об этом думал, пока сюда ехал.

— Ну что ж, такова жизнь.

— Такова жизнь, — повторил я.

— Я очень рад, что ты сегодня заехал, — сказал

он. — Надо бы постараться, чтобы это стало доброй традицией.

— Спасибо, что помог мне со всем этим. Я очень тебе благодарен, Перси.

— Ну ладно, — сказал он. — Слушай, ну так я позвоню в Дом Назарета, скажу, чтоб тебя ждали, объясню, кто ты такой, ну и вообще. Ладно?

— Спасибо, Перси.

Мы обменялись сердечным рукопожатием — да нет, не совсем сердечным, подумал я.

Мы оба как-то немного замешкались. Действительно — такова жизнь.

* * *

В Доме Назарета меня направили в новую часть здания, но и в ней уже ощущалась какая-то казенная унылость, пусть и не такая мрачная, как в старой лечебнице. В молодости я считал, что заведения для больных и безумных надо делать яркими, приятными глазу, придавать им что-то вроде праздничного вида, чтобы смягчить тем самым наши людские горести. Но, быть может, подобные места как животные — не могут переменить своих пятен и полосок, как не могут этого сделать леопарды с тиграми. Архивом заведовала монахиня, уже, как и я, достаточно пожилая, чтоб

не сказать — старая, в удобном и современном одеянии. А я все смутно ждал, что увижу плат и рясу. Она сказала, что милейший Перси уже позвонил им, сообщил все имена и даты и что у нее есть для меня информация. «Новости», как она выразилась.

— Но если захотите выяснить все до конца, то придется вам поехать в Англию, — сказала она.

— В Англию? — переспросил я.

— Да, — в ее голосе был слышен неуловимый провинциальный выговор, в котором я все же, кажется, уловил Монаган, а то и места еще дальше к северу. — В нашем архиве, конечно, есть запись об этом, но все документы, касающиеся этих людей, находятся в нашем Доме в Бексхилле.

— Но как они там оказались, сестра?

— Я даже не знаю, но, сами понимаете, дело это давнее, может быть, в Англии, вам удастся узнать побольше.

— Но ребенок еще жив? Ребенок ведь был здесь?

— В документах есть упоминание о том, что этим делом занималась одна из наших сестер в Бексхилле, сестра Деклан — сама она, конечно, была родом из этих краев. Теперь она уж умерла, да будет ей земля пухом. Фамилия ее, доктор

Грен, конечно, была Макналти. А знаете, ведь старая миссис Макналти доживала свой век с нами. Да-да. Девяносто ей было, когда умерла. Вот у меня тут ее записи, упокой ее Господь. Упокой Господь их обеих.

— А нельзя ли туда позвонить?

— Нет-нет, такие дела по телефону не обсуждают.

— Так значит, эта монахиня в Англии была дочерью миссис Макналти?

— Совершенно верно. Она была большим другом нашего ордена. Были у нее кое-какие сбережения, и она все оставила нам. Очень достойная была леди, я ее хорошо помню. Крохотная такая женщина, лицо у нее было добрейшее, и вечно она старалась помочь всем и каждому.

— Уверен, так оно и было, — сказал я.

— Именно так. Она и сама хотела принять постриг, но не могла этого сделать, пока был жив ее муж, а он дожил аж, кажется, до девяноста шести лет — ну и сыновья еще, конечно. Им это могло не понравиться. Могу ли я узнать, доктор Грен, вы католик? Я по вашему выговору слышу, что вы англичанин.

— Да, католик, — с ходу ответил я, без малейшего замешательства.

— Ну тогда сами знаете, какие мы чудныЕ, — сказала маленькая монахиня.

* * *

Домой я возвращался в странных чувствах. Надо же, думал, можно вечно дивиться каким-то отголоскам чужой прошедшей жизни, но вот понять их по-настоящему — вряд ли. Как я и опасался, на долю Розанны выпали ужасные страдания. Как страшно — потерять ребенка, при каких бы то ни было обстоятельствах, а затем стать жертвой жалкого ублюдка, который просто искал возможности удовлетворить свою похоть. Подозреваю также, что, потеряв ребенка — даже если отец Гонт все-таки оказался прав и она его убила, — она в конце концов потеряла и разум. Подобные потрясения вполне могли стать причиной весьма серьезного психоза. А из-за своей «исключительной красоты» она вдобавок могла оказаться легкой добычей для какого-нибудь негодяя из обслуживающего персонала. Господи, помилуй. Я представил себе сухонькую старушку, которая лежит себе в палате у нас в Роскоммоне. Профессиональный подход профессиональным подходом, но, признаюсь, мне ее очень жаль. И, если подумать, то я чувствую не только жалость,

но и вину. Именно так. Потому что, случись что-то подобное, и я, наверное, повел бы себя как тот самый Ричардсон.

С другой стороны, я, пока ехал обратно, все думал, что вряд ли сумею выкроить время, чтобы съездить в Англию. И все спрашивал себя: боже правый, Уильям, да чем ты вообще занят? Ты ведь прекрасно понимаешь, что обратно в социум ты ее не выпишешь. Придется, значит, ее куда-то перевозить (*NB*: не в Дом Назарета в Слайго и не в психиатрическую лечебницу Слайго, ни при каких условиях), потому что других вариантов нет — уж очень она старая. Так почему же я никак не брошу это дело? А правда-то в том, что это дело стало мне большим утешением. И что-то было такое во всем этом, что притягивало меня почти что против моей воли. Думаю, этот мой порыв стоит отнести к способам переживания горя. Я горевал по Бет и по самой сути жизни человеческой. По самой доле людской. Но, все думал я, Англия — это уж как-то чересчур, хотя, должен признаться, мне бы хотелось узнать правду о ребенке Розанны — или о его отсутствии, раз уж я зашел так далеко. Но на работе сейчас столько дел (я тут пытаюсь набросать все, о чем думал в машине, — непростая задача), и потому, раз

уж все самые важные и решающие моменты в жизни оказываются по сути своей спящим лихом, то не следует мне его будить. Все это дела давние, к чему теперь-то ворошить прошлое? И тут мне пришла в голову по-настоящему важная мысль. Мысль о том, что я смотрю на все это с неправильной точки зрения. Потому что, если есть свидетельство о существовании этого ребенка, разве не будет для Розанны большим утешением узнать об этом, даже если этого человека уже невозможно отыскать — узнать «перед смертью», что она все-таки благополучно сотворила человека? Или это только травмирует ее и усугубит умственное расстройство? Захочет ли она связаться с этим человеком и захочет ли этот человек… ох, вот он, пресловутый ящик Пандоры. Ладно, ладно, времени на это у меня все равно нет, думал я. Но я с большой неохотой отступаюсь от этих розысков.

Потом я, как обычно, припарковался и зашел в клинику. Дежурная сестра отчиталась за прошедшие сутки и, помимо всего прочего, упомянула, что у Розанны Клир затрудненное дыхание, они боялись спускать ее вниз, в больничное крыло, потому что она так хрупко застыла между жизнью и смертью, но под руководством докто-

ра Уинна со всем справились и теперь она под кислородной маской. Легкие должны функционировать на 98 процентов, чтобы обеспечивать такой уровень газообмена, при котором кровь достаточно насыщена кислородом, а у нее из-за гиперемии они работают процента на 74. И ведь, если так посудить, она у меня всего-навсего «еще одна пациентка», но должен признать — все произошедшее меня ужасно взволновало и расстроило. Я кинулся к ней в палату так, словно она уже скончалась, и с невольным облегчением увидал, что она вполне жива, даром что без сознания и дышит с неуютным хрипом.

Посидев с нею какое-то время, я стал укорять себя за леность, потому что в кабинете меня ждала куча бумажной работы. Пришлось пойти туда и сразиться с этой кипой бумаг. Под завалами из писем и рецептурных бланков обнаружился сверток — стопка бумаг, всунутая в большой старый конверт, конверт, который я вообще-то сам вскрыл пару дней назад и выбросил в корзину для бумаг. Кто-то выудил его оттуда и засунул туда эти листы. Они были исписаны синей шариковой ручкой и таким аккуратным, мелким почерком, что мне потребовались очки для чтения, которых я, исключительно из-за своего тщеславия, стара-

юсь не надевать.

И почти сразу же я понял, что передо мной — отчет о жизни Розанны, написанный, судя по всему, ей самой. Я был поражен до глубины души. И тотчас же испытал непонятную радость от того, что решил не давить на нее дальше в тот день, когда она призналась мне, что у нее был ребенок. Потому что вот оно, все и так передо мной, но нет во мне этого чувства, будто я вынудил ее «предать» самое себя, прибегнув к различным трюкам и уловкам моей профессии. Я понимал, что время на то, чтобы внимательно прочитать все это, у меня будет только вечером (это было вчера), когда я окажусь дома, но я уже видел, что она свободно делится информацией — резкий контраст с ее ответами во время наших бесед. Да, кстати, откуда же взялись эти бумаги? И кто подбросил их мне на стол, не она ведь сама? Я заподозрил, что эта честь принадлежит Джону Кейну, потому что у нее в комнате он бывал чаще прочих. Или, быть может, это кто-то из сестер. Конечно, если вспомнить, какой переполох был у нее сегодня в комнате, найти бумаги мог кто угодно. Я позвонил в комнату персонала и спросил, не знает ли кто чего об этом. Доран, довольно способный и приятный мужчина, обещал поспра-

шивать. И где же Джон Кейн? О нем я спросил тоже. Доран ответил, что Кейн дома, в своей крохотной квартирке, переделанной из старой конюшни (которую, кстати, тоже вот-вот снесут). Сказал, что Джон Кейн плохо себя чувствовал и, закончив с утренней работой, попросился пойти домой, прилечь. Доктор Уинн с готовностью его отпустил. Джон Кейн ведь нездоров.

* * *

Я читал свидетельство Розанны, будто ученый, изучающий ее жизнь, мысленно сопоставляя факты и события.

Первым чувством, которое я испытал при чтении, было ощущение особой причастности. До чего же странно представлять, как она тайком, будто монах в скриптории, писала все это, пока я пытался ее освидетельствовать, не получая от нее буквально никакого ответа. Мысли о том, что она могла писать все это мне, так и переполняли меня.

Ее рассказ во многом разнится с историей отца Гонта, в особенности с той ее частью, которая касается жизни ее отца. Для женщины, которая, в сущности, никого не знает и которая последние шестьдесят с лишним лет провела в лечебни-

цах, она временами кажется мне удивительным певцом жизни и людей. Осталось еще много загадок. Но я постарался разложить по полочкам то немногое, что мне известно, и с благодарностью уцепился за знакомые имена. Шон Кин, встретившийся мне в документах Перси, кажется, был сыном Джона Лавелла. Кроме того, похоже, у него была какая-то мозговая травма. Я знаю, кого я могу порасспрашивать обо всем этом, потому как подозреваю, что наш Джон Кейн — это он и есть. Такая вот история необычайной преданности и заботы. Отец попросил его приглядывать за Розанной, и он, выходит, всеми силами старался выполнить эту его просьбу.

Однако вопрос о том, кто же забрал ребенка Розанны, так и остается открытым, да и факты по-прежнему свидетельствуют против того, что она пишет о занятиях своего отца. И если неверно это, то и остальные ее записи могут оказаться «неверными». Нельзя принимать их за непреложную истину, хотя, быть может, то же самое можно сказать и об отчете отца Гонта, который уж явно был вменяем до такой степени, когда вменяемость почти что претит.

Думаю, что не ошибусь, если скажу — в истории с Джоном Лавеллом ее оговорили, разве что я

как-то не так понял ее слова, хотя могу себе представить, как по нравам того времени — чуть не написал «нарывам» — уже то, что их застали вместе, одно только подозрение уже было достаточно преступно. У нравственности свои гражданские войны, свои жертвы, свои даты и места сражений. Но стоило Розанне забеременеть, и она была обречена. Замужняя женщина, которая никогда не была замужем. Эту битву ей никак было не выиграть.

Написал я все это, и тотчас же меня стали донимать не самые приятные мысли. Вот, к примеру, это мое слово — «неверно». Что такого неверного в ее записях, если сама она искренне в них верит? А разве история не пишется чаще всего в порыве зыбкой искренности? Думаю, так оно и есть. В своем свидетельстве она излагает очень искренний и даже трогательный рассказ о том, как ее отец хотел доказать ей, что все вещи — будь то молотки или перья — падают вниз с одинаковой скоростью. Кажется, ей в ту пору было лет двенадцать (пришлось снова заглянуть в ее рукопись, чтобы ничего не переврать).

Да, около двенадцати. За этим следует жуткая сцена на кладбище, потом крысоловство, и только потом, когда ей лет пятнадцать (черт, надо снова

проверить), ее отец умирает. Но у отца Гонта его убивают бунтовщики, с первой попытки и в той самой круглой башне, которую с такой любовью вспоминает Розанна, когда ему насовали в рот перьев и забили молотками или колотушками, что, судя по всему, и произошло на самом деле, а учитывая посттравматический стресс, можно предположить, что Розанна — выживания ради — полностью перекроила все событие и даже сдвинула его подальше в прошлое, в относительно безопасные времена.

Но, как бы там ни было, по мне так это какой-то очень масштабный, очень необычный сдвиг. Опять же имеется еще вот какой факт — человек, за которого отец Гонт пытается выдать Розанну, некий Джо Брэди, преемник ее отца на должности кладбищенского смотрителя, по словам Розанны, еще и пытается ее изнасиловать, и вся эта часть ее свидетельства читается как-то «чужеродно». Не только это, впрочем, но и то, что отец Гонт вскользь упоминает, мол, то же самое имя было написано на надгробии, под которым было зарыто оружие, хотя уж он-то должен был знать, кто это.

Хотя, конечно, подумал я, отец Гонт, может, и вполне искренне желавший отправить Розанну

в лечебницу, тоже мог что-нибудь напутать — может, это имя вдруг всплыло у него в памяти, и он ошибочно указал его как то, которое было выбито на надгробии. Когда читаешь такую вот неофициальную историю, то нет ничего фатальнее вреднейшего стремления к абсолютной точности. А такого не бывает.

И вот, кстати, доказательство — я только что вновь обратился к отчету отца Гонта, который я не стал приводить здесь целиком, а только пересказал, и, к своему невероятному изумлению и даже стыду, обнаружил, что, описывая события в башне, он вообще-то ничего не пишет о том, что в рот отцу Розанны насовали перьев, — только то, что его избили молотками. Отчего-то в этот временной зазор между моим чтением отчета и кратким его пересказом мой разум втиснул эту деталь — позаимствованную у Розанны, хотел бы я думать, да вот только тогда я еще не читал ее записей. Дойдя до этой точки, я словно оказался в дичайших, непролазных лэнговских джунглях. Мне почти невыносимо думать, что я мог интуитивно выцепить эту деталь откуда-то из эфира и бессознательно прибавить ее к отчету, предвосхитив историю, которой я еще не читал. Потому что отсюда сразу же полезут все

эти запредельные теории из шестидесятых, про цикличную и обратную природу времени, а я на такое не подписывался. У нас и без того хватает проблем с линейным повествованием и подлинной памятью. Но, несмотря на все это, должен признать, что по большей части и Розанна, и отец Гонт правдивы настолько, насколько это вообще возможно, учитывая капризы и шутки, которые может выкинуть наше сознание. «Грех» Розанны как хроникера собственной истории — это «грех умолчания».

На той башне отец показал Розанне, как действует сила тяжести, а спустя несколько лет на той же башне ее отца пытались убить — оба раза она была там, но второе событие полностью стерла из памяти. А потому мое первое предположение о том, что стресс травмировал ее память, смешав и спутав в ней все детали и даже поменяв местами эпохи, было хоть и маловероятным, но при этом все равно слишком простым. И еще эта моя собственная странная интерполяция — черт, черт. Конечно, конечно, ведь может быть так, что она сама много лет назад поведала мне эту рассказку про молотки и перья, а я о ней попросту позабыл. А потом я прочел рассказ отца Гонта о событиях в башне, и все это снова всплыло у

меня в памяти. И впрямь, стоило мне это сформулировать — или даже «выдумать», как я вдруг смутно начал припоминать что-то подобное. Полный провал! Но если отбросить это на минутку, есть в моих выводах и что-то положительное. Я могу заявить перед Богом (подумать только, и это написал я!), что верю: обе эти истории нельзя назвать неверными или противоречащими друг другу, обе они по-человечески довольно правдивы, и каждая из них может стать источником полезных истин, которые куда выше истин «фактических». Я уже начинаю думать, что фактических истин не существует, хотя так и слышу голос Бет: «Да ну, Уильям?»

И все же под воздействием от прочитанного я решился на поездку в Англию. В своей рукописи Розанна, кажется, обращалась почти единственно ко мне или — хотя бы иногда — но обращалась ко мне, быть может, как к своему другу, и я чувствую, что довести это дело до конца, до логической развязки — не только мой долг, но и самое большое желание. Я, конечно, не жду многого от этой поездки, поскольку доктор Уинн утверждает, что в сознание она уже не придет — «такие вот печальные новости», сказал мне он, спросив, есть ли у нее какие-нибудь родственни-

ки, которых нужно поставить в известность. Я, конечно, ответил, что таких нет. Нет, вряд ли у нее есть родственники. Ни единой живой души, кроме этого таинственного ребенка. Вот и еще одна причина съездить в Англию — из-за зыбкого шанса, что найдется человек, которого следует уведомить о смерти той, кто была для него никем, а для меня — заняла место друга; и еще, чтобы оправдать и то, что я здесь делал, и ту профессию, которую я для себя выбрал.

Я ни за что не забуду, как в самую мучительную для меня минуту она подошла к окну и положила руку мне на плечо — пускай и простейшее движение, но для меня то был дар нужнее и милее самого дара царства.[63] Этим жестом она попыталась исцелить меня, хотя это я пришел к ней в роли целителя. Но раз уж исцелить ее у меня не очень получилось, то, может быть, выйдет из меня надежный свидетель чуда души человеческой.

И спасибо, конечно, что я не стал задавать ей никаких вопросов — прямых или косвенных, уж неважно — про то, что написал отец Гонт, а после-

[63] Примечания: 63

Отсылка к «Посланию к Евреям» (12:28): «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом».

довал своей интуиции. Теперь-то я понимаю, что для ее памяти это было бы оскорблением. Точно так же не стоит использовать для дальнейших расспросов и ее рукопись.

Основной вывод: пусть для нее все останется, как есть.

* * *

Вскоре я был готов к отъезду, но, перед тем как уехать, я решил написать Джону Кейну записку на тот случай, если он лучше воспринимает информацию в письменном виде.

Я написал:

Дорогой Джон,

Недавно мне довелось узнать о той доброте, которую ты выказал по отношению к нашей пациентке Розанне Клир, бывшей миссис Макналти. Кажется, я знаю, кем был твой отец, Джон, — это ведь патриот Джон Лавелл? И мне бы очень хотелось кое о чем тебя спросить, когда я вернусь из Англии, где я надеюсь побольше разузнать о ребенке Розанны Клир. Может, тогда и обменяемся информацией?

С уважением, и т. д.

Надеюсь, он поймет, что к чему. Я вставил туда этого «патриота», чтобы письмо выглядело как можно более безобидным. Хотя, может, я и кругом неправ, и он будет таращиться на эту записку как на послание сумасшедшего. Я и сам с трудом понимал, что к чему, но все-таки отправился в путь.

* * *

Самый дешевый рейс был из Дублина с посадкой в Гатвике, поэтому мне пришлось еще пять часов тащиться в машине на восток. Вот, думаю, удивилась бы Розанна, узнав, что теперь в Слайго

есть аэропорт — прямо в Страндхилле, как я прочел на веб-сайте. Но самолетики оттуда летают только до Манчестера.

У меня с собой, разумеется, был паспорт, а также всевозможные документы, относящиеся к Розанне, разные рукописи и еще записка от монахини из Слайго. Я прекрасно представлял себе ту знаменитую — или печально знаменитую — атмосферу секретности, которая может окружать эти старинные заведения — у людей ведь все то же самое: смесь тревоги с бессилием, с треволнением даже. Знание того, что правда не всегда желанна, что из одного всегда следует другое, что факты ведут не только вперед, к ясности, но и тянут назад, в тень, а порой и в кружочки ада, которые мы сами чертим друг для друга. Поэтому, несмотря на миленькую монахиню, которая при этом все-таки не стала звонить в Бексхилл и никакой особой помощи не предложила, несмотря на ходатайство Перси, я был вполне готов к тому, что меня или сразу попросят или уж придумают, как мне помешать.

Еще я, конечно, захватил с собой принадлежавший Розанне томик *Religio Medici*, так, на всякий случай. И признаюсь, что рискнул спокойным сном своего отца в гробу, потому что, сидя в само-

лете, я раскрыл книжку, смело вытащил письмо и вскрыл конверт — на случай, если там найдется что-то полезное. Не знаю, уж с чего я так решил.

Возможно, мотивы у меня были куда более низменные — банально хотелось сунуть нос в чужие дела, полюбопытничать.

Я страшно удивился, увидав, что это письмо от Джека Макналти. Я снова глянул на штемпель и понял, что отправил он его, когда сам уже был глубоким стариком. Его почерк — извилистая паутинка — свидетельствовал о том же. Обратным адресом был указана Больница короля Иакова, в Суонси. Сейчас это письмо лежит передо мной, поэтому я могу скопировать его сюда.

Дорогая Розанна,

Пишу тебе из больницы в Суонси — вот так вот, я помираю от рака толстой кишки. Я навел о тебе справки и надеюсь, что сведения мои надежные и ты еще жива. Вот и мне вышла отставка — на все, конечно, воля Божья, но думаю, что я недолго еще протяну. Должен сказать, жизнью своей я доволен, отлично погостил, как говорится, но коль пальто протягивают, так пора и честь знать.

Не знаю, известно ли тебе, что от войны я увильнул, служил в Индии, возле Хайберского прохода — с Гуркхскими стрелками [64] *, между прочим, но зато ни одного немца или японца так и не видал. Но вот если б москиты были на стороне немцев, войну бы мы проиграли.*

Я пишу тебе потому, что, когда говорят — твой час настал, столько всего передумаешь. Вспомнишь, например, о том, что жена моя, Май, спилась и умерла, когда ей было пятьдесят три. И хоть иногда она уж такие коленца выкидывала, ни секунды я не жалею, что на ней женился, потому что ее я просто обожал. Но, думаю, кое с кем она обходилась высокомерно и жестоко, как, например, она обошлась с тобой. Потому-то я пишу тебе. Все произошедшее тогда, много лет назад, до сих пор тяжким грузом лежит на моей совести, и я хочу, чтоб ты это знала. Мне нет нужды в твоем прощении — как и нет на него надежды, но я пишу это, чтобы сказать тебе: я страшно

[64] Примечания: 64

Гуркхские стрелки (Gurkha Rifles) — один из привилегированных полков британской пехоты, служивших в Британской Индии.

раскаиваюсь в содеянном и сам едва понимаю, что же это такое тогда произошло. Конечно, так давно все это было, но не настолько давно, чтобы мне — во снах и в мыслях — перестало чудиться, будто все это случилось только вчера. Я хотел тебе рассказать, что Том снова женился, завел детишек, но ты, может, не хочешь про все это слышать. Том уже лет десять как умер — какие-то проблемы с желудком, скончался он в Центральной больнице Роскоммона, и вторая его жена к тому времени уже умерла. О тебе мы никогда не говорили, хоть и виделись с ним часто, и все же, всякий раз встречая его, я чувствовал эту стену невысказанного промеж нами. Правда в том, что это навсегда переменило его, с тех пор он навеки стал другим, и больше мы не видали прежнего благодушного старину Тома.

Кто знает, может, ты скажешь, ну и поделом. И, может, будешь права. Я же хочу теперь кое-что написать о своей матери, которая, как ты, наверное, и сама знаешь, всем и заправляла в то нелегкое

время. Я хочу рассказать тебе о ней то, что можно поведать только на смертном одре — и, наверное, только так, не глядя в лицо, укрывшись за буквами письма. Потому что ведь правда и то, что в твоем — чуть не написал «деле», ну да ты понимаешь, о чем я — она повела себя с нетипичной жестокостью.

Лет двадцать тому назад, когда сама она лежала при смерти, она рассказал мне историю своего появления на свет. В Слайго порой шептались, что она незаконнорожденная, хотя ты этих перешептываний, наверное, не слышала. Оказалось же, что она была приемышем: настоящая ее мать умерла молодой, а поскольку происходила она из богатой семьи и родственники сразу были против ее брака, то и решили ребенка отдать. Мать ее была пресвитерианкой, звали ее Лиззи Финн. Настоящий отец ее был офицером, а отдали ее, похоже, его же денщику — разумеется, католику, чтобы тот воспитал ее как свою дочь. История, конечно, темная, но спустя несколько лет после ее смерти я собственными

глазами видел в кафедральном соборе брачное свидетельство ее родителей. Уж как бы ей полегчало, узнай она, что они были женаты, — и передать не могу. Быть может, на небесах это все уже такие пустяки.

Том перед смертью тоже успел рассказать мне один свой секрет, который в какой-то степени к тебе имеет больше отношения, так что ты удивишься, наверное, отчего это она не выказала тебе большего сострадания. Потому что он признался мне, что мы с ним только по матери родные, а отец у него другой, не Старый Том, хотя кем был его отец, он и сам не знал, хоть и пытался выяснить, в особенности у нашей матери. Но мать никому этого не открыла и унесла его имя с собой в могилу. Нужно помнить еще, что матери было всего шестнадцать, когда она меня родила, и немногим больше, когда родился брат Том (или, вернее, полубрат).

Почему я пишу тебе все это? Потому что это все может прояснить, если не оправдать, ее страстное стремление сде-

лать так, чтобы у Тома жизнь была не такой путаной, как у нее, из-за чего она сделалась рабом собственных представлений о нравственности, как это бывает с теми, кто уверен, что пал.

Энус? В шестидесятых мне через Военное министерство удалось отыскать его следы в каком-то отеле на Собачьем острове, в Лондоне. Как-то вечером я туда наведался, мне сказали, что он вышел, и велели приходить завтра. На следующее утро прихожу я к этой ночлежке, а на ее месте — одни угольки дымятся. Может, он всполошился, услыхав, что кто-то из Слайго о нем спрашивал, подумал, что старые враги его отыскали и пришли убивать, хотя уж сколько лет с тех пор прошло, и отель он сам мог запалить, чтобы замести следы. А может, за мной кто следил, когда я его разыскивал, и они-то беднягу и кокнули. Но, как бы то ни было, а снова мне напасть на его след так и не удалось. Исчез с концами. Думаю, он уж помер, да покойся прах его с миром.

Такое вот мое к тебе письмо, хоть тебе оно, может, и не сдалось вовсе. Тяжкое бремя на моей совести. Правда в том, Розанна, что Том тебя любил, но оказался для такой любви слишком слаб. Боюсь, что все мы в тебя были капельку влюблены. Прости нас, если сумеешь. Прощай.

С искренним уважением, Джек

* * *

До чего же странное и неожиданное письмо. Кое-что в нем было мне не очень понятно. И я от всего сердца надеялся, что это сырость вновь запечатала конверт, что Розанна когда-то его вскрывала. Конечно, раз она его сохранила, если только не сунула в книгу нераспечатанным, да и позабыла о нем. Может, это было единственное письмо, которое она получила за все это время. Господи. Когда мы садились в Гатвике, настроение у меня было не самое лучшее.

Бексхилл всего в пятидесяти милях от Гатвика, в такой английской части Англии, что она почти кажется какой-то совсем другой, непоименованной. Местные названия отдают сладкой ватой и старыми сражениями. Брайтон, Гастингс.

Бексхилл расположен на побережье, где прошли миллионы детских каникул, хотя я не думаю, что сироты из тех времен со мною согласятся. Когда я искал в интернете подходящий рейс и указания, как добраться до Бексхилла, то наткнулся на форум, посвященный выжившим в таких приютах. Слова так и сочатся болью. В пятидесятые две девочки утонули там в море, другие девочки пытались построиться в живую цепь, чтобы спасти их, а монахини в это время сюрреалистично молились на берегу. Будто полотно, украденное из музея необъяснимой жестокости. Признаюсь, я сразу подумал о дочери миссис Макналти и, признаюсь, понадеялся, сам не знаю почему, что ее не было среди тех, кто молился на берегу. Если ребенок Розанны оказался там в сороковых…

Такие мысли путались у меня в голове, пока я ехал на поезде с вокзала Виктория. Кажется, мне на роду написано быть летописцем ужасающей угрюмости казенных заведений. Это незыблемая константа. Дом Назарета в Бексхилле не исключение. Такие вещи будто бы въедаются в саму известь, подобно окаменевшим моллюскам, в саму красноту кирпичей. И ни за что их отсюда не смыть, подумал я. Само безмолвие этого места свидетельствовало о немоте другого рода. Я по-

звонил у входной двери, вдруг почувствовав себя очень маленьким и неловким, будто бы я сам был сиротой, которому предстояло здесь жить. Вскоре дверь распахнулась, я объяснил женщине-волонтеру, зачем пришел, и она провела меня по длинному коридору — темный блестящий линолеум, основательная мебель из красного дерева, на одной из полок красуется итальянский бюст святого Иосифа. О том, что это Иосиф, было написано на постаменте. У одной из дверей женщина остановилась, улыбнулась, я улыбнулся тоже и вошел в комнату.

Комната оказалась чем-то вроде маленькой столовой — по крайней мере там стоял стол, на столе были выставлены блюда с сэндвичами и пирожными, лежали приборы на одного, стояла наготове пустая чашка. Я не знал, что и делать, а потому присел, спрашивая себя — там ли я, где нужно, и нужен ли я здесь. Но вскоре в комнату вплыла высокая монахиня, которая налила мне чаю из керамического чайника. На чайнике, как я заметил, было нарисовано бексхилльское побережье.

— Благодарю вас, сестра, — сказал я, не зная, что еще говорить.

— Уверена, вы с дороги очень проголодались, —

сказала она.

— Это верно, спасибо, — ответил я.

— Подкрепитесь, а потом я отведу вас к сестре Мириам.

Итак, я в некотором замешательстве принялся за еду, а когда наелся — монахиня это, видимо, поняла каким-то шестым чувством, потому что вряд ли кому-то было под силу съесть все угощение, — она повела меня еще дальше вглубь дома и наконец привела в комнату поменьше.

Обычный архив, с картотечными шкафами по стенам. На меня тотчас же нахлынуло ощущение приглушенного прошлого. Кое-какие вещи, я подозреваю, из этих шкафов можно вытащить только при помощи адвоката, и то, если удастся. В комнате, словно председательствуя над всем этим, сидела пухлолицая монахиня.

— Вы сестра Мириам? — спросил я.

— Да, это я, — ответила она. — А вы — доктор Грен.

— Верно, — сказал я.

— И, насколько мне известно, пришли, чтобы заглянуть в кое-какие наши записи?

— Да, у меня тут с собой документы, которые могут нам помочь отыскать…

— Мне позвонили из Слайго, поэтому я смогла

начать поиски, не дожидаясь вас.

— А, понимаю, значит, она все-таки позвонила, но ведь она сказала, что…

— В этом досье у нас два документа, — сказал она, раскрыв тоненькую папку. — Ребенок, которого вы ищете, пробыл у нас недолго.

И слава богу, чуть было не вырвалось у меня, но я сумел не произнести этого вслух.

— И хотя документы эти довольно старые, насколько я понимаю, мать еще жива, ну и ребенок, конечно…

— Так значит, ребенок был, значит, есть ребенок?

— О да, совершенно официально есть, — сказала она, широко улыбнувшись. Хоть с ирландскими диалектами у меня не очень, но я все же рискнул предположить, что ее — родом из Керри, ну с запада — это уж точно. Ее немного казенная речь, как я предположил, была результатом долгой возни с документами. Надо отметить, что она производила приятное впечатление умной и воспитанной женщины.

— Вы слушаете? — спросила она.

— Да-да.

— У нас есть свидетельство о рождении, — сообщила она. — И есть также сведения о приемной

семье, куда отдали ребенка. Однако не думаю, что эти люди видели свидетельство о рождении, а если и видели, то лишь мельком. Им достаточно было знать, что ребенок здоров, родился в Ирландии и крещен в католической вере.

— Звучит разумно, — заметил я, хотя, едва договорив, решил, что сказал какую-то глупость. Эта женщина, если честно, внушала мне трепет, было в ней что-то такое, царственное.

— Нашему стремлению подыскать ребенку хорошую семью, разумеется, поспособствовало то, что он приходился родней сестре Деклан, упокой Господь ее душу. Я тогда была еще очень молода и хорошо ее помню. Она была прехорошенькая западная ирландка, большая отрада и для своей матери, и для нас. В свое время в Бексхилле лучше нее не было сестры милосердия. Большое было достижение. Да и сироты по большей части ее любили. Любили.

Она сделала упор на последнем слове — еле заметно, но недвусмысленно.

— Если хотите, потом могу вам показать ее скромную могилку, — сказала сестра Мириам.

— Ой, я с удовольствием…

— Да. Мы тут в Бексхилле понимаем, что времена в сороковые были совсем другими, и я лично

думаю, что никак невозможно так вернуться в прошлое, чтобы по достоинству оценить эту разницу. Такое, наверное, и Доктору Кто было бы не по силам, — тут она снова улыбнулась.

— Великая истина в этих словах, — сказал я и сам почувствовал, как напыщенно это прозвучало. — Что касается умственного здоровья… Боже упаси. Но в то же время необходимо…

— … делать все возможное?

— Да.

— Заглаживать вину и залечивать раны?

Ее слова меня поразили.

— Да, — ответил я, смутившись от ее неожиданной честности.

— Согласна, — ответила она и с хладнокровием заправского игрока в покер выложила передо мной на стол два документа. — Вот свидетельство о рождении. А вот свидетельство об усыновлении.

Я надел свои очки для чтения и склонился над документами. Наверное, на миг сердце у меня застыло в груди, а кровь замерла в жилах. На один миг тысячи кровяных рек и потоков прекратили свой бег. А затем — заструились снова, неся с собой почти болезненное чувство движения и силы.

Имя ребенка — Уильям Клир, мать — Розанна Клир, официантка. Отцом указан Энус Макналти, солдат. Мальчика усыновили мистер и миссис Грен, из Пэдстоу, что в Корнуолле, в 1945 году.

* * *

Я сидел перед сестрой Мириам словно в тумане.

— Что же? — спросила она очень мягко. — Получается, вы не знали?

— Нет, нет, конечно, нет… Я здесь как официальное лицо… Помочь старой женщине, которая под моей опекой…

— Мы думали, что вы могли знать. Но не были уверены, что знаете.

— Я не знал.

— Тут есть еще кое-какие записи о том, что в семидесятых сестра Деклан беседовала с неким Шоном Кином. Вам что-нибудь об этом известно?

— Нет.

— Мистер Кин очень хотел вас разыскать, и сестра Деклан смогла ему в этом помочь. Так он вас нашел?

— Не знаю. Нет. Да.

— Вы сейчас, конечно, сбиты с толку, я пони-

маю. На цунами похоже, верно? Будто с головой накрыло. И все с собой унесло — людей, вещи.

— Сестра, простите, но меня, кажется, сейчас вырвет. Я поел пирожных и…

— Да-да, конечно, — откликнулась она. — Уборная вон там.

* * *

Более-менее собравшись с силами, я добавил ко всему еще одно неизведанное переживание — поглядел на могилу своей «тетки». Затем я уехал оттуда и вернулся в Лондон.

Моя первая мысль — как же я хочу, как хочу, как страстно желаю, чтобы Бет была жива, чтобы я мог ей все рассказать.

Но стоит появиться любой другой мысли — и я недоверчиво трясу головой. Другие пассажиры думали, наверное, что у меня болезнь Паркинсона. Нет, нет, это невозможно. Вся эта информация никак не могла найти лазейку у меня в голове, чтобы туда протиснуться.

Эта старая женщина, о которой я не вспоминал годами, но которая в последнее время так завладела моим воображением, эта старая женщина — с ее причудами, историями, неоднозначными поступками и да, ее дружбой — была моей

матерью.

Я так спешил назад, спешил домой, можно сказать. За время обратной поездки в голове у меня так ничего и не прояснилось. Но я летел домой, торопился что было сил, перепугавшись вдруг, что она умрет до моего возвращения. Никому не объяснишь это чувство. Это беспримесное чувство, и ничего, кроме него. Чувство безо всяких мыслей. Мне нужно там быть, нужно двигаться, двигаться — и оказаться там. Я промчался на машине через всю Ирландию, гнал, побив все рекорды по идиотскому вождению. Неуклюже запарковался на больничной стоянке и, не удостоив персонал даже приветствием, кинулся в палату, где, как я надеялся и уповал, еще лежала она. Ширмы у ее кровати были задернуты, хотя больше в комнате никого не было. Я подумал: ну вот, так и есть, она умерла. Но, заглянув за ширму, я увидел, что она жива и даже в сознании — легонько поворачивает голову, чтобы с недоумением взглянуть на меня.

— Где вы были, доктор Грен? — спросила она. — Я тут, похоже, восстала из мертвых.

* * *

Я попытался все ей рассказать, прямо там, в ту же минуту. Но слов не нашел. Подумал, что придется подождать, пока слова придут.

Она же будто что-то почувствовала, пока я топтался подле ширмы. Инстинктивно люди знают гораздо больше того, что осознает их разум (возможно, с медицинской точки зрения это и сомнительное замечание, но уж какое есть).

— Ну так что, доктор? — спросила она. — И каков диагноз?

— О чем вы?

— Удалось вам меня диагностировать?

— А, да. Думаю, да.

— И ваш вердикт?

— На вас нет вины.

— Нет вины? Да такого не скажешь ни про одного человека на земле.

— На вас нет вины. Вас неправедно осудили. Я хочу извиниться перед вами. Извиниться за всю нашу профессию. Лично извиниться за то, что я не поспешил разобраться во всем раньше. За то, что меня на это подвигнул только снос клиники. Я знаю, эти мои извинения вам кажутся омерзительными и бесполезными.

Несмотря на слабость, она рассмеялась.

— Да нет, неправда, — сказала она. — Мне тут показывали буклет про новую клинику. Вы ведь разрешите мне там немного пожить?

— Решать только вам. Вы свободная женщина.

— Свободной женщиной я была не всегда. Благодарю вас за мою свободу.

— Почту за честь даровать ее вам, — вдруг вычурно и формально ответил я, но она восприняла это как должное.

— Можете подойти поближе? — спросила она.

Я подошел, не понимая, чего она хочет. Но она только взяла меня за руку и пожала ее.

— Интересно, позволите ли вы мне вас простить? — спросила она.

— Боже. Да, — ответил я.

Наступила крошечная пауза, которой как раз хватило, чтобы у меня в голове прошумел порыв ветра из сотен мыслей.

— Так вот, я вас прощаю, — сказала она.

* * *

Наутро я отправился в старые конюшни. Хотел успеть задать несколько вопросов Джону Кейну, и теперь у меня на то имелось еще больше причин. Я знал, что он, вероятно, не сможет или не

захочет отвечать мне. Но думал, что по меньшей мере должен от всей души поблагодарить его за его странные старания.

Но он как сквозь землю провалился. В маленькой комнатке, где он жил, стоял старинный граммофон с раструбом, который прятали в специальном шкафчике — чтобы послушать такой, нужно было открыть дверцу. В нише рядом лежала стопка пластинок на 78 оборотов от фирмы-изготовителя («Шепердс», Бристоль). В коллекции были записи Бенни Гудмена, Баббера Майли, Джелли Ролл Мортона, Флетчера Хендерсона и Билли Майерля. Больше в комнате ничего не было, за исключением узкой железной кровати, на которой лежало неуклюже расшитое цветами покрывало. Я сразу вспомнил о вышивке миссис Макналти, которую описывала Розанна. Не сомневаюсь, чтобы добиться своего — ну или того, что, по его мнению, поможет Розанне, — ему пришлось как следует поприжать семейство Макналти с их секретами. Первая жена, которой официально не существовало и о которой второй семье Тома Макналти так, наверное, никто и не рассказал. Безумная жена и не-жена, которая, однако, была живой и настоящей. Уверен, что миссис Макналти и добрая ее дочь изо всех сил

старались умилостивить Джона Кейна — и даже пошли на то, чтобы открыть ему мое новое имя и что со мной сталось. Уже не знаю, как он собирался поступить, отыскав меня, могу предположить только одно — узнав, что я по чудесному совпадению выучился на психиатра, он это учел и слепил план получше изначального, который ведь, если Кейн планировал простое воссоединение, мог и провалиться из-за моего нежелания встречаться с Розанной или из-за того, что после встречи я мог бы от нее просто-напросто отказаться. И что, разве не отказался бы я, когда от нее все отказались?

Ну, это только мои предположения. Это никакая не история. Но теперь меня чертовски волнует вот что: а что вообще такое по своей сути история? Простые воспоминания, уложенные в приличные фразы, и если так, то насколько это все достоверно? По мне, так не очень. И потому в большинстве своем истина и факты, выраженные в подобных синтаксических единицах, становятся обманчивыми и ненадежными. И все же я признаю, что мы строим наши жизни и даже нашу здравость при свете все тех же обманчивых и ненадежных огней, точно так же как любовь к родине возводим на бумажных

сферах заблуждений и неверностей. Быть может, такова сама наша сущность, и необъяснимо, но еще и одна из составляющих нашего успеха — в том, что мы можем выстроить самые лучшие и крепчайшие постройки на подножьях из одного только праха.

Стоит еще увековечить коробку кубинских сигар у кровати Джона Кейна, которая оказалась наполовину пустой. Или наполовину полной.

А так, больше ничего, кроме вот этой любопытной и важной записки, лежавшей на граммофоне.

Дорогой доктор Грен,

Я не ангел, но это я забрал ребенка с тово острова. Побежал с ним к доктору. Хотел бы я с вами поговорить но мне уже пора. Вы спросите, почему я все это делал для Розанны, а я скажу — потому что я любил своево отца. Отца убил Перепойнт. Я попросил дока Синга подослать вам письмо, и слава богу он написал и вы приехали. Когда-нибудь я собирался открыть вам правду и вот настал этот день. Уверен до правды вы дознались и пажалуйста теперь не бросайте свою мать.

Никто не идиален вот хоть меня взять но дело не в этом. Если пред воротами рая не покажешь что умеешь любить то святой Петр тебя в рай не пустит. А сейчас, док, досвидания и простите меня и пусть Господь меня тоже простит.

Искренне ваш,
Шонин Кин Лавелл (Джон Кейн)

P. S. Это Доран напал на ту женщину из Лейтрима, которая еще потом домой вернулась.

Никто из персонала не знал, куда он подевался. Он не то чтобы собрал вещи и уехал или уполз в лесок позади больницы, чтобы там умереть. Он просто бесследно исчез. В полицию, конечно же, сообщили — уверен, что гарды будут начеку, замечая его везде и нигде. Макс Доран, санитар, на которого указал Кейн — совсем молодой и довольно симпатичный парень, и к тому же у него есть подружка, — в приватной беседе покаялся мне про случай с этой лейтримской женщиной, ему явно стыдно, а еще точнее — страшно. То есть сначала он покаялся, но потом от своих слов отрекся. Как только уладим все с юристами, пойдет под суд, но это еще когда будет. Поскольку все ра-

ботники уже разлетелись кто куда, не думаю, что наша репутация сильно пострадала. Может, мы даже одержали маленькую победу. Хотелось бы думать, что с этого дня нашим пациентам ничего не будет угрожать, но я не настолько глуп.

Глава двадцать вторая

Тут у нас уже осень, и Розанна в превосходной лечебнице. Построенной именно для лечения, похожей прямо на произведение искусства, — это самая настоящая лечебница, достойная этого древнего и благородного звания. Понятно, что в ее-то возрасте сколько она протянет — это уже вопрос времени, но, с другой стороны, а что — не вопрос времени? Много прекрасных людей умерло, будучи куда моложе меня.

Она может целыми днями молчать, строптивничать, отказываться от еды и резко спрашивать, чего это я пришел. Иногда говорит, что ей не нужно, чтобы я приходил. Как и Джон Кейн, я все пытаюсь улучить подходящий момент. Теперь понимаю, как ему трудно пришлось.

Как-то раз, когда я уже собирался уходить, она встала с кровати, сделала пару шажков ко мне, прошуршала, будто клочок пергамента, обняла меня и поблагодарила. Кажется, у нее даже кости похудели — я так растрогался, что чуть не сказал ей. Но все-таки не сказал.

Думаю, я боюсь того, что она будучи, надеюсь, довольна мной как врачом и другом, может

разочароваться во мне как в сыне, сочтя меня недостаточной наградой за свои испытания — так, нелепый, занудный, стареющий, сбитый с толку английский ирландец. Кроме того, я боюсь, что у потрясения будет ненужный эффект — медицинский и психический. Тут надо бы проконсультироваться с доктором Уинном, но перед потрясением такого рода медицина может оказаться бессильной, бессильными окажутся и мои, и его познания. Надломится внутри что-то еле заметное, тонкое, хрупкое, чего нам, с нашими неуклюжими ручищами, ни за что не починить. Лопнет сама сердцевина ее стойкости. Но я верю, что она выдержит, верю, что выдержит. Самое главное — она в безопасности, о ней заботятся. И еще — она свободна.

Старую клинику снесли через месяц после моего возвращения из Англии. Сносить решили направленным взрывом, так чтобы четыре верхних этажа рухнули вниз, когда взорвут первый. В то утро я будто наблюдал за тем, как всю мою жизнь стирают начисто проводами, динамитом и изысканными расчетами. Мы все сгрудились на небольшом холмике, метрах в пятистах от самого здания. В назначенное время инженер нажал что-то на пульте, спустя одну бесконечную секун-

ду до нас донесся ошеломительный грохот, и мы увидели, как основание старого здания поглотил пылающий венец из извести и осколков древнего камня. Огромное здание тотчас же опало на землю, оставив на горизонте только призрачную память о своем прежнем положении. Позади здания парил ангел, огромный огненный человек высотой с лечебницу, разметавший крылья от востока до запада. Конечно же, то был Джон Кейн. Я оглянулся на своих спутников, спросил их — видят ли они то же, что и я. Они на меня поглядели как на сумасшедшего, да и, наверное, потеряв мою клинику и будучи теперь директором огромной пустоты, занятой невозможным ангелом, я и впрямь сошел с ума.

Это, конечно, я своим горем видел ангела. Теперь я это понимаю. Я-то думал, что уж справился с тоской по Бет, что Бет теперь — только воспоминание, но все только начинается. Горе живет два года, вот трюизм из нашего пособия для страдальцев. Но мы оплакиваем своих матерей, еще даже не появившись на свет.

Я скажу ей. Как только сумею найти слова. Как только мы дойдем до этого в нашей истории.

* * *

Съездил сегодня в Слайго. Проехал мимо городского кладбища на пригорке, подивился тому, что сотворило время с бетонной часовенкой и рядами могил. Все-таки заехал к Перси и поблагодарил его за помощь. Даже не знаю, сильно ли он удивился. Хотя, когда я ему все рассказал, он пару секунд глядел на меня с ошарашенным видом. Потом он встал из-за стола. Я стоял в дверях, не зная, стоит ли уж войти окончательно или вот так, наполовину, чтобы ему не помешать.

— Старик, дорогой мой… — сказал он.

Не знаю, может, он хотел обнять меня. Я заулыбался, как мальчишка — потому что так себя и чувствовал, и рассмеялся счастливым смехом. До меня ведь только тогда и дошло. Рад доложить, в самом центре всего этого, учитывая все, что случилось и с ней, и со мной, пряталась такая простая эмоция. Я хотел сказать ему, что, по мне, так дело было не в том, написала ли она про себя правду, говорила ли она про себя правду или хотя бы верила в то, что все написанное и сказанное ей — правда, и даже не в том, правда ли все это на самом деле. Для меня важнее всего было то, что человек, который писал и говорил все это,

был удивительным, живым и цельным. Я хотел сказать ему — признаться, что ли, — что с точки зрения психиатрии я совершенно не сумел «помочь» ей, не сумел раздвинуть плотно сомкнутые створки ее прошлого. Но тогда ведь я и не пытался помочь, изначально мне нужно было ее просто диагностировать. И все это время, когда я мог бы помогать ей, все эти годы, что она провела здесь, я практически к ней не приближался. Я хотел сказать ему, что она помогла себе сама, она сама поговорила с собой, сама выслушала себя. И одержала победу. А что до той истории с ее отцом, то я в конце концов предпочту неправду Розанны правде отца Гонта, потому что эта ее неправда так и лучится здоровьем. И вот еще что — я верил, что, если бы добряк Амурдат Сингх не вызвал бы меня тогда, я, наверное, так и не сделался бы психиатром, и не верю я, что психиатр из меня получился, не говоря уж о том, получился ли из меня хороший человек. И еще я хотел сказать, что Розанна открыла мне тайны человеческого молчания и то, насколько действенным может оказаться умение не задавать вопросов. Но ничего этого я сказать не мог.

Тут Перси сделал замечание, которое можно было бы счесть обидным, но лично я думаю, что

для него это было что-то вроде озарения — он был им весьма горд, а я — в сложившихся обстоятельствах — очень ему за это благодарен.

— Тебе скоро пора на покой, — сказал он, — но, если так посмотреть, то во многом у тебя все только начинается.

Я снова поблагодарил Перси, вышел, сел в машину и поехал в Страндхилл. По запискам Розанны я вроде как представлял себе дорогу и поехал туда будто по знакомому пути. Доехав по протестантской церкви, которая послушно стояла на своем месте, я вылез из машины и огляделся. Вот Нокнари, которую она так часто описывала, рвется ввысь, будто хочет скрыться в прошлом, в далеком и неизведанном прошлом. Подо мной был залив Слайго, справа от меня Россес, а вон и Бен Бульбен, где убили Вилли Лавелла, и столбы на побережье по-прежнему ведут к острову Кони. Маленькое это было местечко, где свалены в кучу несколько домишек да огородов. У меня даже мысленно не очень получалось сказать: да, вот тут я и родился. Где-то вон там, на краю света — что ж вполне уместно, раз уж сама Розанна всю жизнь жила у самой границы известного нам мира, да и Джон Кейн тоже. Я родился в пограничном мире, и вот, будучи в

ответе за душевнобольных, я сам будто инстинктивно обосновался в похожем месте. Вдалеке за островом вечно тянул указующую руку стойкий Металлический человек.

Слева от меня была деревенька — не думаю, что она сильно изменилась с тех пор, хотя, конечно, в Страндхилле теперь куда больше домов, чем в те времена, когда тут жила Розанна. Однако мне удалось разглядеть фасад старого отеля, стоявшего на побережье, огромный песчаный холм, подаривший этому месту его простенькое имя, и чудилось даже, будто я вижу здание, похожее на незатейливый танцевальный зал.

Удачный я, кажется, выбрал день для поездки, потому что, съезжая к берегу мимо пушки и недвижной водной глади, я увидел, что в танцевальном зале трудятся рабочие. Похоже, здание готовили к сносу. Да и табличка извещала о том, что на этом месте будет возведен жилой комплекс. Сам зал выглядел почти до нелепого крохотным, сзади вспучились стены из гофрированного железа, фасад же и впрямь напоминал о том, что когда-то тут было курортное жилище. Исчез флаг, на котором когда-то развевалось название, вместо этого уже позже кто-то прибил над входом пять железных букв, ныне уж вы-

цветших и проржавевших — *PLAZA*. Совершенно невероятно было думать обо всей истории этого места, теперь навеки исчезнувшей.

Думать об Энусе Макналти, который шагал тут в своем обгоревшем мундире, о Томе, входившем сюда со своими инструментами, о машинах, ехавших из Слайго по влажно блестевшему песку, и о взрывах музыки, которые просачивались в легкомысленный ирландский летний воздух, дотягиваясь, быть может, даже до древних ушей королевы Медб. И уж точно — до ушей вслушивавшейся Розанны в своей собственной гробнице из отчуждения.

Ее домик отыскать было гораздо труднее. Я понял, что уже прошел мимо этого места, потому что сумел отыскать на совесть сработанную стену особняка напротив и те самые ворота, возле которых жена Джека унизила Розанну. Поначалу мне показалось, что тут одни развалины, наглухо поросшие ежевикой, однако старая печная труба уцелела, хоть и заросла лишаем да сорной травой. Места, где Розанну приговорили жить, похороненной заживо, больше не существовало.

Я прошел в разрушенный зев калитки, прошагал по разросшимся сорнякам. Смотреть тут было не на что, но мысленно я видел все-все,

потому что Розанна крутила для меня старинную киноленту про это место. Ничего — только выглядывает из-за колючек заброшенный розовый куст, на котором еще живы несколько последних цветков. Несмотря на то что я прочитал все книжки Бет, название этой розы я вспомнить не мог. Но ведь Розанна, кажется, писала, как она называется? Как-то там, как-то там… Нет, хоть убей, не вспомню, что же она написала. Но я продрался через пырей и колючки, решив, что заберу с собой на память в Роскоммон парочку цветов. Все цветы были одинаковыми, аккуратные, плотно скругленные розочки, за исключением одной ветки, где розы были совсем иными — яркими, разверстыми. Я чувствовал, как колючки впиваются мне в ноги, теребят меня за пиджак, будто попрошайки, но я вдруг понял, что нужно сделать. Я осторожно отнял от ветки побег, так, как это рекомендуют делать в книжках, в главах, посвященных размножению, и почти виновато сунул его в карман, будто взял без спросу чужое.